

ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ



НЕРОН



Зверь из бездны том III (Книга третья: Цезарь — артист) //Алгоритм,
Москва, 1996
ISBN: 5-88878-001-4
FB2: "aglazir", 2017-06-10, version 2.1
FB2: "1000oceans", 2017-06-10, version 2.1
UUID: EFE6684A-416C-4425-B199-ECF794B65304
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

**Александр Валентинович
Амфитеатров**

**Зверь из бездны том III
(Книга третья: Цезарь —
артист)
(История и личность #3)**

Амфитеатров, Александр Валентинович [14(26). XII. 1862, Калуга - 26.II.1938, Леванто (Италия)] - окончил юридический факультет Московского университета (1885). В начале 80-х годов стал фельетонистом газеты "Новое время". Много путешествовал (Италия, славянские страны), печатал корреспонденции в русских газетах. В 1899 году основал совместно с Дорошевичем газету "Россия". В 1902 году за фельетон о царской семье был выслан в Минусинск. После 1920 года эмигрировал за границу, заняв враждебную позицию по отношению к советской власти. Автор многочисленных повестей, драм, очерков и др.

Содержание

#1	0007
ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ том III (Книга третья: Цезарь — артист)	0007
От автора	0010
НЕРОНИИ	0013
II	0101
III	0106
IV	0115
V	0122
ТЕАТР И ТОЛПА	0145
I	0145
* * *	0158
* * *	0183
* * *	0210
ОБЩЕСТВЕННАЯ НЕВОЗДЕРЖНОСТЬ	0255
I	0255
II	0290
III	0315
ПАДЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАРТИИ	0405
I	0405
II	0411
III	0422
V	0435
VI	0440
VII	0478

VIII	0489
РУБЕЛЛИЙ ПЛАВТ	0497
I	0497
***	0509
II	0567
III	0579
IV	0590
ОКТАВИЯ	0598
I	0598
II	0606
III	0618
IV	0628
V	0636
ОРГИЯ	0647
I	0647
II	0674
III	0686
IV	0694
V	0705
VI	0716

ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ



НЕРОН



А.В.АМФИТЕАТРОВ

ЗВЕРЬ
ИЗ
БЕЗДНЫ

Историческое сочинение
в 4-х книгах

Москва
АЛГОРИТМ
1996

ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ том III (Книга третья: Цезарь — артист)

А.В. АМФИТЕАТРОВ

ББК 84 Р1 А16

Редакционный совет, составители серии:

Булатов С.М., Васильев М.Н., Николаев С.В.,
Романенко К.П.

Художник:

Школьник Ю.К.

Амфитеатров А. В.

ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ том II (Книга третья: Цезарь — артист)

(Книга четвертая: Погасшие легенды)

Серия “История и личность”, М., “Алгоритм”, 1996. Печатается по изданию:

Амфитеатров А.В. Собрание сочинений, Спб., 1911—1916 г. ISBN 5-88878-001-4

Амфитеатров, Александр Валентинович [14(26). XII. 1862, Калуга - 26.II.1938, Леванто

(Италия)] - окончил юридический факультет Московского университета (1885). В начале 80-х годов стал фельетонистом газеты "Новое время". Много путешествовал (Италия, славянские страны), печатал корреспонденции в русских газетах. В 1899 году основал совместно с Дорошевичем газету "Россия". В 1902 году за фельетон о царской семье был выслан в Минусинск. После 1920 года эмигрировал за границу, заняв враждебную позицию по отношению к советской власти. Автор многочисленных повестей, драм, очерков и др.

© Разработка серии, "Алгоритм", 1996 ©Худож. оформ., "Алгоритм", 1996

Все права на распространение книги принадлежат ТОО "Алгоритм(Факс: 197-35-97, тел: 197-35-97,978-10-64)

Зверь из бездны,
несущий на себе Великую Блудницу

Рисунок из рукописного латинского комментария на Апокалипсис XII века, приписываемого св. Беату, испанскому монаху бенедиктинского ордена, аббату монастыря Валь-Габадо в Астурии. Найден в библиотеке графа



д'Альтамира и описан А. Башеленом.



От автора

К III тому Конфискация, неожиданно постигшая I том «Зверя из бездны», задержала выход в свет III тома. Когда судьба даже исторических работ об отдаленной, казалось бы, чуждой нашему веку, эпохе начинает определяться лотерейным жребием и авосем, — обязанностью автора становится обеспечить издателю большее количество шансов, чтобы он в лотерее издания не проиграл безнадежно. Старанием этого обеспечения и задержал я «Цезаря-артиста». Так как переработку тома я делал по первой корректуре, а второй корректуры, по техническим условиям издания, иметь уже не мог, то значительная часть книги, переставленная в нее по новому плану из четвертого тома, должна была выйти вовсе без авторской корректуры, с одною типографскою. Каково это авторскому сердцу, поймет каждый литератор, а о практическом значении такого затруднения я достаточно предупредил публику и критику в строках, предпосланных I тому. Собирался было я прило-

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЦЕЗАРЬ АРТИСТ



жить к этому третьему тому поправки ошибок и погрешностей, замеченных мною в первых двух томах, по их отпечатании. Но время не терпит, — так что откладываю это намерение свое и выполню его уже разом для всего сочинения, после четвертого тома.

A. B. A.

Fezzano.

1911.IX. 21

НЕРОНИИ

Успокоившись за свою безопасность, Нерон — говоря острым словом Гамлета — бросил траур и надел горностаевый плащ. Именно с этих пор он уходит в то почти фантастическое дилетантство, которым, как главной целью существования, заполнилась вся остальная жизнь его. Видемейстер видит в этом странном, в особенности для государя, направлении ума Нерона вторичную стадию периодической мании — буйное помешательство. Я полагаю, что если не безумие всякий дилентализм в искусстве, литературе и спорте, в настоящее время свирепствующий в образованных классах европейского общества, начиная от нижних до самых верхних, царственных слоев его, то нет основания видеть безумие и в дилентализме Нерона. Начал он с бегового спорта. Любовь к лошадям и рысостому бегу — родовая в фамилии Аэнобарбов. Не только малюткою, но даже став императором, Нерон забавлялся с товарищами, азартно гоняя по столу игрушечные колесницы из слоновой кости: современные *petits chevaux*

имеют, таким образом, весьма почтенную давность. Цезарь не пропускал ни одного бега в Риме, хотя бы для того надо было приехать с самой отдаленной сельской виллы. В наше время Нерон, участвуя в джентльменской скачке, быть может, стеснил бы соперников, важностью своего сана, затрудняющего конкуренцию, но никого не изумил бы. Но для римской аристократии желание Нерона участвовать в бегах на публичном ристалище было невероятным соблазном, нарушавшим все традиции хорошего тона. Сенека и Бурр умоляли цезаря отказаться от своего каприза; Нерон возражал, что все это — пустяки и римские предрассудки: состязаться конями — царственный спорт, в нем упражнялись древние полководцы, его прославляли великие поэты, он стоит под покровительством богов, часто чествуемых устройством ристалищ. Однако его уговорили забавляться своею новою страстишкою покуда хоть не публично. В Ватиканской долине был устроен частный цирк императора, куда зрители допускались лишь по собственному приглашению Нерона, с именными билетами. Вся эта комедия до

мельчайших подробностей была повторена в восьмидесятых годах XIX века.

Елизавета, императрица австрийская, воображала себя великой наездницей. Она, в самом деле, прекрасно ездил верхом, но ей хотелось соперничать с цирковыми артистками и проделывать все их штуки: прыгать через обруч, жонглировать, стоя на седле, разными предметами и т. п. Сначала она выстроила для себя маленький цирк-манеж на острове Корфу, где и упражнялась в любимом своем искусстве, покуда не достигла в нем совершенства. Возвратясь в Вену, она сгорала желанием блеснуть пред публикою и была в намерении этом настолько упорна, что император Франц-Иосиф, опасаясь ее капризного нрава и какой-либо компрометирующей выходки, должен был пойти на сделку. Для императрицы сооружен был где-то близ Пратера цирк, в котором она давала полу-публичные представления парфорсной езды — для приглашенных из интимного дворцового кружка. Успех подстрекал ее все к большей и большей публичности. Число приглашенных росло день ото дня. Спектакли императрицы ста-

ли притчею во языцех. Император потребовал их прекращения. Елизавета так оскорбилась лишением этим, что покинула Вену с тем, чтобы не возвращаться в нее никогда, и, действительно, долгие годы потом вела беспокойную, скитальческую жизнь, тщательно объезжая кругом столицу своего супруга.

Точно так же и Нерон Цезарь все расширял и расширял круг и число приглашений, и, наконец, зрителем его стал весь народ римский: Нерон появился на бегах великого цирка (Circus Maximus). Сверх ожидания и к великому огорчению моралистов, народ оказался весьма доволен, что государь его питает пристрастие к тем же забавам, которая сводят с ума подданных. Нерону рукоплескали, а он, вкусив восторг аплодисментов, не пресытился ими, как надеялись при дворе, но, напротив, стал придумывать новые пути, куда бы направить свое любительство за жатвою новых лавров.

Начатый государем скандал распространился в обществе. Нерону, конечно, было скучно дурачиться одному, и те молодые люди, которые, пренебрегая старыми предрас-

судками, принимали участие в его забавах, получали хорошие подарки. Как водится, первой бросилась на новый источник доходности древняя оскудевшая знать. Тацит, из уважения к их предкам, отказался даже упомянуть имена первых спортивных сверстников Нерона! Дион Кассий откровеннее: то были потомки Фуриев, Фабиев, Порциев, Валериев. За ними последовала коммерческая аристократия — всаднический класс, обязанный цезарям своим могуществом и развитием и потому всегда готовый плясать под дудку Палатина.

Вторым увлечением Нерона, которое для Тацита «не менее отвратительно», явилось пение и игра на кифаре. И эту страсть свою он умел красноречиво защитить от нападков Бурра и Сенеки. Разве не певец-кифарэд сам бог Аполлон, под чьим покровительством находятся музыка и вокальное искусство? Разве не в одеянии певца изображают его не только греческие, но и римские кумиры? А ведь Аполлон — божество не только первостепенное, но и пророческое: чрез его оракулы мы познаем будущее.

Как все дилетанты, Нерон получил пристрастие к устройству любительских кружков для упражнения в той или другой отрасли искусства. Театрально-музыкальный кружок он основал, придравшись к весьма курьезному поводу. К 22 годам жизни юношеский пух на щеках его вырос наконец в нечто, уже достойное названия бороды. Носить это благородное мужское украшение Нерон, однако, не пожелал, так как борода вышла, по фамильной наследственности Аэнобарбов, огненно-рыжего цвета. В честь первого своего брадобрития Нерон учредил особый праздник, Ювеналии. Начался он, как все римские игры, жертвами и торжественной процессией: августейше обриту бороду, сложенную по волоску в золотой с жемчужною осыпкою ковчежец, вынесли в Капитолий и посвятили богам. Кончился праздник театральным представлением, которое, собственно, и составило его суть. На участие в Ювеналиях была заранее открыта запись — как для охотников проявить свои сценические таланты, так и для публики. Выдумка увенчалась полнейшим успехом. Тацит с горечью жалуется на неистовство, с ка-

ким римская аристократия и высшее чиновничество, с семьями своими, без различия пола и возраста, устремилось к этой записи, и на усердие записавшихся во время репетиции к торжеству. Среди участников спектакля оказался даже один консул! Старая, родовитая матрона, несметно богатая, Элия Карелла плясала в кордебалете, назло своим преклонным годам. Некоторые, щадя сан свой и общественное положение, явились было на праздник в масках, но Нерон маски сорвал и отдал стыдливых гостей на всеобщее посмеяние. Тацит объясняет столь внезапно налетевший вихрь театральной психопатии щедрым задариванием охотников со стороны двора. Это условие, конечно, оставалось не без влияния, но еще сильнее, по всей вероятности, действовала мода, катясь и растя, как снежный ком с горы, от высот трона вниз по ступеням общественной лестницы.

Император выступил на сцену после всех участвующих, окруженный учителями пения; из них — кто ободрял его, кто настраивал кифару. Впереди шествовал, как герольд, Галлион, брат Сенеки. По театральному обы-

чаю эпохи, заменявшему афиши, он провозгласил имя Нерона-Цезаря, как исполнителя следующего номера программы. Император приблизился к авансцене, в одежде Кифарэда, отвесил зрителям поклон и, просительно протянув руку, произнес обычное обращение к публике профессиональных актеров:

— Добрые господа и прекрасная госпожи! Удостойте вашего покорного слугу своим милостивым вниманием. Затем, после короткой прелюдии, он затянул арию об «Атис», а потом о «Вакханках».

Гастон Буассье посвятил целый маленький этюд вопросу о том, что представляли собою эти «трагедии», которые «петь» было любимым наслаждением Нерона. Вопреки исстари установленному мнению Салмазия (1588—1658), он ведет читателя к убеждению, что это совсем не были отрывки из больших трагедий, вроде «Медеи» Овидия или «Тиэста» Вария. К исполнению трагедии в латинском классическом языке прилагаются три глагола: *agere* (вести действие), *cantare* (петь), *saltare* (танцевать). Последним выражением, как увидим ниже, определялась исключи-

тельно безмолвная балетная трагедия пантомимов. Первым — цельные спектакли больших трагедий. Что же касается трагедий певучих, то, по предложению Буассье, они являли собою род одноактных опер-монологов, охватывающих своим содержанием какую-либо одну, сосредоточенно-сильную, психологическую ситуацию. Нам известен позднейший репертуар Нерона: «Между прочим он пел Кантаку в родах, Ореста матереубийцу, слепого Эдипа, Геркулеса в неистовстве» (Светоний). Г. Буассье находит, что сюжеты эти не дают материала для целого драматического произведения, хотя, говоря таким образом, он странно позабывает Эсхила и Софокла. Исполнитель монолога, на все время его, оставался полным хозяином сцены, не имея товарищей: ансамблей не полагалось, даже дуэтов. Труднее утверждать то же самое о хоре, так как о некоторых операх, петых Нероном, известно, что масса участвовала: надо же было кому-нибудь, например, связать беснующегося Геркулеса, как того требовало действие, — но, быть может, это выполняли безглагольные статисты. Последнее сомнение, однако, не ме-

няет дела. Пел ли хор, нет ли, важно, что ответственным лицом в пьесе оставался на сцене всегда один певец. То, что Буассье говорит об одноактной законченности подобных пьес, несомненно справедливо, но не знаю, почему он отказывает им в возможности также быть крупными обрывками из больших лирических драм? В нынешней музыке певец-декламатор (вагнеровские артисты, Шаляпин) выдвигается на первый план именно потому, что речитативный монолог становится господствующей музыкальной формой для музыкального выражения сложных психологических моментов. И как раз у нас в России приобрел он особенно широкое развитие, совершенно в том трагическом характере, как античная *cantica*, увлекавшая Нерона и двор его. Что такое одинокая сцена Сусанина в лесу ("Жизнь за Царя") или последовательная смена одиноких выступлений Финна, Фарлафа, Руслана, Гориславы, Ратмира во втором акте «Руслана и Людмилы», как не *cantica*, не «психологические монологи, исполняемые в трагическом костюме», каждый из которых должен дать полную обрисовку целого харак-

тера? В западной музыке античные выражения *cantare tragediam*, *cantica habitu tragico canere* вполне совпадают с принципами того великого драматического течения, которое, начавшись «Альцестой» и «Орфеем» Глюка, выросло, сто лет спустя, в тетралогия Вагнера. В одном отрывке из потерянного сочинения Светония Транквилла о римских зрелищах, сохраненном в греческом словаре Суиды, в свою очередь заимствующего цитату у грамматика Диомеда, весьма остроумно излагается эволюция всех театральных категорий из общего тройного зерна первобытной комедии: жеста пантомима, мелодии флейтщика и слов декламатора. «В древности все, что сейчас мы видим на сцене, заключалось в комедии, потому что и пантомим, и его аккомпаниатор-флейтщик (*pythaulēs*), и аккомпаниатор хора (*choraulēs*) одинаково участвовали в пении (*canebant*) комедии. Но, так как не могли же все три мастерства у всех артистов выходить одинаково удачно, то те из комедийных актеров, которые чувствовали за собою больше успеха и искусства, захватили себе первенство в художестве. Это были мимы.

Отсюда вышло, что другие не захотели им уступить, и союз их распался. Потому что, как это бывает во всякой труппе, более сильные, не желая подыгрывать плохеньким, предпочли вовсе отстать от комедии. Стоило раз начать это, а там уже каждый стал в одиночку развивать свое собственное искусство, а в ансамбль комедии уже не возвратился. Указания на этот процесс мы находим в древних комедиях. В них аккомпанемент ведется парными флейтами — то одного звука (*tibiis paribus*), то сочетанием баса и дисканта (*tibiis imparibus*), то тирскими однотонными (*sarranis*). Потому что, покуда пел хор, актер следовал в пении хоровым флейтам, то есть хоравлам, а в своем монологе он пользовался аккомпанементом питавлов. То же обстоятельство, что аккомпанемент флейт написан то для одного голоса, то для двух, обозначает: когда звучал монолог, аккомпанировал один голос, а диалогу аккомпанировали два».

Таким образом, из разложения античной музыкальной комедии возникли три искусства:

1. *Saltare tragoediam* — искусство пантоми-

мов. Художественный балет. Он вывел на первый господствующий план жест и мимику солиста, оставив в служебной тени певца-декламатора, обязанного читать пояснительное либретто (*cantare ad manum haisorionis*), инструментальный аккомпанемент.

2. *Cantare tragoediam* — искусство лирического монолога, монодическая драма, опера (*canticum*). Он вывел на первый план голос, речитатив, интонацию, красоту стихов, оставив служебными жест и аккомпанемент.

3. *Ars choraulica et pytaulica* — искусство аккомпанемента, уже при Августе выработавшее большой оркестр. Virtuозы по этой части преуспевали в жизни не меньше художников жеста и голоса. Марциал (V, 56) рекомендует некоему Лупу, выбирающему, в какую профессию ему готовить своего маленького сына:

Хочет твой мальчик познать, как делают деньги искусством?

Пусть его в школу возьмет не кифарэд, так хоравл.

Так, Нерон дебютировал в качестве оперного певца, монодиста.

Если впоследствии Нерон и усовершенствовал свои голосовые средства и развил технику аккомпанемента, то все-таки более чем вероятно, что на своем первом дебюте он пел и играл довольно скверно. Историки-аристократы сохранили память об этом спектакле, как о безобразнейшем позорище века.

Но военщина, наполнявшая партер, аплодировала, топотала, ревела от восторга — быть может, и не вовсе похвального: ведь, перед ними, в костюме актера, все же стоял государь, представитель любимой и почитаемой династии, да еще вдобавок удостоивший снизойти до личного развлечения их, своих солдат, своею собственною особою.

Бурр, по званию преторианского префекта, наблюдал за военною публикою, подмигивал ей, когда надо было рукоплескать, и следил, чтобы кто-нибудь откровенный не вздумал сдуру, сохрани Бог, вообразить себя в настоящем театре, зашикать плохому актеру, позабыв в нем императора. Сам он морщился, но хвалил Нерона. Сенека даже и не морщился: стоя на сцене рядом с императором, он суфлировал державному актеру его роль. Великий

философ к этому времени, кажется, потерял уже способность не то что негодовать, но даже изумляться внезапностям, цепью которых сделала его жизнь капризная воля Нерона. Хороня в вечность отходящий день, Сенеке оставалось лишь гадать с любопытством о следующем: в какой-то новой глупости заставит завтра мой всемогущий воспитанник принять благосклонное участие мою мудрость? Итак, Бурр хвалил, Сенека хвалил, солдаты кричали, — было от чего раздуться горою самомнению молодого дилетанта. Чтобы обеспечить Нерону овации и впредь, завели нечто вроде артистической опричнины: клаку из 5.000 человек, набранных из молодежи всаднического сословия, — все люди — кровь с молоком. Одни вступали в эту шайку с честолюбивым расчетом стать ближе к особе государя, чаще попадаться ему на глаза и — авось, повезет! — случаем сделать карьеру. Других притягивала веселая жизнь Палатина, его пиры и женщины. Кроме рукоплесканий цезарю и прославления его голосовых средств, опричники-клакеры не имели прямых обязанностей, — служба, следовательно,

была не трудная, а выгоды приносила огромные и карьеру открывала верную: награды и почести сыпались на этих дармоедов дождем: — «как бы за доблесть». Звали их августанами, *augustani*

Название этой клакерской шайки часто давало повод беллетристам, посягающим на сочинение романов и повестей из римской жизни, смешивать ее с августалами, *Augustales* полу-религиозным союзом монархистов, объединившихся вокруг императорского культа и его именем. Это — организация присяжных партизанов династии, перенесших на нее центр государственной религии: союз «истинно»- римского народа. Важная политическая роль августальства в государственном строе и общественном быте Рима вынуждает меня остановиться на определении и значении августалов подробным и довольно обширным отступлением.

19 августа 14 года по Р. Х. в Ноле, значительном городе Кампании, скончался на 76 году жизни замечательный человек, которому суждено было оставить имя свое и фамилию на все века и для всех народов нарица-

тельным символом высочайшей земной власти — абсолютной и богоподобной. Умер принцепс народа римского, император Цезарь сын Божественного Октавий Август (Imp. Caesar Divi F. Oct. Augustus). Символическое наследство, завещенное миру этим государем, сложилось тем страннее, что, как мы знаем, сам он не был ни абсолютным монархом (строго говоря, даже не был и монархом), ни предъявлял кандидатуры в живые боги, как делали это разные восточные цари, имена которых, вопреки их божеству, в большинстве сохранились только в памяти немногочисленных ученых специалистов, а то и вовсе не сохранились. Человек этот был далеко не гений, но игра стихийного классового перемещения поставила его в центр гениального исторического переворота. Всю жизнь свою Август то и дело заявлял себя наследником всевозможных и разнообразных исторических властей, изживших свою силу, смысл и значение. В числе этих великих наследств, на его долю выпало погасить в кровопролитных войнах остатки римской аристократической республики, а тем самым — задавить, выро-

ставший на ее почве, сеньерский феодализм. Битва при Акциуме (31 г. Р. Х.), окончательно решившая эту задачу, сделала Октавия хозяином и Рима, и мира. Власть свою сдержанный и осторожный победитель принял с величайшей осмотрительностью. Из ряду вон счастливый воин, всем своим величием обязанный мечу, он однако, с этого момента, в продолжение 45 лет, стремится к тому, как бы ему сократить военное напряжение государства и понизить в нем повелительное значение солдатчины. Задача и требование времени, а следовательно и Августа, потому что он всегда и всюду шел за временем, — превратить империю из великого военного лагеря в великий гражданский союз, умиротворить железный век, обессиленный выпущенной из всех средиземных народов кровью, и положить начало новому государственному строю крепкого единовластия, опертого на численный, материальный и духовный рост новой римской демократии. Следить за сознательной, а еще чаще бессознательной, работой Августа на этом поприще не входит в задачу моего очерка. Творил не он, творили время, об-

стоятельства, потребности полуистребленного, а в остатках своих переутомившегося, до вырождения доведенного, Рима и освежающие, целительные волны нового плебса, хлынувшего в недра его, через либертинат. Когда изучаешь Августовы реформы, удивительно и поучительно видеть, как этот великий маленький человек, даже в самых решительных движениях своей твердой воли, уподоблялся щепке, несомой течением. Как жизнь заставила его провести множество таких мер, которые были ему лично противны до глубины души. Как средства, которые он, аристократ, ханжа, капиталист и консерватор, воображал сдерживающими и охранительными, становились, естественною силою вещей, факторами общественной демократизации. Как он убил религию, думая ее воскресить; как он разорил и погубил родовую аристократию, думая возвеличить и обогатить ее остатки; как он воображал упрочить брак и законное деторождение, а принужден был легализировать конкубинат; как он мечтал и напрягался, чтобы сберечь национальный Рим, а вырастил Рим интернациональный; как он, насадитель

буржуазии, расплодил Lumpenproletariat и оставил наследие безвыходных счетов с ним не только всей своей династии, но и всей будущей императорской чередой. Но, как бы то ни было, когда великую царственную щепку домчало к смертной бездне, и Август навсегда закрыл глаза в кампанском городе Ноле, цели его внешним образом были достигнуты, и народы, действительно, рукоплескали сыгранной им мировой комедии. Он оставил государству мир, который, правда, потом оказался страшнее всякой войны: лицемернейший политический строй со старыми республиканскими масками на новой демагогической тирании, — показную и бессильную конституцию диархии, которая каждого нового государя в несколько лет, а то и месяцев, доводила до совершенного презрения к всевластному, якобы, закону и обращала от довольно доброжелательных начинаний (Тиберий, Калигула, Нерон) к безумию власти, слыханному разве в восточных деспотиях. Этому человеку как будто все и всегда удавалось, а в конце концов не удалось решительно ничего из того, о чем он, действительно, страстно меч-

тал. Полвека хитрил он и интриговал, чтобы укрепить в Риме династическую идею, — и что же? Передать правление он должен был нелюбимому пасынку, а династическую идею-то хотя укрепил, но его династии достало всего на 55 лет (да и то Тиберий и Клавдий ему, по крови, чужеродные). А там даже самая фамилия Caesar перешла к случайному удачнику, генералу из плебеев, Флавию Веспасиану, и стала она летать с рода на род, из страны в страну, от народа к народу, веками искажаясь в варварских произношениях, пока не осталась — девятнадцать веков спустя — «царем» у славян и «Kaiser»'ом у немцев. Латинские народы, родные Августу, утратили «Цезаря» даже как символ власти. И только иногда в итальянском простонародье еще звучит это громкое имя, как титул... австрийского императора!

Процесс вбивания в Рим династической идеи проводился Августом, как любимое дело, с обычной ему последовательной осторожностью, чтобы не перепугать общественного мнения откровенным насилием власти могущественной, но новой, непривычной и,

быть может, непрочной, над народовластными традициями призрачной республики. Август умер, обеспечив роду своему, что государи римской республики будут избираться из фамилии Цезарей, но не посмев и заикнуться о наследственном преемстве верховной власти. А из последующих Цезарей ни один не был способен продолжить Августов труд по укреплению династического начала. Ядовитый умница Тиберий просто не хотел, потому что терпеть не мог всю свою фамилию и истреблял ее, как только мог. Калигула, наоборот, фамилию свою слишком любил, но он был сумасшедший и скоро погиб жертвою заговора Кассия Хереи. Династические заботы, внушенные Клавдию вольноотпущенниками после убийства Мессалины, повели только к тому, что, когда Клавдий был отравлен, власть досталась не сыну его Британику, а приемышу Нерону, урожденному Л. Домицию Аэнобарбу. И последний, наконец, окончательно позаботился, чтобы Августовой крови ни капли не осталось на свете; передушил и перерезал все остатное потомство первого императора, включая и самого себя. Казалось

бы, в Нероне умер последний Цезарь, последний Август. Однако, первое, что делает на прахе павшей династии новоизбранная торжествующая династия, — спешит связаться со старой, разрушенной, обесславленной, узурпируя ее фамилию, как титул законной власти, а имя ее основателя, как священную прерогативу.

Разгадка такого цепляния новой любимой династии за старую ненавистную скрывается во многих причинах, но, главным образом, в той связи фамилии Цезарей с народной религией, которую успел установить Август за 45 лет своего безусловного главенства над римскою республикою, в искусно привитой народам империи привычке почитать Цезарей родом, призванным к власти провиденциально или, как впоследствии создалась формула самодержавия, — «Божьей милостью». В числе многих других своих социальных строителей, Август почитается также восстановителем древней римской религии. В действительности, и здесь над ним тяготела обычная судьба его учреждений: он восстанавливал формы и обряды, но разрушал суть, вводя в

религию, в качестве центральной опоры, совершенно нерелигиозное начало — политическую дисциплину пресловутого «императорского культа».

Я совсем не собираюсь погрузить здесь читателя в глубины огромной темы императорского культа, тем более, что нам еще придется надолго окунуться в них, когда мой труд коснется начальных дней христианства (см. том IV). Сейчас я намерен коснуться только одной стороны его общественно-политического влияния: роли, которую сыграл он в мирном завоевании Рима династией Цезаря, и средств, которыми проведена была эта роль. Когда человек XX века оглядывается на любопытнейшее явление «императорского культа», оно по первому взгляду, представляется ему языческим раболепством столь грубого и первобытного типа, что почти не постижимым кажется, каким образом мирился с подобной нелепостью здравый смысл столь умного и культурного народа, как римляне в века империи? Но, изучая организацию императорского культа, мы мало-помалу теряем самодовольное презрение к его языческой

нелепости. Не потому, чтобы разуверились в последней, а потому, что — чем дальше всматриваемся, тем к большему приходим разочарованию в нелепостях позднейшей европейской тактики по этому вопросу, тем ярче сказываются следы умершего культа Цезарей и в средних веках, и в новых, и в новейших, и в самоновейших. Христианство победоносно сломило и вымело из мира тысячи «мертвых богов», но склонило голову перед этим. Триста лет оно осыпало бога-цезаря всевозможными протестами и оскорблениями, тысячами жизней гибло за вражду к нему на кострах и плахах, на крестах и в цирках. В вековой борьбе ему удалось разрушить мифологию культа, но не его авторитет. С последним ему пришлось замирииться на компромиссе, в котором перевес остался таки, в конце концов, на стороне старой власти. Так прочно и наглядно остался, что, входя в фазис государственной дисциплины, христианство само выработало и поставило на главу своего политического бытия символ государя «Божьей милостью», отличенный от римского Цезаря лишь потерей нескольких старых ти-

тулов и прибавкой нескольких новых, но вооруженный властью гораздо сильнейшей, чем даже раньше, в языческом фазисе. Сто лет спустя после Миланского эдикта, императоров еще титулуют в письмах — «ваше боже-ство» (*Numen vestrum*) и «божественный» (*divinus*). На Равеннской мозаике имена Константина, Феодосия, Аркадия, Валентина, Грациана, Константина сопровождаются эпитетом *divus*, т.е. «человек, сделавшийся богом», «божественный» (в отличие от *deus*, бог, рожденный богом, бог по природе самой). Сравнительно с недавним языческим апофеозом, это пожалуй, даже шаг вперед, а не назад, ибо в язычестве далеко не все императоры подряд попадали в разряд *divi*. Первый век, допустивший на Олимп из пяти Цезарей только двух, считался в апофеозе не только с верховной властью, но и с нравственной личностью. Четвертый объявляет верховную власть огулом божественной и апофеозизирует, закрыв глаза на этику, подряд. *Divus* до такой степени сливается со значением «умершего принца», что встречается у христианских писателей даже при имени... Юлиана Отступника!

Еще при Константине, христианин-астролог Фирмик Матерн придумал формулу императорского величия, которая и не снилась языческим льстецам: он объявил гадание об императоре, — оно считалось государственным преступлением — не столько опасным, сколько недобросовестным, потому что судьба императора исключена из звездного закона, — она выше звезд и младших небесных сил, ими управляющих. Гений, живущий в императоре, равен духам-космократорам, то есть архангелам. (См. том I, глава «Звездная наука».)

«В римском мире публично обожествляли императоров умерших, а также легко возникали частные, интимные культы императоров живых. Благодаря этому, как в Риме, так и провинциях возникло много коллегий и частных обществ, посвященных императорскому имени. Обыкновение обожествлять людей связано с чисто римским культом Манов, Ларов и Гениев. Но значительность и размеры, которые принял культ, ясно выдают влияние восточных обычаев, — политические события легко и быстро перенесли их на почву импе-

рии. Обычай эти сложились в царстве Диадотов и главным образом в Египте в эпоху самого глубокого неверия. Они имели последствием организацию в провинциях культа Цезарей по греческому образцу, а затем провели этот культ и в самый Рим. В один прекрасный день деспоты увидели пред собою, в лице своих подданных, расу достаточно оподленную, чтобы боготворить господ своих: блестящее доказательство, что религия римская разрушилась до основания. С каким бы смирением ни принимал Август божеские почести, он уже тем, что заставил дать себе имя Августа (буквально: «сверх-человек», от *augeo*, увеличиваю, умножаю), показал, что с точки зрения политической, он придал решительную важность возвышению особы императора над прочими смертными; ибо этот титул возвещал во всеуслышание, что государь есть существо, высшее своих подданных и отличной от них природы. По смерти Октавия императорский культ, до сих пор терпимый только в провинциях, начал понемногу преобразовываться в государственную религию» (Марквардт).

Простота и естественность, с которой свер-

шила́сь эта замена, то есть императорский культ подменил собою упалую религию и стал на ее место, — воистину поразительны и поучительны. Из приведенных строк Марквардта ясно определяется в императорском культе взаимодействие двух влияний: провинциально-восточного и ультра-национального, «истинно-римского». Первое принесли с собою волны нового плебса и войска генералов-конквистадоров, завоевавших Элладу, Сирию, Египет. Но вряд ли оно оказалось бы достаточно сильным, чтобы укорениться, если бы не встретило благодарной почвы во втором, местном влиянии. Развитой и привычный, философской софистикой разработанный, восточный культ государя-бога привился к вековому, темному, первобытному культу римского простонародья и, слившись с ним в выгоднейшую политическую систему, создал привычки и обычаи, сперва равные повелительным законам, потом возведенные в степень государственных законов.

Когда Марквардт говорит «о расе, достаточно оподленной, чтобы боготворить господ своих», он употребляет аристократический

язык римского старо-республиканского пред-
рассудка. Раса осталась как раса, не хуже и не
лучше, чем прежде и после. Если здесь воз-
можно употребить слово «подлый», то лишь в
том смысле, как оно употреблялось в крепост-
ном XVIII веке: «подлый народ» = «подле-
глый» = «простонародье», а отнюдь не в смыс-
ле нравственной его оценки. При том виде,
вкрадчивом и осторожном, как римскому на-
роду предподнесены были первые опыты Ав-
густова культа, совсем не надо было народу
быть в состоянии совершенного нравственно-
го упадка, чтобы помириться с ними и при-
нять их.

После битвы при Акциуме было постанов-
лено сенатом ввести почитание «Г е н и я Ав-
густа» в исконный римский культ ларов. Это
значило: объявить неведомого, безымянного
бога, под покровительством которого живет и
действует Август, — его небесного патрона,
или, говоря по нынешнему, его угодника, его
ангела-хранителя, — государственным боже-
ством, народным святым. Здесь, как читатель
видит, нет еще и тени обоготворения лично-
сти Августа во плоти и крови. Сенат просто

учреждает новый табельный день, — именины государя, — и делает предписание, чтобы изображения государева святого имелись в каждой общественной и частной божнице (sacrarium) наряду с изображениями ларов, гениев-покровителей домашнего строя.

Что касается последнего, кто не знает и не употребляет слов «пенаты», к «нашим пенатам», «Эсхин возвращался к пенатам своим» (Жуковский), «лары и пенаты», бессознательно отдавая тем дань давно умершему культу, равно как отдает ее еще более бессознательно всякий итальянец, который употребляет в речи глагол *penetrate*, а француз — глагол *penetret* (проникает во внутрь). Пенаты (от *penus*, кладовая) — гении хозяйства, блюдущие запасы харчей и прочего благосостояния внутри дома. Если их перевести на поздний демонологический язык, это будет наш домовый, поскольку он хозяин и блюститель зажитка семьи, а в христианской мифологии их функции приняли хозяйственные и подобно римским пенатам — по большей части парные святые, как Фрол и Лавр, Косьма и Дамин, Борис и Глеб и т.д.

Иная идея положена в основу культа ларов. Римляне верили в бессмертие души, как и в то, что смерть совершенствует человека в кротость и могущество божественности (*dii manes*). Семейный культ мертвых — из древнейших римских. Возник он у могил внутри самого дома, как первоначально хоронили римляне своих покойников, но законы XII таблиц запретили этот обычай. Вместе с тем, те же XII таблиц одухотворили старый, грубый, конкретный культ, введя в него правовую абстракцию — *jus manium*, т. е. погребального ритуала, который превращает мертвеца в божество. Так узаконился и получил отвлеченное обобщение стародавний культ, по-видимому, этрусского происхождения. Семейным ларом (*lar familiaris*) почитался первый домовладыка, основатель фамилии: «творческая сила, которая положила начало роду и блюдет, чтобы он не угас» (Марквардт). Поэтому, — в противоположность пенатам, которых множественная форма *penates* заставляла римских ученых спорить, как было единственное: *penas* или *penatis*, — в каждом доме был только один лар. «Возвратиться до-

мой», в фигуральной передаче домашнего культа, *redire ad penates suos* или *redire ad lares suos*. Из этого краткого описания легко видеть, что римский лар — близкая родня славянскому чуру, как изобразил его, по обыкновению, картинно и сжато, в своем «Курсе русской истории» В. О. Ключевский.

«Тот же обоготворенный предок чествовался под именем чур-ра, в церковно-славянской форме щура; эта форма доселе уцелела в сложном слове пращур. Значение этого дедародоначальника, как охранителя родичей, доселе сохранилось в заклинании от нечистой силы или неожиданной опасности: чур меня! т.е. храни меня дед. Охраняя родичей от всякого лиха, чур оберегал и их родовое достояние. Предание, оставившее следы в языке, придает чуру значение, одинаковое с римским Термом, значение оберегателя родовых полей и границ. Нарушение межи, надлежащей границы, законной меры мы и теперь выражаем словом чересчур; чур — мера, граница. Этим значением чура можно, кажется, объяснить одну черту погребального обряда у русских славян, как его описывает Начальная

летопись. Покойника, совершив над ним тризну, сжигали, кости его собирали в малую посудину и ставили на столбу на распутьях, где скрещиваются пути, т.е. сходятся между разных владений. Придорожные столбы, на которых стояли сосуды с прахом предков, — это межевые знаки, охранявшие границы родового поля или дедовской усадьбы. Отсюда суеверный страх, овладевавший русским человеком на перекрестках: здесь на нейтральной почве родич чувствовал себя на чужбине, не дома, за пределами родного поля, вне сферы мощи своих охранительных чуров».

Ключевский употребил слово «чур» во множественном числе: чуры. *Lar* имеет также множественное число — *lares, lases*, но, в таком случае, эта множественность относится не к одному дому, а к союзу нескольких ларов из нескольких семейств. То, что Ключевский сказал о перекрестках, приходится здесь чрезвычайно кстати, так как римлянин рассматривал перекресток — в городе ли, в поле ли — как нейтральное место между прилежащими владениями, место соседской сходимости живых домохозяев, а, следовательно, почему же не

быть ему и местом единений домохозяев мертвых, т. е. ларов? И вот перекрестки (compita), становясь под охрану ларов-соседей, мало-помалу вырабатывают особый, уже не домашний, а союзный, общественный культ соседских, смежных, перекрестных ларов (lares compitales). Социальная идея, его оживлявшая, придала ему быстрое развитие и, вскоре, огромное значение. В конце республики, городские lares compitales или lares vicorum (уличные лары) объединяют своим культом целые кварталы. Их храм, часовня или просто жертвенник на перекрестке (compita, sacella) приобретает значение как бы приходской церкви, а самый перекресток — «погоста», разумеется, не в нынешнем его значении «кладбища», а в старинном — гостинного, торгового места, базарного, ярмарочною сходбища. И, как в старой Руси погост-базар переродился, через погост-приход, в погост-сельскую волость, так и compita римские, выработав вокруг смежных ларов религиозные товарищества, затем, естественной эволюцией, начали перерабатывать их в политические кружки и союзы. Как всякое ре-

лигиозно-обрядовое общение, они должны были отличаться духом консервативным и, в эпоху Юлия Цезаря, вероятно, чересчур ярко выказывали свои старо-республиканские аристократически-феодалские симпатии, потому что диктатор нашел нужным их распустить. Но то, что создано веками, не может быть уничтожено одним манием державной руки, хотя бы и гениальной руки Юлия Цезаря. Тем более, что он мог запретить организации, но не в состоянии был, конечно, да и не посягал уничтожить самый культ. Август, пришедший к власти с программой не реформ, но *reipublicae constituendae causa*, для того, чтобы упорядочить республику и сплотить и сохранить, сколько позволит перемена времен, ее национальные начала, не имел никакой надобности воевать с культом, неудобным для реформатора и новатора, вольнодумца и демагога Юлия. Напротив, — консерватор и суевер, мастер выбирать господствующую струю современного течения и мчаться на ней к успеху, — Август нашел эти старо-республиканские, «истинно-римские» приходы прекрасными проводником для сво-

их государственных и династических целей, лишь бы они продолжали быть ему преданными и послушными, лишь бы организация сосредоточилась в руках или под контролем нового правительства.

Храмы, часовни и жертвенники (*sacella*) перекрестных ларов обязательно имели изображения двух воображаемых ларов. Теперь любезность сената внесла в эти святилища еще третье изображение — Августова гения, угодника, ангела-хранителя. Народ принял новшество легко. Во-первых, потому, что Август, как умиротворитель государства, был в это время очень популярен; во-вторых, потому, что народ был благодарен ему за восстановление своих по-квартальных корпораций; в-третьих, потому, что в поклонении гению принцепса не находил ничего необыкновенного. Клиент клянется гением своего патрона, раб — гением своего господина. Если республика становится как бы патронат Августа, то для нее, как великой коллективной его клиентуры, естественно почитать его гения. Это опять таки не боготворение человека. Подобный вид почета переживают в христианстве

не только все государи, потому что иконы тезоименитых им святых обязательно имеются в каждой церкви, школе, богоугодном заведении, но и разные, более или менее именитые и заслуженные представители всевозможных коллективов административных, общественных, образовательных, коммерческих, промышленных. Если, скажем, компания Ярославской железной дороги поставила в московском своем вокзале икону св. Саввы, имя которого носит основатель дороги Савва Ив. Мамонтов, это не значит, чтобы сказанная компания канонизировала Мамонтова и признала его своим святым. Так точно и римский народ принял в свои божницы совсем не Августа, но Августова гения, и образ был не Августов, но — Августова гения.

Были однако и существенные различия с современностью, которые сказались не в момент учреждения этих религиозных новшеств, но в их процессе и правильно рассчитанных результатах.

Современные религии избегают делать священные изображения слишком схожими с живыми лицами. Настолько, что сейчас по-

добные иконы если иногда и пишутся, то — в совершенной интимности, не для публики. Но в латинском искусстве эта реализация абстрактной святости в конкретную лесь широко развилась, начиная с веков Возрождения, да и до сих пор гораздо больше распространена, чем в России. Однако, и у нас прежде, под византийскими и латинскими примерами, она была в большой моде. «Наши новейшие художники начали с того, что архистратига Михаила с князя Потемкина-Таврического стали изображать» (Лесков). Еще недавно много шума наделало открытие в Грузии образа Божьей Матери, оригиналом для которого послужила пресловутая Настасья Минкина. В домашних церквях, в облагодетельствованных монастырях и т. д. подобных интимных изображений скрывается много. Но Рим этой скрытности не придерживался. Воображая божественное начало, движущее таким же человеком, весьма конкретно, Рим лепил его, писал, высекал из мрамора или отливал из бронзы именно в образе этого самого человека, лишь несколько идеализируя его черты. Как образцы такой удивитель-

но красивой, но ограниченной, удержавшей земное сходство, идеализации достаточно будет напомнить хотя бы знаменитый ватиканский бюст Августа, неаполитанского Нерона в виде Аполлона Кифарэда, Коммода в виде Геркулеса в Капитолии. Таким образом, в течение 35 лет, лицо и фигура Августа стояли божеством пред народом римским во всех святилищах и на всех перекрестках, впиваясь в зрение и воображение, тогда как утренняя и застольная молитва к трем ларам, вместо прежних двух, врезывала имя Августа в память и постоянную привычку религиозной мысли. В результате, конечно, зримый образ победил незримый. К концу правления Августа о гении Августа помнило только незначительное число философски образованной интеллигенции, которая была глубоко равнодушна к вопросу, кто бог — Август или гений его, так как одинаково не верила ни в Августа, ни в гения. Для масс же гений давно слился с личностью самого императора. Последние предсмертные годы Августа полны просьбами от городов, народов и обществ об его личном обожествлении, о сооружении в

честь его храмов и т. п. Он не позволял ничего подобного в Риме, но разрешал в провинции, — однако, очень хорошо знал, что, по смерти, будет обожествлен и в Риме. Громадно длинный и образномиротворительный срок его правления очень содействовал тому, что слово Август запечатлелось в умах человеческих так выразительно, памятно и, согласно смыслу его, священо.

Итак, Август ввел себя в простонародную религию, или, если лучше хотите, в приходчину, в церковно-обрядовый союз общественных низов, и сделал имя свое ее постоянной и крепкой привычкой. Чтобы поддерживать в римской приходчине неизменно цезаристическое настроение, он несколько изменил старый строй этой приходчины. До Юлия Цезаря последняя обнаруживала свою деятельность празднеством Компиталий, которым заведовали выборные участковые старосты (*magistri vicorum*), — притом, не в качестве городских чиновников, но — как нарочная комиссия сведущих и излюбленных людей от обывательства: *magistri collegiorum*. Так как **эти** коллегии широко пользовались для услуг

по праздничной организации рабами — элементом, у римского правительства всегда заподозренным, — то, уже задолго до падения республики, сенат видел в них политическую опасность, а авантюристы, вроде Клодия, политическое подспорье. Юлий Цезарь, самый опытный демагог, а потому знаток и ценитель демагогических средств по достоинству, думал, как сказано выше, покончить с Компиталиями и в том, и в другом смысле: отказался от подспорья и погасил опасность. Август никогда не отказывался от подспорий, а всегда их искал и, найдя, приобретал с уступкою, обглаженными.

Розы — может быть, тряпичные, но без шипов; вместо жеребца — меринок, зато не понесет и не забрыкает. Когда Compitalia понадобились Августу, он вернул их народу, но, вместо выборных коллегий, дал им выборную полицию. Сохранил митинги, но председателями посадил полицейских приставов. Так как город, в это время, разделен был административно на 14 частей (regiones) и 265 кварталов (vici), то в связь с этою полицейскою реформой поставил Август и реформу Компита-

лий. Религиозный приход совпал с полицейским участком. Начиная с 747 г. римской эры (7 до Р. Х.), каждый *vicus* выбирал 4 магистров, т.е. старост. К их религиозным обязанностям прибавлена была организация пожарной помощи, для чего и дано было в их распоряжение по несколько государственных рабов (*servi publici*), а в культ введена была патронесса противопожарной помощи, богиня *Stata Mater*. Во время игр (*ludi compitalicii*) участковые старосты носили мундир государственных чиновников (претексту) и имели выход с двумя ликторами. Начальством их были начальники частей, которые, в пределах, конечно, Августова произвола, назначались по жребию из преторов, эдилов, народных трибунов. Без разрешения частных приставов, приходские старосты, вероятно, могли не много: по крайней мере, заведывание и охрана святилищ — постройка, перестройка — были поставлены всецело под контроль первых. Таким образом, кроме официальной своей полиции, Август получал в городе еще вторую полицию, с религиозным оттенком. 1060 блюстителей нравов и политической

благонадежности рассеялось в классе, наиболее нужном династии, ибо на нем приходилось ей строить свое благополучие, ибо из него создавался новый цезаристический плебс: в классе вольноотпущенников. В сохранившихся памятниках число либертов, в составе приходских старост, совершенно подавляет число свободнорожденных: на 275 первых приходится лишь 36 вторых. Такое огромное преобладание показывает, что ради либертов и преобразовано было старое народное учреждение, на них оно и рассчитано. «Egger вычислил, что более двух тысяч человек самого низкого происхождения, большей частью рабов и вольноотпущенных, принимали ежегодно известное участие в правлении императора и, таким образом, брали на себя обязанность защищать его» (Boissier). Это связь демагогической тирании не только с рабочим пролетариатом, но и с Lumpenproletariat'ом: амуры бурбонского абсолютизма с неаполитанскими ладзарони, поиски патриотизма на городском дне. Свободнорожденные попадали в старосты только случаем, либо там, где либертов было мень-

шинство и некого из них было выбрать. Понятно, для свободнорожденного *magister vicī* не карьера, ибо ему открыты honores, общественные должности. Он может принять избрание, как почет со стороны соседей, подобно тому, как русский домовладелец-дворянин или чиновник может принять избрание в церковные старосты. Но, если бы статистически исследовать сословный состав церковных старост в России, то вряд ли число дворян, чиновников, вообще, «благородных» (именно, значит, *ingenuorum*) явится в менее скудном отношении к числу крестьян, мещан и купцов, вышедших из первых двух сословий, чем отношение свободнорожденных *magistri vicorum* к вольноотпущенным.

Я уже неоднократно касался этого сословия, рост которого в веке Августа является замечательнейшим и наиболее существенным социальным явлением эпохи. Причины этого роста рассмотрены уже мною в другом месте (см. том II). Здесь достаточно будет повторно констатировать его факт. Со дна государства поднимается новый обширный слой, состоящий из ремесленников, мелких и средних

купцов, а также представителей интеллигентно-рабочих профессий: врачей, учителей и т. п. Слой этот тискается в пласты государства, стараясь найти себе в нем место. Но формы старого республиканского строя, сохраненные Августом, места ему открыть не могут: либерт — полуправный, временнообязанный человек; для него закрыта — основное право римского гражданина — лестница общественных должностей. Между тем новое правительство не могло не заметить, что если кому оно нужно, так именно этому классу, и если ему кто нужен, так именно этот класс. Демократический, но нуждающийся в крепкой и постоянной власти, которая гарантировала бы спокойствие его добыч и промыслов; ненавидящий память аристократической республики, при которой он был ничто, и весьма благодарный принципату, который его двинул в жизнь; бойкий и кипучий по роду своей подвижной деятельности, но индифферентный политически и, при мало-мальски порядочном житье-бытье, добра от добра не ищущий; следовательно, склонный к консерватизму «железной руки в бархатной перчат-

ке», охотник до маленьких реформ, но боящийся паче огня революций, во время которых трещат кредиты, начинается заминка в делах, падают спросы и производства, растут банкротства. Наконец, что тоже очень важно, класс новый, космополитический, органически лишенный старых римских традиций, но очень желающий быть римским, «истинно-римским», а потому крепко и любовно приемлющий Рим в том времени и виде, как его исторически застал и нашел себе выгодным. *Ubi bene, ibi patria*. Но *bene* — в Риме, при наличном порядке вещей, значит, Рим и есть *patria*, и за порядок его вещей надо держаться обеими руками, ибо в нем — и Фортуна, и карьера. И вот, куда ни погляди, — все иноплеменные «патриоты своего отечества» — нового, всеобщего римского отечества, в котором утонула их забытая, далекая, варварская родина. Их сделал Рим Цезарей — и они, в самом деле, любят Рим и Цезарей, любят с необыкновенной ревностью, суетливостью, показностью, с азартным, можно сказать, наскоком и крикливостью.

Правительство принципата охотно поль-

зовалось людьми из этого, ему полезного и естественно союзного, класса, создавало из него свою дворцовую бюрократию, часто доводило иных удачников на посты величайшего государственного значения. Но оно бессильно было превратить либертов из худородных в благородных, а следовательно, открыть им дорогу к магистратам. Консервативное предубеждение римлян в этом отношении было настолько велико, что власть не смела и пытаться на реформу. Да и не хотела, потому что, если демократическая половина цезаризма говорит в таких случаях за, то аристократическая немедленно высказывается — против. Ему нужен фактор, талантливый и преданный, но — в черном теле, не ровня. Создатель класса вольноотпущенников, Август, в то же время, усиленно издавал против них ограничительные законы. При Клавдии вольноотпущенники управляли государством. Нерон, путешествуя, оставлял в Риме вольноотпущенника Гелия своим наместником с неограниченными правами. Но класс оставался, по-прежнему, худородным, и, по-прежнему, принимались меры, чтобы он не

смешался в правах своих с классами благородными, т. е. свободнорожденными, *ingenii*. Как было уже говорено однажды, это — почти та же эволюция, какую в Московском царстве прошло сословие дьяков, вышедшее в XIV — XV веках из рабов, а к концу XVI и в XVII сделавшееся душою и силою всей административной машины. Но — даже внук дьяка, хотя бы и думного, еще почитался в боярстве выскочкою, с пятном на родословии (Сергеевич).

Попадая в затруднения между старыми народными привычками и новыми государственными потребностями, римский принципат никогда не становился на путь крутых социальных реформ, а старался восстановить нарушенное равновесие компромиссами: старому оставить весь вид ненарушимости, а новому открыть искусные лазейки к фактическому нарушению, или, наоборот, оставить за старым фактическую ненарушимость, окружить новое обманными декорациями и буффорией нарушения. Рядом подобных компромиссов той и другой категории обусловились и правительственные отношения к классу вольноотпущенников. Но, ласкал ли либер-

тов цезаризм с задним расчетом себе на уме, преследовал ли их бумажными угрозами, подмигивая сквозь пальцев, что, по нужде, мол, закону перемена бывает, — в том и другом случае, компромисс шел неизменно к выгоде цезарей.

Когда умер Август, апофеоз его, т. е. признание святым, богоравным, *divus*, совершился без всякого затруднения, единодушным желанием, лишь узаконившим, собственно говоря, суеверие, которое, при жизни Августа, впитывалось в народ, как обычай. Это был уже второй святой государь, которого давала Риму фамилия Юлиев. В течение 45 лет своего правления, Август употребил немало усилий для того, чтобы озарить род свой светом мистического предназначения к власти над Римом, в чем ему усердно и убежденно помогали языки и зеркала общества — поэты-цезаристы, как Гораций, Овидий и, в особенности, Вергилий. С их помощью, поддерживаемый теологами, вроде Атея Капитона, М. Т. Варрона и др., он воскресил легенды, связывающие его род с благочестивым Энеем, богиней Венерой и т. д. Как возобновителю государства,

ему очень хотелось принять, вместо Октавия, имя Ромула, но он не посмел, опасаясь, не понял бы это народ за намек, будто он стремится к ненавистной Риму царской власти. Не смог быть Ромулом, — стал Августом. Но больше всех легенд и мифов помогла ему историческая память его великого усыновителя и дяди, Юлия Цезаря, чья громадная личность так поразила народное воображение, что — за исключением Карла Великого, нашего Петра и Наполеона I — подобных впечатлений уже не отразили грядущие века. Апофеоз Юлия Цезаря — единственный в истории императорского культа, который говорит о дружном, экстатическом народном порыве, о необходимости, сложившейся таинственной логикой масс и вмешательством кстати даже самой природы. Известно, как на руку оказалась династии Юлиев комета, засиявшая на небе вскоре по убиении Юлия Цезаря. Октавий недаром поместил ее образ на шлем свой, — он выиграл ею больше побед, чем даже счастливым своим мечом. Став Августом, он скромно отвергал божественные почести, но никогда не забывал поместить в титуле:

«*Divi Filius*» — «Сын бога», — и эта памятка служила ему гораздо лучше, чем играть роль живого бога самому. В результате всей этой систематической агитации, по смерти и апофеозе Августа, наряду с прямым и официальным культом его, возникает в Риме, в том же 14 по Р. Х. году, религиозный орден — *sodales augustales* — посвященный культу самой богородящей Юлианской династии (*gens Julia*). Учреждением его обслуживалась императорская идея в избранных верхах общества. Коллегия ордена состояла из 25 членов (*decutiones*): 21, действительные, избирались по жребию из первых вельмож государства, 4 почетных приглашались из членов императорской фамилии. Первыми почетными декурионами были Тиберий, Друз, Клавдий и Германик. Впоследствии число членов было доведено до 28, выше чего уже не поднималось. Орден уравнен был в почестях с четырьмя древними и величайшими жреческими коллегиями античного Рима (*quatuor summs* или *amplissima collegia*): с понтифами, авгурами, квиндецимвирами (*XV viri sacrorum*) и трапезниками (*epulones*).

Факт возникновения ордена Юлианцев именно по смерти Августа вполне логически и истинно римски сочетается с тем обстоятельством, что в лице Августа кончилось мужское поколение Юлиев, — он был последний в ней *paterfamilias*, хранитель родовой религии (*sacra gentis*) и исполнитель ее таинств. Родовых религий (*sacra gentilicia*) было в Риме много, и некоторые из них приобрели публичное значение, напр, религия рода Валериев, из которой вышли знаменитые «Столетние игры» (*Ludi saeculares*) (см. том I). Понятно, что родовая религия могла существовать только, покуда существовал род. С истощением последнего, государство не могло поддерживать обрядов родовой религии. Но оно старалось сохранить, по крайней мере, те из них, которые приобрели общее признание, сделались *sacra publica*, сохранив, однако, память, что, по происхождению, они — *sacra gentis*, а за членами рода — привилегию их жреческого исполнения. В видах такого сохранения, как скоро род начинал истощаться, в среду его вводили чужеродцев и тем перерабатывали род в религиозное братство, *gens* в

sodalitas. Если же дело шло не о спасении старого, угасавшего родового культа, но о возникновении нового, то учреждали новую sodalitas, поручая ее на первых порах преимущественному патронату той или другой фамилии, связанной с новым культом какими-либо историческими или местными преданиями, но по такому расчету, чтобы sodalitas не могла быть поглощена фамилией в монополию, а со временем развилась бы в корпорацию. Так, с основанием храма Венеры Родительницы (Venus Genetrix), заложенного Юлием Цезарем и оконченного Августом, была основана и sodalitas, в которую вошли тогда все еще не вымершие члены gentis Juliae. Этот пример любопытен тем, что наглядно показывает основную черту подобных братств: связанность их с известным храмом Sodalitates — братства не во имя богов, но во имя храмов, collegia templorum, non deorum. Их жертвы, трапезы, игры были приноровлены к годовому празднику храма, при котором они возникали, и божеством-патроном для них было специально лишь божество, чтимое в их храме, причем день основания храма

считался днем рождения божества. Говоря о квинкватриях (во II томе), мы имели случай видеть, как, при популярности и широкой, так сказать, компетенции божества (Минервы), храмовой праздник Авентинского холма мог вырасти во всенародный и повсеместный. Так как *sodalitas* пришла на смену к *gens* и стала его фикцией, то братчики (*sodales*) наследовали юридические отношения, подобные существовавшим между родственниками-когнатами и свояками (*affines*) : братчик не мог выступить против другого обвинителем по уголовному делу, ни наняться в адвокаты (*patronus*) к обвинителю братчика и т. д. Все это сплачивало братства в единство, вроде масонской ложи, которое, при случае, могло явиться и являлось немаловажной политической силой. В особенности же сила эта сказывалась в тех братствах, которые успевали расширяться в коллегиальные сообщества (*collegia sodalicia*), т. е. в товарищества для религиозных или общественных целей, уже не связанные с родовым началом, но образующие сложную юридическую личность с тем, чтобы продолжаться и по смерти чле-

нов-учредителей. Это древнейшее римское учреждение (начало его приписывают Ромулу и Нуме), к концу республики, развило ряд настоящих политических клубов: *artificum* — клубы художников, *collegia orificum* — клубы мастеровых и т. п. Объединяясь, подобно средневековым цехам, под протекторатом своего святого, эти профессиональные союзы, в последний век республики, могущественно влияли на выборы и потому были весьма любезны аристократическим демагогом, вроде Клодия. Юлий Цезарь, опять таки памятуя свой демагогический опыт, круто наложил на них руку. Август, опять таки компромиссом, сохранил из них только древнейшие. С его времени, для учреждения новой коллегии требуется постановление сената и санкция императора. В результате, при империи политические коллегии (*collegia sodalicia*) исчезают и остаются только коллегии погребальные (*collegia funeraticia*, *collegia tenuiorum*), сыгравшие впоследствии громадную роль в пропаганде и укреплении христианства. О них еще будет случай много и подробно говорить в IV томе «Зверья из бездны».

Итак, sodales augustales, 21 аристократ самой, что ни есть, голубой крови и белой кости, с четырьмя принцами во главе, обслуживают династическую идею вверху общества. В низах эта великолепная коллегия знати отражается множеством отсветов, которым правительство позаботилось придать вид постоянства и единообразия. Если в городах династическая идея укреплена участковыми старостами (magistri vicorum Augustales), то в деревне уже самые лары, приглядевшиеся в новом их тройном виде, успели прослыть «Августовыми ларами» (Lares Augusti), а старосты культа зовутся с внушительным двойным подчеркиванием — magistri Augustales Larem Augusti. Куда ни прикинись, куда ни повернись, образ Августа — пред глазами римлянина, имя Августа — в его ушах, мысль и память полны Августом. Это общественный, массовый гипноз, который приводит к единообразию слабые, темные умы, сбивая их в стадность благоговейного повиновения силе сверхчеловеческого обаяния, им непостижимого.

Теперь новой, нарождающейся религии

обоожествления верховной власти, культу династии, остается только кинуть постоянный мост между равно завоеванными ею верхами и низами: прикрепить к себе ту новую и многообещающую часть плебеев- цезаристов, которая, материально вырастая, ждет от правительства благодарности за преданность и поощрения, в виде какого- либо возвышающего сословие классового компромисса.

Он является в форме «севирата».

Августово братство больших римских господ отражается в множестве провинциальных городов образованием новых августальных корпораций, в которых смешались черты и аристократических братчиков, и демократических участковых старост. И корпорации эти, быстро развиваясь, не замедлили сложить своеобразную аристократию плебса: между классом декурионов и классом плебса просунулся новым пластом, низший первого и высший второго, класс августалов, *ordo, corpus Augustalium, Augustales incorporad.*

Возникли эти корпорации вокруг тех игр, которыми в каждом городе должно было чествоваться Августово божество с тех пор, как

культ его стал государственным и всенародным. Правда, имеются известия об августальских корпорациях еще и при жизни Августа, но эти частные организации, очевидно, не заключали в себе того элемента общепринятости, равной обязательности, как настало для них время по смерти Августа. Это не более, как почтительные выражения монархического усердия, подобно тому, как и в наши времена многие общества и учебные заведения испрашивают дозволения государей называться по именам членов Императорской фамилии: Александровскими, Николаевскими, Мариинскими, Константиновскими, Ксениевскими и т. д: Государство не затратило на введение Августова культа своих капиталов и остерегалось сделать его ненавистным, через какое-либо прямое народное обложение. Оно поступило в этом случае, как старинные русские губернаторы, которые, при богоугодных или филантропических надобностях, призывали к себе толстосумов купечество и предлагали ему принять расходы на себя, а в возмездие выхлопывали высочайшую благодарность, почетный кафтан, медаль, потомствен-

ное почетное гражданство и т. п. Но так как Рим любил порядок и систему, то и эта купля-продажа богоугодности и почестей была им обзаконена в строгую череду и механическую аккуратность. Ежегодно муниципальный совет (*decuriones*) обязан избрать из числа зажиточных и добропорядочных граждан города шесть человек (*seviri*), как комиссию для организации служб, спектаклей и банкетов, сопряженных с императорским культом. Каждый из шести должен внести в городскую кассу вводные деньги — *summa honoraria* — и свою долю по смете покрытия расходов культа, им поручаемого. Деньги причитались не маленькие, но новые плебеи платили их охотно, так как покупали за них не только внешний почет (претекста, один или два ликтора со связками, почетное место на играх и *bisellium*, двойные кресла, наряду с декурионами), но и важные сословные преимущества. По окончании своих полномочий, те из бывших севиринов, которые были из свободнорожденных, *igenui*, получали титул *sevirales*: это обозначало в них очередных кандидатов на перечисление из плебса в *ordo decurionum*.

За отставными севирами из вольноотпущенников сохранялся титул *seviraes Augustales* — они-то и слагали ту мещанскую аристократию, ту отличенную буржуазию, о которой говорено выше и которую развивать Цезарям было и выгодно и желательно. Стремление вольноотпущенников в севират было настолько значительно, что шести мест в институте этом оказалось мало. За невозможностью увеличить их число (вероятно, мистическое), пришлось расширить учреждение севирата допущением кандидатуры к нему (*adlecti*), по-видимому, зависевшей в числе своем исключительно от усмотрения городского совета, и, значит, неограниченной, лишь бы кандидатам была охота платить. Эти кандидаты и носили звание «августалов» (*augustales*), по которому слыла и вся корпорация. Усердным исполнением своих обязанностей по сервирату все эти люди приобретали знаки отличия, вроде записи первым или из первых в реестрах (*album*) своей корпорации, права на двойную получку (*sportulae*) при общественных раздачах, а главное — орденов (*insignia*) декурионского, эдильского и даже

дуумвиратского достоинства, создававших для августалов фикцию равенства с магистратами. Наконец, — что буржуазия всегда и всюду особенно ценила, — хоронили августала в его мундире (*ornamente Augustalia*), с парадом, в котором участвовал городской совет. Величайшим же почетом для муниципально-го плебея было — быть избранным в севиры без денежного взноса. Несомненно, что этот дешевый способ был самым дорогим, потому что, в общем правиле, города были бессовестно требовательны к богатому мещанству, и, чтобы довести эту ненасытную пасть до степени гражданской признательности, надо было раньше истратить несметные деньги. Какую громадную роль играл севира́т для буржуазного класса, лучше всего выяснят несколько коротких отрывков из Петрониева «Сатирикона», высмеивающих пошлость богатых вольноотпущенников Неронова века. Почести севирата постоянно и на уме, и на языке у пресловутого Тримальхиона и гостей его. Дом полон символами севирата.

«Вот и вошли мы в столовую, мимо домоправителя, который сидел у дверей и работал

над счетною книгою. Что я заметил с особенным удивлением, так это — на дверях пригвожденные, ликторские связки с топорами, рукоятки которых — заканчивались бронзовым подобием корабельного носа, а на носу была надпись: «К. Помпею Тримальхиону, севиру августалу, от Киннама, его кассира»».

Обедают. «Вдруг в дверь столовой застучал ликтор, и вошел в сопровождении большой свиты, господин в белом одеянии — заметно, навеселе. Я, пораженный его величием, подумал, что пришел претор, и потому хотел было вскочить с ложа, хотя и неприятно было стать на землю босыми ногами. Но Агамемнон засмеялся моей ошибке и сказал: «Сиди, дурачина! Это Абинна, сеvir и в то же время каменщик, — говорит, превосходно делает надгробные памятники»».

Замечательные страницы «Сатирикона», в которых один из гостей, рассерженный насмешками, излагает, так сказать, программу вольноотпущеннического благополучия, какого, дескать, давай Бог всякому.

«Так как Асцильт, в необузданной веселости, махал руками, хватался за бока и хохотал

до слез, то один из вольноотпущенников, старый товарищ Тримальхиона по рабству, и именно тот, что возлежал выше меня, облизался и сказал: «Что ты смеешься, баранья башка? Не нравится тебе, что ли, роскошь нашего гостеприимного хозяина? Оно и видать, что ты привык жить богаче и пировать слаще! Клянусь богами-хранителями дома сего: если бы я возлежал возле этого парня, я бы заткнул ему глотку, чтобы не блял! Нечего сказать, хорош фрукт, чтобы издеваться над другими! Невесть какой бездомовник, ночной бродяга, который не стоит собственной мочи! Одним словом, если я его кругом..., так он не будет знать, куда от меня бежать. Черт возьми! я совсем не такого характера, чтобы горячиться из-за пустяков, но — вот уж правда: где гнилое мясо, там и черви! Хохоchet! Чему хохоchet? Подумаешь батяка не родил его, а купил из чрева матери, на вес серебра! Ты римский всадник? Ну, а я царский сын! «Почему я стал рабом?» Потому что сам, по доброй воле, закрепостился, предпочитая быть со временем римским гражданином, чем вечным данником. И теперь, слава Богу, живу-по-

живаю, так, что на нас сверху не взглянешь! Стал человеком, как все добрые люди, хожу себе да поглядываю, как ни в чем не бывало, гроша медного никому не должен, под судом никогда не бывал, никто меня на форум не тягал: отдай, что должен! Землишку купил, монеток накопил, кормлю двенадцать ртов, не считая моей собаки. Женушку из рабства выкупил, чтобы никто ей за пазуху лапами не лазил. За собственный свой выкуп я заплатил 1000 денариев. В сеиры меня даром назначили. Коли помру, то в гробу, надеюсь, мне краснеть не от чего».

Это хвалится человек маленький — голос из «черной сотни» не только по происхождению, но и по состоянию. Но вот проект монумента, о котором мечтает туз из тузов, черносотенный воротила, Тримальхион:

«Прошу тебя очень: изобрази у ног моей статуи собачку мою, венки, сосуды с ароматами и всякие бои гладиаторские, чтобы я, по милости твоей, пожил немного и после смерти. Затем, значит, отвожу я под монумент по прямому фасаду сто футов, а по боковому — двести. Насади вокруг моего праха яблонь

разных, вишенек, грушек, а также обширный виноградник. Потому что большая это с нашей стороны ошибка, что мы, покуда живы, дома свои украшаем, а о тех домах, в которых нам долгие быть, не заботимся. Поэтому прежде всего желаю, чтобы на памятнике было написано: «Сей монумент к наследнику не переходит». Впрочем, это уже мое дело предусмотреть в завещании, чтобы после смерти не потерпел я обиды. Поставлю у гробницы своей которого-нибудь из вольноотпущенников моих стражем, чтобы людишки не бегали туда испражняться. Прошу тебя также вырезать на фронте моего монумента корабль, на полных парусах бегущий, а я — будто восседаю на трибуне, в претексте, с пятью золотыми кольцами на пальцах, и вытряхиваю денежки из кошелька. Потому что, как тебе известно, я устраивал общественную трапезу, обошедшуюся мне два денария на человека. Хорошо было бы также, если ты находишь возможным, изобразить и самую трапезу, и все гражданство, как оно ест и пьет в свое удовольствие. По правую руку помести статую моей Фортуната с голубкою в руках, и

пусть при ней тоже собачка будет, на шнурке, к поясу привязанном; мальчишечку моего тоже, а главное — побольше винных амфор, хорошо запечатанных, чтобы вино, знаешь, не усыхало. Конечно, изваяй и урну разбитую и отрока, над нею рыдающего. В середине — часы: так, чтобы всякий, кто пожелает узнать, который час, — хочешь, не хочешь, а имя мое читай! Что касается надписи, то вот посмотри-ка, не довольно ли хороша будет эта:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ

ГАЙ ПОМПЕЙ ТРИМАЛЬХИОН МЕЦЕНАТИ-АН.

Ему заочно присужден был почетный
с е в и р а т.

Он мог бы украсить собою любую декурию Рима, но не пожелал.

Благочестивый, мужественный, верный, он начал человеком маленьким,

вырос в большого барина. Он оставил 30 миллионов сестерциев

и никогда не слушал ни единого философа.

Будь здоров! — «И тебе того же желаю!»

Как всякая привилегированная корпорация, севират имел цену, покуда его привиле-

гии не были обесценены размножением сословия. Насколько первый век богат августальными обществами (Claudiani, Neroniani, Flaviales etc.), настолько же быстро падают они в конце второго века. Их старались поддерживать, дав им финансовое самоуправление, права корпоративного наследования и т. п. Но было уже поздно. Частые смены династии и распространение христианства подточили основную идею севирата, а выгоды его истощились ростом сословия. В третьем веке городские советы, и сами-то совершенно обедневшие членами, должны уже тащить обывателей в севират силою, обратить его в повинность, а добровольные взносы — в своеобразный налог на зажиток. Почесть (honor) переходит в служебную должность (munus), а должность — в тягостную сословную повинность (onus). Так в николаевской России уездное купечество отлынивало от ратманства: честь была горше поругания. Сохранилась надпись, гласящая о богатом испанце, который внес крупную сумму в муниципальную кассу с тем, чтобы его вольноотпущенники однажды навсегда были избавлены от севира-

та.

Надгробные надписи сберегли нам обстоятельные сведения о профессиональном составе августалов. Тут, по выражению русского исследователя вопроса, г. Крашенинникова — «всякого жита по лопате», но преимуществуют: повара, трактирщики, плотники, булочники, ювелиры, золотых и серебряных дел мастера, красильщики, медники, гребенщики, торговцы разным мелким товаром, банкиры, аукционисты; из интеллигентных профессий: врачи, грамматики, адвокаты, архитекторы, духовные лица чужих дозволенных культов и т. п. Ремесленники и промышленники в списках августалов даже иногда рекламируют себя, упоминая названия своих заведений, либо прибавляя лестные аттестации своему мастерству: *socus optimus!* Перенося в современные параллели, пред нами, таким образом, профессиональный список любого русского общества хоругвеносцев, — этого малого зерна, из которого впоследствии, под влиянием реакционной демагогии, выросли у нас, за последние годы, грибам подобно, союз русского народа, палата Михаила Ар-

хангела и тому подобные «охранительные» группировки, ставящие на знамя свое девиз самодержавия и православия, как тождества, и в слиянии их полагающие народность. Организацию августалов можно считать всесовершенною: в нее допускались даже рабы, — и безразлично к полу и возрасту: надписи сохранили память августалов шестнадцати, четырнадцати и еще ниже лет, а две эпитафии, одна в Пизе, другая в Комо, показывают, что в союз записывали даже грудных младенцев. Не препятствовало вступлению и иностранное происхождение: Вельзер нашел в числе августалов даже одного еврея. Число вольноотпущенников среди августалов превышает число свободнорожденных более, чем вчетверо: 1268 на 307.

Итак — пред нами организация, бросающая мост от династии и господствующего культа к бесправным и малоправным слоям «черной сотни», выгодной для нового государства своим монархическим настроением.

Можно не сомневаться, что в числе вольноотпущенников зачинщиками и особенно усердными пропагандистами августальских

группировок были Либерты дома Цезарей: для них ведь принадлежность к культу дома Юлиев не возникала новостью, а продолжала старую привычку. «Гений Цезаря» и раньше был для них «гением господина», который государство заставляло их чтить, как единую святыню, доступную рабству, «гением патрона», к благоговению пред которым государство же обязывало клиентов. Нет больших монархистов под луною, как прислуга дворцов, холопы и крестьяне государственных усадеб и имений.

Организация эта, несмотря на свой разноплеменный состав, была — как уже сказано, — ярко националистическою. Подсчет августальств в провинциях ясно показал ученым (Felix Mourlot), что «августальства нарождались и развивались всюду, где укоренялись римские нравы и, в особенности заметно, в тех провинциях, где вводился римский муниципальный режим». Когда Август восстановил культ перекрестных ларов, которого магистры, мы видели, так смежны с августалами, что многие ученые их даже не различают, особенно подчеркивалось, что это

культ «италийских богов». Итальянский патриотизм разноплеменной массы римского «чумазого», конечно, не удивит русских, переживших начало XX века и видевших собственными глазами, как все «истинно-русские» организации возникали и развивались, по преимуществу, стараниями немцев, молдаван и, вообще, как раз тех окраинных людей, в ушах которых, казалось бы, девизы «России для русских» и т. п. должны, напротив, звучать угрозой национального карачуна. Подобно тому, как «у немца всегда русская душа» (Салтыков), так, очевидно, у либерта императорской эпохи душа всегда была римская.

Как всякая черная сотня, эти люди относились враждебно и с большою подозрительностью к науке и интеллигенции. Мы видим, что Тримальхион, даже в надгробной надписи своей, не преминул похвалиться, что «никогда не слушал ни единого философа». Тот сердитый гость его, «*sevir factus gratis*», который набросился с упреками на злополучного Асцильта, держится взглядов еще более выразительных: « — Я не учился ни геометрии, на

эстетике, ни всей подобной ерундистике, но чудесно читаю вывески (*lapidarias litteras scio*) и умею делить до ста, что угодно: монету, меру, вес. Словом, если тебе угодно, идет на пари! Вот я вышел, кладу деньги на стол. Вот я докажу тебе сейчас, что твой отец понапрасну платил за тебя деньги в школу, даром, что ты знаешь риторику. Ну-ка! Отвечай: кто всегда бежит, а с места не сходит? Кто растет, а становится меньше? Ага: Спятился, ошалел, закрутился, как мышь в ночном горшке... Не у учителя ты учился, а у обезьяны. В наше время не тому учились. Бывало, учитель-то муштрует: оправьсь! все ли в порядке? марш по домам, по сторонам не зевать, о старших не рассуждать! Вся ученость чистейший балаган; приглядитесь вы к образованным — и увидите, что ни один из них не стоит двух медных грошей. Я же, — вот как ты меня видишь, — благодарю богов за ту малую науку, которую я приобрел!»

Бесчисленное множество ученых посвятили свои труды вопросу об августалах, начиная с давних Рейнезия и Нориса, Фабретти и Орелли и продолжая в XIX веке Цумптом, Ген-

ценом, Шмидтом, Несслингом, Шнейдером, Egger, Марквардтом, Моммсенем, Гиршфельдом, Шультенем, Зелинским, Виллемсом, Герцогом, Миллером, Юнгом и др. Мнения всех этих ученых колеблются между двумя полюсами, либо стоя на них, либо в большем или меньшем приближении к одному из них: было ли августальство духовным орденом, т. е. жречеством, или светскою получиновною группою ревнителем? Из нескончаемых вариантов этой разноголосицы мне наиболее близким к истине кажется взгляд Моммсена ("Rom. Staatsrecht", III, 453). Отрицая жреческий характер августальских корпораций, он признает их именно фикцией общественной магистратуры, созданной Августом специально для сословия вольноотпущенников, взамен закрытой для них дороги к honores. Таким образом, либертам открывалось окно в храмину, с которой для них была заперта дверь, а лазанье в это окно подкрепляло муниципальные финансы солидною статьею дохода. Муниципальный, а не жреческий характер августалов подтверждается тем обстоятельством, что августальства были крайне

слабо развиты в провинциях Востока. Для последних оказалась неприемлемою суровая форма римской муниципии, и они выстояли против нее своими самобытными градостройствами, хотя, наряду с тем, императорский культ в них не только процветал, но именно с них-то он и начался, оттуда-то и взяты были его примеры. В Греции и на Востоке августальства были только в городах, обращенных в колонии: Патрас, Коринф, Филиппи, Троя (Mourlot). Это совершенно понятно. Союз истинно- италийских людей, чтобы возникнуть и цвести, требовал латинской почвы под ногами — латинского права и латинских институций. В Финляндии, Польше, в черте оседлости, на мусульманских окраинах России, сохраняющих шариат и адатное право, могут быть люди, высоко ставящие связь свою с Россией, преданные монархическому принципу и монарху, но, конечно, не может быть русской националистической организации, за исключением тех, которые создаст из самого себя пришлый, русский же, элемент. Там, где туземцы имеют свое собственное право, они могут впустить чужих людей и чу-

жие начала в недра своего самоуправления, разве лишь уступая насилию. Но к насильственной романизации своих народов и провинций Рим — величайший реалист мировой истории — никогда не прибегал. Еще менее было в его характере мешать в подобные государственные отношения частную, хотя бы и корпорационную, инициативу, как бы последняя ни льстила ему и ни была ему дружески любна. Сохраняя своим народам их местные права, культы и обычаи, он не мог развивать латинских привилегий августвальства там, где не было латинства, а без привилегий августвальство не могло развиваться и либо оставалось вовсе без почина, либо чахло и увядало, не оставив по себе никаких следов. Может быть, в августвальстве и был религиозный фактор, — по крайней мере, номинальный, — но не он живил эти корпорации, и там, где он один оставался налицо, они существовать не могли. Процветали же они там, где согласие местных условий с латинскою культурой позволяло провинциям устроить «городок — Рима уголок» и, применяясь к местным требованиям, копировать в своем мещанстве богатое

и могущественное римское всадничество, сколком с которого считает сеvirальное состояние Моммсен. Это не только толкало вперед честолюбие, но и могло манить экономическими перспективами, так как сближало бесправные силы муниципии с правящими и, понемножку подвигая первые вверх, в один прекрасный день присосеживало и их также к общественному пирогу городского хозяйства, что во все века и во всех странах было умелым людям небезвыгодно. Жреческого элемента в августале незаметно, зато — предовольно ктитора, церковного старосты, с которого еще недавно, обыкновенно, начинал свой путь *ad honores* честолюбивый русский торговый или промышленный человек.

Итак, разработка почвы для императорского культа была подготовлена в Риме, во всех классах общества, корпорациями искусно направленной правительством агитации, причем дело велось так, будто правительство здесь ровно ни при чем, а все истекает из инициативы личных усердий и восторгов. Возникает вопрос: каким же образом, укрепляя династию развитием императорского

культу, цезаризм воздержался от его пропаганды в тех провинциях, где не заметно следов августальства?

Воздержался он от такой пропаганды — за ее совершенную ненадобность. Прививать императорский культ в восточных провинциях эллинистической культуры, в Ахайе, Сирии, Египте, значило бы ломиться в открытые ворота, ибо оттуда-то и вывели цезари идею обоготворенной верховной власти, оттуда-то и потекли в Рим первые просьбы об учреждении императорского культа. Культ человеко-богов, вождей и государей, развивается в эллинизме после Пелопонесских войн и становится повсеместным после Александра Великого. Когда земельные наследия Селевкидов и Птолomeев сосредоточились под властью триумвиров, последним пришлось и оказалось выгодным принять также их наследие нравственное: обожествление. С ним, к слову сказать, уже и раньше, при республике, познакомились римские проконсулы греческих провинций: Фламиния, Марцелл, Кв. Муций Сцевола, Кв. Цицерон (брат знаменитого М. Туллия). Народ привык здесь

к обожанию верховной власти, которое в Риме и на западе предстояло еще насаждать, — и, притом, к обожанию в такой откровенной прямолинейности, какой в Риме оно никогда и впоследствии не достигло: к обожанию государей заживо и до полного отождествления с божеством. По-гречески, обожествленный император — *deoz*, бог. Рим дошел до обожествления только умерших императоров, причем обожествленный становился все-таки не *deus*, а только *divus*, богоподобный святой, — при жизни же он поклонялся не императору, но — «гению императора». На практике это было, пожалуй, и безразлично, но религиозно-юридическая разница памятовалась очень чутко, и охранять ее ненарушимую почитали необходимым делом политического такта сами же будущие боги, императоры. Август разрешает воздвигнуть храмы ему в Пергаме и Никомидии, но с тем, чтобы римляне, живущие в Азии и Вифинии, не принимали участия ни в сооружении храмов, ни в культе. В Риме он категорически отказывался от божественных почестей, которые навязывала ему и льстивая дворцовая камарилья, и влюб-

ленная чернь, и патриотическая литература. В Италии эти отказы обходились тем, что создавались храмы «гению Августа», «божественному началу в Августе» (*numen Augusti*), доблестным качествам Августа: премудрости, кротости, справедливости и т.п. Этот символический подмен боготворимой личности боготворением сопряженной с нею идеи, в широкой степени, сохранен и в государствах христианских.

Итак, в восточных провинциях римляне нашли культ верховной власти организованным, и сперва триумвирам, потом императорам оставалось только подставить свои имена на место разжалованных ими василевсов. При первых встречах с этим культом, трезвый римский скептицизм сыграл много грубых или забавных шуток, вроде знаменитой свадьбы М. Антония Триумвира с Афиной Палладой, причем молодой содрал с города Афин громадные деньги в виде «приданого». Но затем тот же практицизм римский подсказывает Августу способ, как извлечь из выгодного суеверия всю его политическую пользу, не делая себя смешным ни в глазах римского

общества, ни в своих собственных. С первых же проникновений римского оружия на Восток, там началось поклонение «божеству Рима» — *Rvnh*. Филологическая легенда, будто культ возник из каламбура (*Rvnh* по-гречески, — и Рим, и сила), которым хитрые греки, якобы, обморочили римлян, выдав им статуи «Силы» за статуи «Рима», слишком наивна. Но факт тот, что, уже 200 лет до Р. Х., под впечатлением римских побед, в эллинских городах Малой Азии начинают воздвигаться храмы — «богу Риму» или, вернее, так как в латинской форме Рим женского рода, «богине Риму», *deae Romae*. Первый такой храм выстроен был в Смирне; за ним выросло множество других. Символ естественный и простой: города слабые и подручные ставят себя под общий религиозный патронат с городом великим и властным. Так тянувшие к Москве удельные князья поручали себя «московским чудотворцам»; так части новгородской республики, Заволочье, Торжок, Волок, Вологда, Бежецкий Верх — «пригороды и волости св. Софии», ибо — «где святая София, тут Новгород», а Москвую покоренные окраины застра-

ивались церквами во имя Успения Богородицы, святых митрополитов Петра, Алексия, св. Сергия Радонежского.

Подобно тому, как в Риме и Италии Август преловко вдвинулся третьим в популярнейший культ ларов, так и на Востоке и в Галлии он прицепил свое имя к культу Рима. Кто хотел строить храм Августу, должен был строить его «Богине Риму и Августу». Этим он достигал сразу двух целей: выказывал скромность, спасавшую престиж его мудрости в Риме, и приучал провинцию к идее, что Рим и Август едино суть: где Рим, там и Август, — «где святая София, там и Новгород». И нельзя сказать, чтобы божество Августа проигрывало от этих самоограничений. Течение века — предпочтение силы наглядной силе воображаемой — ставит культ Рима и Августа выше всех старых божеских культов. Это, в свое время, отметят христианские апологеты: «кумиры цезарей имеют почета больше древних богов». В Афинах, ради «гения Августа», выжили Зевса Олимпийского из храма, которого гигантские развалины — до сих пор — после Акрополя, самый величавый и красивый па-

мятник великого города. Нет сомнения, что моления, обращенные в этом храме к богу Августа, исполнялись скорее и надежнее, чем молитвы к Зевсу (Beurlier). Ваддингтон замечает по поводу Азиатской провинции, что не было примера, чтобы она воздвигла храм какому-нибудь олимпийскому божеству: каждый город имел свои предпочтительные культы, и, восторжествовав над ними, слить города в церковное единство могла только политическая сила культа Рима и императоров. То есть — обращенная в религию, постоянная и непрерывная присяга Римскому государству, правительству и счастью.

Таким образом, императорский культ сделался выражением политической «лояльности» граждан, а «лояльность» была обращена в единую государственную религию, весьма терпимую ко всем иным религиям и верам, под условием, что ее полицейская обрядность стоит впереди их и должна быть соблюдена обязательно и в первую очередь. Римлянин может верить во что и в кого угодно — в олимпийских богов, Христа, Митру, Изиду, — но сперва он должен заявить себя благона-

дежным. То есть установленными публичными благоговейными действиями расписаться в том, что он ставит государственный символ и династию выше всех иных своих религиозных убеждений; присягнуть императору, как боговдохновенному решителю движений своей воли, высшему всех соперничающих позывов, дать ему обет — в случае надобности и повеления — беспрекословно отдать в его распоряжение свою волю. За исключением обрядов и жертвоприношений, требования императорского культа были несложны и немногим отличались от подобных же знаков династического почета в много позднейших веках, когда императорского культа, по видимости, и след простыл. Так — клятва гением императора священна, запрещено употреблять имя его всуе, обман с ложным речительством именем императора — преступление против величества: все это хорошо знали и христианские самодержавные государства XVIII века. Еще более священная вещь — портрет императора (*imago principis*) : в лагере и в Риме — он покров и убежище тем, кто отдается под его покровительство.

Таким образом, в активном со стороны Рима распространении, религия лояльности выработала изложенные мною корпоративные формы: *sodales Augustales* и *magistri Larum Augusti*. В Греции, Малой Азии, Галлии, Испании, Египте, Африке она села на готовые местные учреждения, которыми оказались так называемые «провинциальные собрания», *coina*, *concilia* — местные земские сеймы. Огромная общественная роль их, в последние два десятилетия, привлекает особый интерес ученых и породила литературу необъятную, особенно после 1888 года, когда открыта была в Нарбонне доска с отрывками из статута местных фламинов, бросившая на вопрос о провинциальных собраниях новый свет. Подробно говорить о провинциальных собраниях значило бы написать целую книгу. Для нашей сейчас темы важно заметить, что сеймы эти возникали вокруг храмов, посвященных Риму и императорам, и были соборными центрами религиозно-полицейских округов совершенно правильного церковно-земского устройства, которого тип издавна уже поражает историков сходством с христи-

анской иерархией (Boissier). Это — настоящие «епархии», даже главы их, на западе — *flamines provinciae*, на востоке носили столь привычное для русского уха наименование — «архиерей» (*arciegeuz*). Да и самые *coina*, — по крайней мере, что касается религиозной их стороны, — напоминают, как нельзя более, периодические епархиальные съезды. О политической роли их, как органов самоуправления, будет говорено особо в IV томе «Зверья из бездны». Государственное христианство IV века целиком заполнило формы этой организации своим содержанием, и, конечно, не только примечательно, но и выразительно, что мимо всех иных жреческих организаций, часто весьма возвышенных и глубоких, оно нашло возможным воплотиться только в эту. Христианство, значит, было признано государственной религией только, с тем условием, чтобы цезарь ни в каком случае не перестал быть для народа «августом», и заключено, ради гарантии, в те самые рамки, которые сберегали ему эту прерогативу в старой государственной религии римского язычества. Кодекс Феодосия удержал за епархиальными

главами даже их старые титулы — sacerdos (жрец), coronatus (венчанный). Берлье (Beurlier) справедливо отмечает, что подмен этот совершился не сразу и искусственно, в IV веке, но развивался органическим подражанием с самого начала церкви. Соина известны уже ап. Павлу и автору Апокалипсиса. Но общественная роль императорского фламينا гораздо шире, чем архиерея в современном христианстве. Она была тем, о чем современные смиренные архиереи только мечтают, и что средневековые европейские весьма имели, а наши допетровские имели отчасти: земскую власть с широкою и сильною юрисдикцией, с представительством, с обжалованием пред верховною властью действий светской бюрократии и т.д. Фламинат открывает дорогу ко всем областям имперской администрации, не исключая командования войсками. Поэтому его добиваются самые знатные, богатые и влиятельные люди провинциальных округов, и — их затратами и усердием — культ процветает и, будучи выгоден стране, делается популярным. В одном лице — губернский предводитель дворянства плюс ар-

хиерей: таков состав августова фламينا в императорскую эпоху. Само собою разумеется, что римский центр старался исподволь бюрократизировать эту выборную окраинную силу и успел в этом. К IV веку, к торжеству христианства, епископ зачастую переливается во второго губернатора. «Владыка», как сохранилось старое русское определение, перевод греческого *despote*, воскресить которое являлось столько охотников в смутные и мутные дни.

Более интимный кружок учредил Нерон для занятий поэзией, к которой, за последнее время, сильно пристрастился. Он завел у себя литературные обеды, приглашая к ним пописывающих стишки дилетантов из холостой молодежи. Писателей, с уже сложившимся поэтическим авторитетом, избегал. Компания молодых виршеплетов читала вслух свои оды и поэмы или импровизировала стихи на заданные Нероном темы. Часто несколько слов или стоп, брошенных цезарем, обращались в целое стихотворение, причем каждый включал что-нибудь свое. «Они, пообедав, садились вместе и склеивали принесенные или тут же придуманные стихи, а также слова его, как-нибудь произнесенные, дополняли, чтобы выходили стихи» (Тас. Ann. XIV, 16). Тацит видел эти плоды «палатинских вечеров» и не нашел в них ни творческого подъема, ни вдохновения, ни единства слога: холодная, поверхностная компиляция. Однако, в числе постоянных посетителей обедов Нерона долгое время был непременно гостем Лукан, са-

мый блестящий поэтический талант эпохи. Да и стихи самого Нерона вряд ли уже были так слабы, как настаивает Тацит; Светоний, Дион Кассий и Сенека о них лучшего мнения. Быть высокопоставленным — невыгодное условие для поэта. Стихи Людвиг Баварского совсем не так чудовищно плохи, как высмеивал их Г. Гейне, но — после убийственных сатир и пародий Гейне — кто же в состоянии читать стихи Людвиг Баварского без насмешливого предубеждения, а, при наиболее опозоренных строфах, и без неудержимой улыбки? То немногое, что нам осталось от стихов Нерона, показывает, что он любил плавное изящество и стремился быть тонким и грациозным; подобно французским декадентам-стилизаторам, он, прежде всего, старается действовать на слух приятною гармонией стиха; внимательный выбор красивых слов и достойных к ним эпитетов, обдуманность, с какою он сопрягает их, сближает или противопоставляет, свидетельствуют о тщательной обработке Нероном своих произведений. Таковы его стихи о реке Тигре и, одобренное Сенекою, описание голубиной шеи.

Уже было говорено, что поэзию Нерона упрекали в некоторой педантичности, в чрезмерном щегольстве автора своею начитанностью. Марциал, который в одной эпиграмме с откровенным омерзением восклицает: «Есть ли что хуже Нерона?» — в другой, однако, весьма почтительно отзывается об его учебных стихотворениях, *carmina docti Neronis*. Эпитет, который отлично подошел бы к некоторым из нынешних русских поэтов, напр. Валерию Брюсову или Вячеславу Иванову. Первый, с его блестящим, но, как заледенелый пот, холодным, придуманным стихотворством, второй, с архаическим виршеплетством по лексикону вышедших из живого употребления речений, — оба они, конечно, и *docti* и *poetae*, пожалуй, даже больше *docti*, чем *poetae*. Весьма может быть, что преувеличенно скверное мнение о поэтических упражнениях цезаря сложилось под влиянием остроумных пародий, которые сочиняли на него, как представителя старой мифологической школы, стихотворцы-новаторы, вроде Лукана или сатирика Персия. Символ поэтической веры стихотворцев-мифологистов очень по-

дробно изложил Петроний, друг и несомненный художественный критик цезаря, на нескольких страницах своего «Satiricon», преследующих, как остроумно доказывал Гастон Буассье, цель высмеять и пародировать Лукановы «Pharsalia». Стихи Нерона соответствуют как раз рецепту Петрония и своею щепетильною выделанностью резко отличаются от сильной, но довольно неряшливой «гражданской» поэзии Лукана. Так что пред нами — два литературных направления, бесспорно одно другому противоположные, а впоследствии и резко враждебные.

Какую-то поэму Нерона было постановлено народным голосованием — вырезав на таблице золотыми буквами, посвятить Юпитеру Капитолийскому, а в Риме, по этому высочайшему случаю, быть гражданскому празднику. На что, в стихотворстве своем, Нерон был в самом деле мастер, это — сочинять шансонетки. Они проникли в народ, распевались в дивертисментах маленьких театров, в банях, в кабачках, — подобно тому, как несколько лет тому назад в Германии всюду звучала «Песнь Эгира». Аполлоний Тиан-

нский, придя в Рим, слышал Нероновы шансонетки в исполнении уличного певца, который хвалился, будто перенял их, вместе с манерою передачи, от самого державного автора. Однако, ни текст, ни мелодия, ни приемы исполнения не привели в восторг строгого языческого чудотворца. Вителлий, один из эфемерных преемников Нерона, относился к творчеству покойного императора с гораздо большим почтением. «На одном парадном обеде он пригласил некоего кифареда, который тогда был в большой моде, изобразить что-нибудь из царственного репертуара (*ut aliquid et de dominico diceret*), и, когда этот начал один из Нероновских монологов (*Neroniana cantica*), Вителлий первым начал аплодировать в таком восторге, что даже вскочил с места» (Светоний, «*Vitellius*», XI). Песенки Нерона жили долго по смерти творца их и раздавались еще при Домициане.

В ознаменование пятилетия своего правления, Нерон, — в четвертый раз консульствуя, в товариществе с Корнелием Коссом Лентулом, — учредил игры своего имени, Неронии. Они должны были повторяться каждые пять лет (*Quinquennalia*), то есть, вернее сказать, в конце четвертого года, чтобы начать пятый, ибо предполагалось ими учредить для Рима подобие панэллиского Олимпийского праздника и усвоить связанное с ним летосчисление по Олимпиадам. На хронологической ошибке — считать сроки Квинквенналий, согласно этимологии имени, пятилетними — ловит Тацита П. Гошар, о котором я говорил в предыдущем томе. Это, действительно, странная ошибка для римского писателя, — особенно, если вспомнить, что вся острая существенность этих новых квинквенналий приурочивалась к их греческому типу общественного состязания. Старых национальных игр пятилетнего характера аристократический Рим имел сколько угодно и решительно ничего не имел против их про-

граммы, которую составляли и осуществляли наемными или рабскими силами, оплачивая последние из своего кармана, преторы. Марквардт — правда, вскользь — предполагает даже, что деление правлений на пятилетия, празднуемые торжественными играми, было напоминанием избирательного характера власти римских принцепсов, как бы возобновляемой по истечении люстральных пяти лет новым признанием их чрезвычайной магистратуры. Но Нероновы игры были устроены строго по греческому образцу — как в правильном чередовании срока, так и в программе празднества, скопированной с игр Олимпийских и Истмийских, а в особенности, в религиозной окраске, которую придали торжеству. Священный характер игр исключал из участия в состязаниях профессиональных актеров, танцовщиков, жокеев, атлетов и прочих неполноправных увеселителей города. Тем более настойчиво привлекались для заполнения состязательных программ любители благородного происхождения. Квинквенналии раскололи римское общество на два лагеря. Группа староверов-националистов су-

рово восставала против них, как греческого новшества, оставаясь, однако, в значительном меньшинстве. Большинство находило, что — после того, как Рим, уже чуть не целый век, охвачен эллиноманией, так что греческий костюм на римлянине успел стать не только обычною, но даже устарелою модою, — поздно волноваться заморскими новшествами. Консервативная оппозиция жаловалась, что гимнастические упражнения, кулачные бои, сценическое любительство и тому подобные бездельничества отбивают молодежь от настоящего патриотического воспитания, компрометируют предающееся ими чиновничество, вносят дух легкомыслия в отправления государственных учреждений. Ей возражали, что она упускает из вида образовательный характер праздника: «Победы ораторов и поэтов послужат поощрением талантов, и никакому судье не будет тяжело послушать литературных произведений и посмотреть на дозволенные удовольствия». — Помилуйте! — ворчали старики, вы хотите продолжать ваши безобразия даже по ночам, — чтобы совсем не оставалось времени для цело-

мудрия, и чтобы в темноте можно было удовлетворять страстям, распаленным при свете дня. — Не беспокойтесь, — возражали им, — будет зажжено столько огней, что станет светло, как днем; а провести весело несколько ночей однажды раз в пять лет — дело не предосудительное...

Большим оправдательным доводом в пользу новых игр явилось, повидимому, и то экономическое соображение, которое, уже не раз по смерти Клавдия, выступало вперед — и всегда победоносно — в пользу зрелищных затей Нерона:

— Правительственные лица не будут в прежней степени разоряться на представления, да и народу не будет повода требовать от них греческих состязательных игр, коль скоро государство само берет на себя эти издержки.

Таким образом, квинквенналии Нерона являлись как бы естественным продолжением и последствием того сенатус-консульта, которым началось его правление, — совершенным снятием увеселительной повинности с низшего сана магистратуры (квесторов) и об-

легчением ее для высших степеней, сопряженных с должностями наместническими.

Доказывали, опираясь на примеры старинных квинквенналий, что никакого новшества Нерон не вводит, а только следует зрелищным образцам республиканских времен.

— Первые греческие состязательные игры показал Риму Л. Муммий, покоритель Коринфа, триумфатор 610 года (144 до Р. Х.).

— Да. Но специально для игр этих строится новый театр! Зачем это? Наши предки еще Гн. Помпея сильно порицали за постройку постоянного театра. Ибо до этого времени игры обыкновенно давались так, что сколачивались наскоро ступени для сидения и выстраивалась на время сцена, а если заглянуть дальше в старину, то народ смотрел на зрелища стоя, чтобы, имея где сесть, не оставался он в театре по целым дням, ничего не делая.

Новаторы возражали:

— А сколько стоили эти ежегодные постройки и разрушения временных театров? Постоянный театр — дело общественной экономии! Теперь преторам не будет надобности — прежде чем устраивать игры, строить

для них театры и т. д. Так как речи эти обращались к будущим преторам, консулам и пр., то экономический довод, естественно, был, в конце концов, убедителен и зажимал протестующие рты. Любопытно, что в начале III века христианский апологет Тертуллиан в трактате своем «О зрелищах» становится буквально на точку зрения Тацитовых стародумов:

«В старину, когда воздвигался какой-либо новый театр, не удостоенный торжественного посвящения, то цензоры часто повелевали его разрушать во избежание порчи нравов, неминуемо происходящей от соблазнительных на нем представлений. Тут нельзя не заметить мимоходом, как язычники сами себя осуждают собственными приговорами, и как они оправдывают нас т. е. христиан, обращая внимания на благочиния. Как бы то ни было, но великий Помпей, коего величие не поравнялось только с величием его театра, решившись воздвигнуть великолепное здание для позорных всякого рода мерзостей и опасаясь справедливых упреков, которые памятник сей мог навлечь на память его, превратил сей театр в священный дом. Таким образом, при-

гласив весь свет на сие посвящение, он отнял у этого здания звание театра, а дал ему имя храма Венерина, в котором, сказал он, прибавили мы некоторые помещения для зрелищ. Сим способом он прикрыл именем храма здание чисто мирское и посмеялся над благочестием под суетным предлогом религиозности».

П. Гошар, на основании такого совпадения, если бы его заметил, предположил бы здесь одно из тех искусных заимствований, мастером которых он считал своего «автора Тацита», Поджио Браччиолини. И нашел бы некоторую опору в нижеследующих строках того же Тертуллиана в том же его сочинении: «Кто хочет знать, каким идолам посвящены сии различные игрища, тот должен читать Светония и других прежде его бывших писателей» — без всякого упоминания о Таците, хотя связь Тертуллианова текста с Тацитовым очевидна.

Либеральное большинство оказалось правым: отпразднованные в новом гимназии, нарочно для того выстроенном и только что освященном, игры прошли при большом сте-

чении избранной публики, в образцовом порядке, даже без обычных скандальных ссор театральных психопатов. Быть может, чтобы спасти свои игры от нареканий в греческом разврате и не дать в руки враждебной партии слишком сильного оружия, сам Нерон уклонился на этот раз от состязаний по физическому спорту и выступил лишь на конкурсе по красноречию и поэзии. Конечно, его увенчали победными лаврами. Лукан, который тоже записался на конкурс, прочел хвалебную поэму в честь императора и, в награду, был назначен авгуром и квестором ранее возраста, требуемого законом.

Предложен был императору венок и за игру на кифаре, — однако Нерон умел иногда скромничать: не принял награды, но, почтительно преклоняясь пред судьями, просил их повесить этот венок на подножие статуи... Августа! Странность посвящения возбудила насмешки. Вероятно, заранее решив политично отказаться от какой-нибудь награды, цезарь затем, впопыхах успеха, перепутал венки и, вместо того, чтобы почтить память Августа, как замечательного оратора, произвел осно-

вателя римской империи, совершенно неповинного по музыкальной части, в великого артиста. Дион Кассий объясняет, впрочем, отказ Нерона от венка тем, что цезарь играл на кифаре вне конкурса, ибо другие виртуозы этого инструмента льстиво уклонились от состязания с императором. Зато он тут же приказал записать себя в цех кифаристов простым мастером, и, с тех пор, в каком бы конце римского государства ни состоялся конкурс игры на кифаре, победные венки отовсюду присылались цезарю на Палатин, как единственному в своем роде и неподражаемому солисту на благородном инструменте, столь им излюбленном. Впрочем, по свидетельству сатирика Лукиана, Нерон владел кифарою действительно мастерски.

IV

Свершив эти артистические подвиги, Нерон почувствовал себя утомленным и поехал отдыхать на свою виллу в Субиако. Развалины виллы существуют до сих пор, и самое название местечка хранит о нем память: Субиако — Sublaqueum, Sublacum, Под-озерье — кличка, данная по искусственным прудам Нерона, вырытым на значительной высоте и, конечно, давно уже иссякшим. Французские историки Ампер и Ренан ставят Нерону в заслугу, что он первый оценил удивительное местоположение Субиако и устроил себе там летнюю резиденцию. Действительно, чуткость к пейзажу совсем не римская черта. Римляне были мало чувствительны к красотам природы. Горные громады внушали им уныние и отвращение. Описания «приятных местностей» у поэтов империи свидетельствуют о замечательно мещанских вкусах великого народа. Так что способность оценить по достоинству романтическую местность свидетельствует, пожалуй, о некотором эстетическом возвышении Нерона над общей

массой — даже образованного класса.

В Субиако цезаря ждало страшное приключение, которое не могло не отозваться на нервной системе императора. Молния ударила в его столовую, когда он сидел за обедом, разбила стол и уничтожила блюда. Переутомленный и испуганный, цезарь вздумал лечить свои расшатанные нервы гидропатией, по способу, введенному тогда в моду неким Хармисом, врачом из Массилии. Он пользовал своих пациентов ледяными ваннами и соответствующим режимом холода, являясь, таким образом, как бы патером Кнейпом римской медицины (см. в I томе главу о римской медицине). Нерон, необузданный во всем, преусердствовал и в лечении: вздумал купаться в священном источнике близ Тибура, откуда, два века тому назад, претор Кв. Марций Царь, Rex, провел в Рим лучшую питьевую воду. Неаполитанская Aqua Serma и по способу доставки ее из горных ключей, и по качествам может дать понятие, какую превосходною водою пользовались римляне для утоления своей жажды: в ней всего +80R., уже в городском фонтане, под летним зноем. Выку-

павшись, таким образом, чуть не в проруби, Нерон, естественно, схватил горячку и едва не умер. Народная молва, и без того уже смущенная недавним случаем в Субиако, зашумела, что боги карают императора за осквернение священной воды. К тому же, на небе показалась — как будто предвещающая близкую перемену правления — грозная хвостатая звезда.

Редкий государь был сопутствован в жизни своей таким изобилием разнообразных и страшных знамений в природе, как цезарь Нерон. В год узурпации им верховной власти, молния, ударив в преторианский лагерь, спалила знамена; на вершине Капитолия — в самом центре города с миллионным населением — осел пчелиный рой; в течение нескольких месяцев перемерла чуть не половина высшей администрации: квестор, эдил, трибун, претор и консул; рождались дети о двух головах, какие-то полулюди, полужвери, свинья опоросилась боровком с ястребиными когтями: по остроте Ренана, точнейшим образом Нерона. Уже рассказано чудо с Руминальским деревом. По убийстве Агриппины

Тацит опять отмечает целый ряд зловещих предзнаменований. Женщина родила змею; другая умерла от молнии в то время, когда лежала с мужем. Было солнечное затмение. Во время сильной весенней грозы молния ударила во всех четырнадцать частях Рима.

Ослабленный болезнью, изнервничавшийся Нерон и сам думал, что пришел его конец, и даже назвал себе преемника, — надо отдать справедливость выбору, — превосходного. То был Меммий Регул, консул 784 (31 по Р. Х.) года, первый супруг несчастной Лоллии Паулины, знаменитый в народе твердостью характера, безусловною порядочностью, давним авторитетом. Недоумеая, как человек с такими качествами мог пережить правления Тиберия, Калигулы, Клавдия и уцелеть при Нероне, Тацит объясняет это недоразумение власти тем, что Меммий Регул был из недавних людей новой аристократии, — «маршал или граф империи», как сказали бы во Франции, не столбовой, а по табели о рангах, как говорят у нас: «не по грамоте, а по выслуге». К тому же, будучи не особенно богат, Меммий регул вел жизнь честного человека, не чужда-

ьясь общества, но не мешаясь в государственные дела и дворцовые интриги. Сверх того, он умер уже зимою 61 года, — значит, ранее того, как Нерон обратился к систематическому преследованию аристократии.

Веры в богов Нерон не имел, что доказал не только купанием в священном источнике, но и многократно, впоследствии, кощунственными выходками, поднимавшими дыбом волосы на головах ханжей. Но суеверен он был до крайности. Комета смутила его, и Сенеке пришлось написать целый астрономический трактат в доказательство императору, что хвостатая звезда пришла не по его грешную душу. В Риме с лихорадочным любопытством ждали, чем разрешатся события. Претендентов на преемство умирающему цезарю было множество, и маги, колдуны, астрологи зарабатывали огромные деньги, составляя знатным властолюбцам благоприятные гороскопы. Но особенно упорно глас народа указывал на Рубеллия Плавта, именем которого уже однажды угрожали Нерону тетка его Домиция и Юния Силана, выдумав мнимый заговор Агриппины в пользу Рубел-

лия. Тогда доносчики были посрамлены, Агрипина оправдана, Рубеллий Плавт даже не привлечен к допросу. По материнской линии народный избранник приходился праправнуком императору Тиберию, будучи сыном Рубеллия Бланда и Юлии, дочери Друза, Тибериева сына от Випсании. Кроме родственного права наследовать принципат, городская молва видела указание на Рубеллия Плавта и в недавнем случае с молнией в Субиако, так как последнее лежит смежно с родовыми тибурскими землями Рубеллиев. Сам Плавт и теперь, как пять лет назад, не мечтал о власти. Это был человек еще молодой, но не по летам серьезный, совершенно лишенный честолюбия, мирный, охотник до уединения, любитель греческой философии, кабинетный мыслитель, стойк по убеждениям. Цезарь питал к Плавту если не симпатию, то известное уважение, которое не позволило ему распорядиться с этим претендентом, как со всяким другим соперником, — смертью или грубым и мучительным изгнанием. Он ограничился тем, что написал Плавту вежливое письмо, где, опираясь на неприятные для себя город-

ские толки, просил без вины виноватого принца, ради спокойствия государства, уехать из Рима. Приказ, деликатно облеченный в форму просьбы, Плавту было исполнить тем легче, что он имел в Азии превосходную вотчину, безопасное уединение которой вполне соответствовало мирным наклонностям молодого философа. Плавт поспешил исполнить желание государя и выехал в Азию вместе с супругою своею, Антистией Поллитою, дочерью Л. Антистия Ветера, недавнего товарища Неронова по консульству. Кроме жены, за принцем последовала небольшая свита, несколько ученых и философов; в том числе, два популярных мыслителя эпохи — грек Керан и этруск Музоний Руф.

В этот период сенат не имел повода раскаиваться, что поддержал Нерона в роковые для его власти месяцы по умерщвлении Агриппины. В течение почти двух лет Нерон держится строго конституционного образа действий и проявляет себя спокойным и справедливым блюстителем законности. Верный политике цезарей — ласкать провинции, он удалил из сената лихоимца Педия Блеза, против которого киренцы возбудили обвинение в грабеже храма Эскулапа и взятках при военном наборе. По жалобам мавров, подвергнут изгнанию из Италии другой лютый взяточник Вибий Секунд, и только заступничество брата, уважаемого Вибия Криспа, спасло его от еще злейшего наказания. Был осужден «по закону о вымогательствах Тарквиний Приск, вследствие привлечения его к суду Вифинцами, к большой радости сенаторов, вспомнивших, как был им обвинен проконсул Статилий Тавр, его начальник». Затем Нерон очень искусно разрешил дело бывшего претора Ацилия Страбона, обвиненного киренцами в

неправом отобрании земель их в собственность римской республики. Земли, действительно, были завещаны народу римскому царем египетским Птолемеем Апионом (ум. 96 до Р. X.); но прошло полтора ста лет местного частного захвата и давностного владения, прежде чем Рим, в лице Клавдия Цезаря — всегда верного себе изыскателя археологических документов — спохватился осуществить это забытое право и командировал для того Ацилия Страбона. Судя по уклончивости сената рассудить эту претензию с встречным иском киренцев, право Рима было неясно, и дело перешло на суд цезаря. Претор доказал правоту своих действий, ссылаясь на инструкцию еще принцепса Клавдия, и получил высочайшую благодарность, но отобранные земли — в виде особенной милости государя и сената к покорным союзникам — были возвращены киренцам. Конституционное отношение государя к правам сената в полном расцвете. Выходит указ об уравнивании судебной апелляции к сенату с апелляцией к суду цезаря одинаковым денежным обеспечением иска: в третью часть исковой суммы. До того

времени апелляция к сенату была бесплатна. С аристократической точки зрения Тацита, мера эта клонилась к почету сената. Но, собственно говоря, она же прекращала надобность в сенатской юрисдикции для множества тяжущихся. Им ведь теперь стало безразлично, куда апеллировать, — к высшей ли в государстве судебной инстанции, или в комиссию прошений на высочайшее имя, которая решит дело силою прерогатив государственной власти. Еще Тацит хвалит Нерона за то, что тот умел смягчить обычную изобретательную борьбу кандидатов на общественные должности. Он сократил количество, а следовательно и ярость претендентов, дав трем из них, вместо искомой претуры, доходное и почетное командование легионами.

В прославленном деле по убийству префекта города Рима Педания Секунда собственным рабом его, которое часто приводится в доказательство природной свирепости Нерона, на самом деле, жестоким оказался не цезарь, но сенат. Император лишь утвердил мнение сенатской «правой», которая, в лице своего лидера, знаменитого юриста-консер-

ватора Г. Кассия, потребовала применения древнего закона, казнившего, в случае убийства господина рабом, смертью всех рабов, проживавших под одною кровлею с убийцей. В 10 году по Р. Х. эта лютая мера была воскрешена так называемым Силановым сенатус-консультом, с распространением и на вольноотпущенников по завещанию. По какому-то неизвестному случаю, — «как в видах мщениия, так и в видах безопасности», говорит Тацит, — Силанов сенатусконсулт получал новое подтверждение в конце 57 года. Закон этот устанавливал, таким образом, как бы круговую поруку рабов за жизнь и безопасность господина. Он грозен и опасен, но, когда познакомишься исторически с тем вечным тайным страхом, какой горсточка римского господствующего класса питала к легионам своих слуг, — особенно после Спартака, сицилийских и сардинских рабских восстаний, — начинаешь, становясь на точку зрения современников Нерона, понимать, что дело шло не об одной жестокости для жестокости, но и о громко заговоривших шкурных интересах господствующего класса, растерянного, пере-

пуганного, вопиющего, молящего о восстановлении поколебленной дисциплины. Речь Кассия дышит холодною сословною ненавистью; жутко читать этот логический ужас, сплетенный из кровавых силлогизмов. Но ползут эти ядовитые слова из уstraшенных мыслей смущенной и мрачной совести: или — они, или — мы!

«Освободите, пожалуй, их от наказания. Но кого тогда защитит его выдающееся положение, коль скоро не помогла и должность префекта Рима? Кого может охранить многочисленность рабов, когда Педания Секунда не охранило их четыреста? Кому рабы подадут помощь, коль скоро они и в виду смертной казни не обращают внимания на наши опасности; Или и в самом деле, как некоторые, не краснея, воображают, тут убийца мстил за свою обиду?.. Пойдем далее и скажем, что нам кажется, что господин убит по праву!»

Не звучат ли доводы эти в ушах читателя свежую новостью? Не будем уже шевелить угрюмой памяти крепостного права и мистических дворянских страхов пред памятью пугачевщины. Нет, подобные голоса не вовсе

еще онемели даже и сейчас. Мотивы, которыми Кассий защищал свое мнение, действуют еще и в наше время, при так называемом «военном положении». Увы! Не русскому писателю, пережившему 1905—1910 годы, ужасаться жестокосердием и угрюмою надменностью римского «правого» сенатора! С трибун Государственной Думы и Государственного Совета слышали мы в эти мрачные годы речи куда свирепее и бестолковее Кассиевой. Если шестнадцать веков официального христианства и целый век проповеди «прав человеческих» не могли помирить массовую служебную нравственность с государственной дисциплиной иначе, как нагайками, виселицей и расстрелом, то по меньшей мере наивно требовать иных мер от государственных и военных людей языческого Рима.

Имеем ли мы нравственное право, в государстве, только что пережившем ужасы карательных экспедиций, возмущаться римским жестокосердием и воображать себя кроткими агнцами, унаследовавшими вселенную от кровожадных тигров?

Многочисленность обреченной на смерть

дворни Педания Секунда вызвала в Риме со-
страдание. В народе началось брожение,
близкое к открытому восстанию. Сенатский
приговор — очень недружный, хотя оппози-
ция, подавленная сословным страхом, вела
себя трусливо и не выделила ни одного от-
крытого и смелого голоса в защиту несчаст-
ных, — едва-едва не был упразднен вмеша-
тельством толпы. Нерон поддержал автори-
тет сената: обуздал волнение строгим эдик-
том и окружил место казни военной силою.
Но, когда некто Цингоний Варрон, последова-
тельно усердствуя в законе, предложил из-
гнать из Италии вольноотпущенников Педан-
ния Секунда, император воспротивился, гово-
ря, что — если древний закон не мог быть
смягчен состраданием, то не дело нового ве-
ка обострять его изысканною жестокостью.
Страшное избиение это осталось, конечно, од-
ним из самых черных пятен на летописи
Нероновой эпохи. Что касается роли в нем са-
мого Нерона, то — опять таки — из истории
последующих девятнадцати веков христиан-
ско—государственной культуры — что-то не
припоминаются мне имена государей, кото-

рые, в аналогичных случаях, следовали бы за голосами гуманного левого меньшинства, а не творили бы волю свирепого большинства озлобленной и напуганной правой. Любопытно, что к тому же 61 году, когда разыгрались эти ужасы, относится, как думает Лемонье, выгодный для рабов закон — *lex Juba*

Petronia — определявший, что, при споре о свободе вольноотпущенника, разделение судебных голосов должно толковаться в пользу свободы. Быть может, закон этот был брошен правительством, как либеральная подачка общественному мнению, чтобы замкнуть рты, слишком громко возмущавшиеся бойней из-за Педания Секунда.

Маленькая черная кошка пробежала между цезарем и сенатом в начале 815 а. и. с. — 62 по Р. X. года, когда возникло дело по обвинению претора Антистия Созиана в оскорблении величества: первого дела по этой, грозной в предшествующих принципатах, статье, которое Нерон допустил к разбирательству и даже горячо принял к сердцу.

Претор Антистий, человек пылкого нрава и злого остроумия, написал ругательные сти-

хи на Нерона и прочел их при многолюдном обществе, за обедом у некоего Остория Скапулы, человека весьма достойного. Сын наместника Британии, П. Остория, он еще при Клавдии отличился в британской войне и заслужил дубовый гражданский венок за спасение погибающего. В числе гостей Остория находился Коссутиан Капитон, омерзительный кляузник и доносчик Клавдиева времени. Незадолго перед тем он был лишен сенаторского звания по закону о вымогателях, так как киликийские общины, в которых он некоторое время губернаторствовал, обжаловали его нестерпимое грабительство перед сенатом и государем. Зять Капитона, августианец Софоний Тигеллин, столь впоследствии знаменитый, выхлопотал старому негодяю помилование и возвратил его в общество порядочных людей. Подслушав пасквиль Антистия, Коссутиан решил выслужиться и сделал донос. Хозяин дома, Осторий, заявил на допросе, в пользу Антистия, что никого предосудительного чтения не было, и он не знает, о чем Капитон Коссутиан говорит. Но противоречивые показания других свидетелей повер-

нули дело в направлении, очень опасном для Антистия. Уже раздались влиятельные голоса, требующие лишить его преторской должности и предать смерти, но — какой смерти? Калигула сжег живым автора осмеявшей его ателланы, а законы 12 таблиц предписывали — сочинителей, ущемив за шею железными вилами, засекал до смерти. Первым высказался за казнь Юний Марулл, консул будущего года.

Несчастливого остряка спас Тразеа Пет речью, очень важною для характеристики правления Нерона — особенно в устах стойка и вождя оппозиции. Высказав глубокое почтение цезарю и самое резкое порицание Антистию, знаменитый оппозиционер стал доказывать, что, при таком превосходном государе, в кроткое правление, когда сенату предоставлена полная возможность свободного мнения, не стесненного давлением верховной власти, будет неприлично присудить виновному высшую меру наказания, определяемого законом. Ведь, палач и петля давно уже уничтожены в государстве, — следовательно, и приговор сената должен руководиться уголовными нака-

заниями настоящего времени, а не к чему нам смущать народ жестокими напоминаниями кар, для нашего века постыдных. Для Антистия будет совершенно достаточно конфискации имущества и ссылки на остров. Пусть живет в изгнании и казнится своим грехом, являя собою пример милосердия со стороны республики. Чем дольше протянет он жизнь, тем тяжелее окажется наложенная на него кара.

Красноречие Тразеа возымело действие. За исключением небольшой группы завзятых палатинских льстецов, предводительствуемой А. Вителлием, будущим императором, сенаторы высказались за смягчение участи Антистия. Консулы, П. Марий Цельс и Л. Азиний Галл, однако, не посмели санкционировать сенатское решение в окончательную резолюцию и послали его на заключение императора.

Нерон остался очень недоволен и откровенно отписал в ответ, почему. — Антистий, не вызванный на то никакой обидой с моей стороны, гнуснейшим образом надругался над главою государства; делом сенаторов бы-

ло покарать это издевательство, и справедливость требовала наказания по всей строгости закона. Помиловать же осужденного — это уже не сената, но мое право, которым я и собирался воспользоваться, если бы приговор оказался суровым. Поэтому и теперь не препятствую его умеренности: сенаторы могут, если им угодно, даже хоть и вовсе оправдать подсудимого.

Однако, несмотря на приглашение со стороны цезаря к формальной строгости с заранее обещанным помилованием, сенат, руководимый стойкостью Тразеа, остался при первом своем решении. Антистий оставался в ссылке недолго: всего четыре года. Затем он сделал, с острова своего изгнания, донос на П. Антея, номинального наместника Сирии, бывшего агриппианца, и на Остория Скапулу, обвиняя их в злонамеренных против цезаря сношениях с астрологом Памменом, ссыльным на том же острове. Антистия вызвали в Рим, как свидетеля обвинения, и затем он, так сказать, «застрял» в столице — не прощенный, но терпимый, как бы забытый. Жертвы его доноса были принуждены покон-

читать с собою самоубийством. Тацит отзывается об Антистии с очень нелестной стороны, как о человеке вздорно-беспокойном, неблагодарном, своевольном. Еще в бытность свою народным трибуном, он превысил власть, приказав выпустить из тюрьмы кучку клакеров, которые произвели безобразие в театре и были за то арестованы претором Вибуллием. Сенат единогласно одобрил поведение Вибуллия, Антистию же сделал выговор по должности. Напав на Нерона зря, без всякого личного повода, Антистий, как мы только что видели, выполз из беды, в которой нечаянно увяз, самым гнусным образом: ведь один из погубленных его доносом, Осторий Скапула, вел себя в процессе самого Антистия как вернейший и благородный друг и старался выручить злополучного претора-памфлетиста, рискуя репутацией собственной благонадежности. Некоторые историки причисляют Антистия к представителям республиканской оппозиции. Если даже и так, то дрянненькая личность этого фальшивого и поверхностного задиры чести оппозиции не делает. Настоящие оппозиционеры, повидимому, не счита-

ли Антистия своим. Это явствует из речи столь авторитетного вождя их, как Тразеа, и из презрительного тона, каким говорит об Антистии Тацит, между тем как другие партизаны и единомышленники Тразеа — для него почти полубоги. Впоследствии, когда окончились гражданские войны и Флавиус овладел верховною властью, главнокомандующий их итальянской армией и почти что соправитель, Муциан, очищая побежденный Рим от разной вредной накипи, вспомнил об Антистии и, восстановив забвенный сенатский приговор о нем, выслал его из столицы доживать век в назначенной ссылке.

Откуда взялась в Нероне, обыкновенно столь равнодушном к сатирическим выходкам против него, такая настойчивая злоба на Антистию? Источники ее могли быть и психологического свойства, и политического. Мы не знаем содержания Антистиева пасквиля, но, вероятно, он задевал весьма интимные стороны быта Нерона, ставшие известными молодому претору, как постоянному гостю Палатинского дворца и члену приятельского цезарева кружка. Нерон далеко не был неспо-

собен к дружбе, он зачастую оказывался хорошим товарищем. Даже более того: порою тут-то именно и надо было искать причину его гневных вспышек, зародыш его жестокости (Ренан). Он желал, чтобы его любили и удивлялись ему ради него самого, и раздражался против всех, кто не умел «возвыситься» до подобной сантиментальности и не питал к цезарю нежных чувств, как к человеку. В этом отношении он был схож с Павлом Первым и Александром Павловичем, вечными искателями бескорыстных дружб и любви и весьма сердитыми мстителями, когда их поиски бывали обмануты. Натура у Нерона была ревнивая, подозрительная; маленькие измены приятелей выводили его из себя. Мщение Нерона никогда не мстило далеко, но почти всегда обращалось на лиц его интимного общества — обыкновенно за то, что они злоупотребляли фамильярностью, которую он вообще поощрял, и позволяли себе издеваться над ним. Он сознавал свои смешные стороны и боялся, чтобы их не заметили и не подцепили на зубок. Любя, чтобы его любили, Нерон и Траеза-то возненавидел, главным образом, за

то, что отчаялся приобрести его расположение (Ренан). Намек на смешную близорукость Нерона и дерзкая цитата злого полустушия о голосе императора:

Sub terris tonuisse putes, —

погубили Лукана, как Сперанского ввел в немилость каламбур: «*Notre Vauban, porte veau blanc*», а А. С. Меньшикова — сплетня, будто он разоблачил секрет, что красота ног Александра Павловича устроена при помощи ватонов... Вестина погубило злоязычие и несдержанность остроумия. Антистия — пасквиль.

Затем. Какой-нибудь бродячий циник Исидор мог почти безнаказанно кричать в лицо Нерону намеки, что мол «о чужих-то бедах ты хорошо распеваешь, а вот свои-то дела преподло устраиваешь»; какой-нибудь водевильный шут Дат не робел, при самом цезаре, пародировать отравление Агриппины: они были народ, а народу все прощалось. Антистий — член сенаторского сословия, которому цезари не прощали ничего, потому что ревновали к нему власть и народную привязанность. Конституционное единение воли

принцепса с сенатом, искусственно созданное в первые годы (Quinquennium'a Бурром и Сенекою, к этому времени сильно ослабло. Льстецы не говорили Нерону шуток вроде — «цезарь, я ненавижу тебя за то, что ты сенатор», или «охота тебе утомляться, казня их поодиночке, когда так легко перерезать их разом». Но в тот день, когда Нерон, возвратясь в Рим после убийства Агриппины, получил неожиданный триумф, понял свою популярность и увидел точки ее опоры, участь сената была решена. Цезарь продолжал быть с отцами конскриптами в хороших отношениях, но уже не в силу долга и принципа, а лишь по доброй своей воле сохранять раз обещанную, а покуда ни в чем ему лично не помешавшую конституцию. Но у цезаря уже начинали вырываться порою выразительные фразы, свидетельствующие о понимании им, что сменить в любую минуту конституционный порядок полным произволом и обратить сенат в безгласный и бессильный призрак, — вопрос лишь его каприза. «Разве мои предшественники знали, до каких пределов простирается власть государя!» воскликнул однажды

Нерон. При таком настроении пасквиль претора и сенатора Антистия должен был показаться ему чуть не призывом благородного сословия к бунту, а снисходительный сенатский приговор — оппозиционную стачкою, началом бунта. Если вспомнить, что доносчиком по делу Антистия был Капитон Коссутиан, тесть быстро возвышавшегося августианца Софония Тигеллина, то надо думать, что не было недостатка и в дворцовых нашептываниях, способных укрепить цезаря в подобных мыслях. Во всяком случае, дело об Антистиеве пасквиле — бесспорно, возникло на перевале цезаря от союза с сенатом к разрыву и вражде с ним. Народ это чувствовал и сочувственно хохотал, когда тот же остроумный и бесстыжий Дат тыкал со сцены указательным перстом на senatorскую скамью и, подмигивая, произносил злое предсказание: «А смерть за вами — по пятам!». По совокупности проделок, Дата, наконец, выслали из Италии.

Как императорские власти мало-помалу забирали в свои руки функции старых республиканских институтов, прекрасно видно

из скандального процесса сенатора Валерия Фабиана, ата-мана великосветской шайки червонных валетов — из самых верхов общества. Компания попалась на подложном духовном завещании, которое Фабиан подделал от имени старого и бездетного богача Домиция Бальба. Когда дело выплыло на свежую воду, преступники изобрели способ, как избежать наказания по всей строгости законов. Некто Валерий Понтик, выступивший обвинителем по делу и, конечно, подкупленный подсудимыми, направил свой донос не к императорскому префекту, как требовал юридический обычай, за давностью применения принявший характер закона, но, по старинному, к претору, как требовал самый закон. Не говоря уже о том, что преторский суд был гораздо менее опасен, пред ним можно было еще отказаться от обвинения, а по правилу *non bis in idem*, — дело оказывалось сорванным: перенести его к императорскому префекту уже не дозволялось. Однако, червонные валеты, — за исключением одного, Азиния Марцелла, помилованного цезарем, в память знаменитого деда его, Азиния Поллиона, авто-

ра и литератора ав- густовых времен, — были осуждены и, согласно Корнелиеву, диктатора Суллы, закону, сосланы на острова, а имущества их конфискованы. Что же касается Валерия Понтика, его осудили за подачу жалобы претору, как за крючкотворный обход действующего законодательства, и выслали из Италии. Мало того: сенатское решение по этому поводу постановило на будущее время считать подобные обходы закона «преварикацией» (*praevaricatio*), то есть тайным сговором тяжущихся сторон к совместному обману правосудия, и подвело их под ту же меру наказания, что за клевету. Меня часто упрекают в том, что когда я наблюдаю современность, я думаю о древнем Риме, а когда пишу о древнем Риме, не могу отстать от мыслей о современности, что вносит в мое историческое изложение «фельетонность». Очень может быть, что это большой недостаток, но пусть критики, ставящие мне его на вид, признаются хотя бы вот сейчас: возможно ли, излагая процесс Валерия Фабиана с компанией, автору начала XX века не вспомнить только что отшумевшего аналогичного русского дела

Вонлярлярских, о подложном завещании князя Богдана Огинского.

Что Нерон не хитрил, когда писал сенату по Антистиеву делу и, действительно, помиловать бы памфлетиста, будь тот осужден на смерть, подтверждается делом Фабриция Вейентона. Обвинение этого последнего в пасквиле на сенат и жреческие корпорации было отягчено добавочными пунктами, что Фабриций торговал своею близостью к императору и, как человек, постоянно вхожий ко двору, брал взятки, за ходатайство пред цезарем, с разных искателей государевых милостей и выгодных должностей. Нерон лично вел судебное разбирательство и, когда преступления обвиняемого были доказаны, приговорил Вейентона к той же мере наказания, что сенат — Антистия: изгнал пасквилянта из Италии, а книгу его приказал сжечь. Памфлет стал библиографической редкостью и, так как публика всегда охотница до запретного плода, случайно уцелевшие экземпляры разыскивались и читались нарасхват. Тогда Нерон дал превосходный урок цензорам всех стран и всех веков: разрешил памфлет к чтению.

Книжонка, попавшая в честь лишь силою воздвигнутого на нее гонения, обнаружила полное свое литературное ничтожество и вскоре пришла в совершенное забвение.

Нельзя не отметить того многозначительного обстоятельства, что в три первые года самостоятельного правления Нерона, по смерти Агриппины, в три года, 59, 60, 61, когда сам Тацит не находит, за что укорить ненавистного Нерона, кроме театральных и беговых его увлечений, — имя Поппеи Сабины ни разу не появляется в летописи текущих событий. Как будто ее вовсе не было при Нероне или она утратила свое влияние настолько, что стала незаметна. Но вот — ядовитая пестрая змея снова тихо выползает на авансцену исторической трагикомедии Палатина, и следом за нею ползут наушничество, убийство, подлая месть и нестерпимая тирания. И теперь Поппея тем опаснее, что она стоит злым демоном над волею Нерона уже не одинокая, как прежде. У нее появился единомышленник и союзник — человек беспощадный, властный, бессовестный. Зловещее имя его: Софоний Тигеллин. Но, — прежде чем приступить к изло-

жению путей, какими эти люди поворотили Нерона от старых дружб и политического либерализма к подозрительной ненависти и режиму серального деспотизма, столь же ярко выраженного, как при Клавдии, но еще более откровенного, грубого, насильственного, — необходимо рассмотреть одно из главных общественных явлений, преувеличенным развитием которого ознаменовался этот поворот. В нем государь увидел цель своего существования, народ — утеху своего быта, а люди искавшие власти и над государем, и над народом, — великое средство управления, способное скрасить самую варварскую и разбойничью политическую систему, покрыть и извинить своим мишурным блеском самые вопиющие хищения, самые наглые злоупотребления законом и правом, самые кровавые жестокости, самый своевольный разврат. Этим великим обманным явлением, этим роковым средством деспотического тумана избран был и оказался в высшей степени действительным — театр.

ТЕАТР И ТОЛПА

I

Театру часто ставят в упрек, что свою огромную силу почти повелительного внушения толпе мыслей и настроений он употребляет во зло, являясь проводником взглядов противобщественных, сочувствий, идущих в разрез с преданиями семейного и даже гражданского начала. Скотт в Англии, Гарт в Германии, Толстой в России воскресно повторяют столетнее положение Руссо: «По своей, так сказать, праздной сущности театр очень мало может способствовать к тому, чтобы исправить нравы, и очень много к тому, чтобы их испортить».

Голоса эти, возвращающие человечество почти к столь же резко отрицательному воззрению на театр, как высказывалось оно у первых христианских писателей и отцов церкви или у английских пуритан XVII века, либо у Джерими Колльера, являются естественным, хотя и весьма слабосильным, отпо-

ром «против течения». А течение, объявляющее театр насущною потребностью народа, которая должна удовлетворяться даром или за такие гроши, что выходит почти даром, несет нас, опять таки попятным порядком, к векам, когда даровые зрелища являлись одною из главных опор управления народом. Оставляя в стороне суждение за и против этих вопросов в современной общественной их применимости, я хочу лишь отметить и утвердить то обстоятельство, что театр и общественный пуризм искони и повсеместно враждуют между собою и всегда одними и теми же средствами, во имя одних и тех же начал. Театр обычно процветает в те исторические полосы народов, когда последние переживают упадок своего общественного, политического и религиозного строя. Жизнь призрачная начинает пополнять пробелы жизни действительной. Сочувствия толпы, — не находящей в среде своей великого гражданина, достойного того поклонения пред единою личностью, без которого толпа жить не может, — обращаются на великого актера, который воскрешает пред нею миражи лучших

дней и чувств, давно угашенных в действительности. Вместо жизни — сновидение. Вместо подвига — его идея, выраженная в позе, жесте и фразе.

Истины низки, но театр дарит нам возвышающие обманы, и с ними, конечно, легче и приятнее жить. Шиллер, будучи автором «Дон-Карлоса», «Орлеанской девы», «Марии Стюарт», «Валленштейна», «Вильгельма Телля», однако находил, что от театров человек делается равнодушным к действительности и переносит истину из внутреннего содержания на формы и проявления. Театр, бесспорно, один из главнейших источников и двигателей той общественной поверхности и легкости, которыми так неизменно определяются упадочные полосы. Ни один умный деспот никогда не был в ссоре с театром — от римских дней до XX века включительно. Когда Август задал головомойку пантомиму Пиладу за его неуживчивость и ссоры с товарищами по искусству, артист возразил весьма остроумно: «Помилуй, цезарь! тебе же выгодно, что народ занимается нами»... и — значит — не обращает внимание на тебя! Это старое хит-

рое слово сохраняет свою справедливость двадцать веков. В истории театра красной нитью проходит черта странной снисходительности, которой всевозможные душители свободной гражданственности встречали дерзкие выходки, направленные на них со сценических подмостков. Театральная свобода мало смущала деспотизм, — говорю опять таки, конечно, лишь об умных его представителях, — наоборот, он видел в ней превосходный и совершенно невинный клапан для бродящих сил общества, громоотвод против свободолюбия политического. Римский театр стал развиваться, когда пришли к обветшанию старые республиканские формы государства, и единоличная власть, силою военщины, стала прибирать Рим к рукам. Росций — личный друг Суллы, — как впоследствии Тальма был другом Наполеона I. Чем крепче и решительнее господствует в государстве единовластие, тем больше оказывает оно покровительство и поддержку театру. Поэтому в Риме золотым веком театра являются правления восьми цезарей Юлиева дома, в Англии — век Елизаветы и реставрация Стюар-

тов, во Франции — царствование Людовиков XIV и XV, Наполеонов I и III, в Германии — эпоха просвещенных деспотов, воспитанных в подражании версальским нравам, в России — век Екатерины II и Николая I, в Польше — Константина Павловича и, позже, Гурко. С одной стороны процветание это обусловливается сказанною поддержкою власти, не жалеющей средств для развлечения празднопокорной толпы, а с другой — неизбежным приливом к искусству талантов, устремляющихся в театральное русло за несвоевременностью и затруднительностью других отраслей духовной и гражданской деятельности. Так — поколение великих итальянских актеров XIX века: Модена, Росси, Сальвини, вступило на сценическое поприще в сороковых годах, когда папство, Бурбоны и австрияки душили на Аппенинском полуострове всякую свежую мысль, всякое свободное слово. Щепкин, Мочалов, Мартынов, до Шумского и Садовского включительно, которыми кончился «золотой век» московского Малого театра, — дети унылой николаевской России. В реакционную пору конца семидесятых и восьмидеся-

тых годов этот знаменитый театр находит эпоху своего второго расцвета, равно как обогащается первоклассными силами петербургский Александринский театр, развивается великолепная опера и т. д. Реакция девяностых годов выдвинула к жизни необыкновенно мощные театральные явления: Московский Художественный театр, Шаляпин, Коммиссаржевская и пр. Реакционная эпоха 1906—1911 годов ознаменована небывалым ранее развитием шутовских и юмористических театриков и грандиозным подъемом балета. Театр — точнейшее зеркало цезаризма, которого он детище: подобно родителю своему, он цветет лишь властью и щедростью деспотизма, а в то же время неизменно носит в себе начала революции. Меч солдата, устрашающий толпу, и маска актера, льстящая вкусам толпы, — неразлучные опоры самовластия.

Мы знаем, что в Риме I века роковой вопль черни: «*panem et circenses!*» был одним из главных руководителей государственного корабля. Глава государства — прежде всего кормилец и развлекатель народа. Заместитель

годовых выборных магистратов, он принял на себя их обязательства: распорядительство годовым продовольствием столицы и календарем годовых народных праздников. Он хозяин *annone* и, чтобы обеспечить себе исключительную зависимость от него народа в даровом или льготном прикорме, обращает в вотчину Египет, житницу империи. Он оберувеселитель народных масс и, чтобы обеспечить себе монополию этой власти, понемногу отбирает ее у всех обычных магистратов в свой чрезвычайный магистрат. Если министерство продовольствия *принцепс* еще находит возможность подчинить доверенному чиновнику (*praefectus annonae*), то министерством удовольствий он всегда управляет сам, и другие магистраты и знатные лица допускаются разделить с ним эту заботу лишь в виде особой привилегии *сана*, либо по специальному разрешению государя, в знак его доверия и милости. Когда Клавдий разрешил Нерону устроить игры, раздать народу конгиарий, а войскам донатив, — Рим принял это как неофициальное объявление Нерона наследником принципата. В увеселительных обя-

занностях своих цезари — за исключением Тиберия, слишком надменного аристократа, чтобы заискивать в людях, которыми он управлял, — выказывали пламенное усердие, восходившее до явлений, по условиям нашего времени, даже невероятных. Нерон, который хвалился тем, что до него государи не знали, до какой степени насилия можно злоупотреблять властью, сам превратился, на потеху толпы, в присяжного актера. На сценические увлечения этого цезаря обыкновенно смотрят как на каприз его безумия. Конечно, личное пристрастие Нерона к искусствам имело огромное влияние на решимость его выступить на подмостки пред толпами своих подданных. Но личным пристрастием нельзя объяснить того, что он имел возможность удовлетворить своей решимости и что актерство его ничуть не поколебало обаяния императорской власти в глазах этих самых подданных. Влюбленных в миражи сцены государей и принцев история знала и знает немало. Давно ли Людвиг II Баварский катался Лоэнгрином в лодке, влекомой лебедем, по искусственному озеру: на крыше своего дворца, с

водою, подсиненной для красоты купоросом? Любительские спектакли, ряженые, исторические маскарады, именно в последние годы XIX века, приобрели в высшей европейской знати распространение и власть необыкновенную. Роскошные постановки аристократических спектаклей петербургского Эрмитажного театра увековечены специальными альбомами, рисунки из которых проникли в общую печать, вызывая изумление своим несметно богатым великолепием, как и серьезностью, с какой проделываются подобные забавы. Но это — дело интимное, домашнее, между своими. Если оно выходит в широкую публику, то лишь потому, что круг «своих» здесь очень объемист и «свои»-то эти — слишком общеизвестный, правящего класса высший выбор, которому нельзя укрыться от народного внимания ни в радости, ни в горе, ни в забаве, ни — почти что! — в тайне. Автору этой книги известен верный случай, как один высокопоставленный любитель, одаренный сценическим талантом, горько жаловался на невозможность ему публично сыграть «Гамлета», которого он, действительно, толку-

ет мастерски. Он откровенно признавался, что за удовольствие это он охотно пожертвовал бы значительной долей выгод и преимуществ своего официального положения. Этому бедному, принцу Гамлету следовало бы родиться девятнадцать веков назад. Нерон, как мы уже видели, испытал такую же тоску по сцене, но удовлетворил своей страсти — и, к удивлению Стародумов века, решительно без всякого потрясения основ. Аристократическое негодование Тацита принадлежит позднему времени, которое могло ценить цезаря- комедианта не по непосредственным впечатлениям, но с исторической точки зрения, — по нравственным плодам его царствования. Псевдо-Лукиан, сохранивший нам рецензию о Нероновом пении, бранит цезаря не столько за то, что он унижает появлением своим на театральных подмостках величие власти, сколько — зачем он берется за исполнение ролей, которые ему не под силу. Отрицательное отношение к театральному безумию Нерона развилось по его смерти. Современники — за него. Если бы цезарь возбуждал поведением своим столько негодования,

как пишет Тацит, то, при напряженном политическом настроении века и шаткости своего династического положения, он не мог бы оставаться главой и символом правления тринадцать лет слишком и погиб бы жертвой не военной, но народной революции. Между тем никто из цезарей не был так беспечен к охране своей власти, как Нерон, почти с презрением бросавший, во время своих отлучек, управление государством в руки первого попавшегося любимца, равно как никто из цезарей не был менее его военным человеком. Он пал жертвой легионов, но не народной Немезиды. Безучастие народа к военной революции 68 года поразительно. По смерти Нерона народ украшает его гробницу цветами, поет сочиненные покойным императором песни. Гальба не встречает в Риме никакого сочувствия. Отон, чтобы понравиться Риму, принимает имя Нерона и провозглашает себя наследником его политики. Вителлий также играет на этих нотах. Чтобы покончить с неронианством, Веспасиан должен устроить во взятом Риме страшную резню, которая в один день взяла у вечного города жертв больше,

чем все тринадцать лет Неронова правления. И за всем тем память о Нероне не исчезает из мира и сочувствие к нему не угасает. Лже-Нероны волнуют провинцию. Ждут его возвращения из Парфянского царства, куда, будто бы, он скрылся от злости сената и своих изменников-генералов. Надежды эти живы еще даже при Домициане. Заговоры против Нерона — все аристократические, народ не примыкает к ним и более чем равнодушно относится к жестокой расправе с Пизоном и его товарищами, приключившейся — как раз в самый разгар артистических беснований цезаря. Именно тут-то и подросли знаменитые квинквенналии 66 года, когда Нерон, — по просьбе народа, передаваемой у Тацита подлинными словами, — «показал в театре своим подданным все свои таланты... А городская чернь, привыкшая поддерживать гаеров, рукоплескала ему в такт и восклицала в меру. Будто радовалась чернь? А может быть и радовалась: что значило для нее общее горе?» Последние слова Тацита, для нас, достаточно ясное указание, что «общее горе» безумств Нероновых было далеко не общим, но, наобо-

рот, горем исключительного и небольшого меньшинства, совершенно бессильного противодействовать общему течению, которое мчалось не против Нерона, но вслед ему. Соперник Нерона, Пизон, славился как превосходный трагический актер. Больше того: ту же самую репутацию имел Пет Тразеа, в котором Тацит видел идеал стоика.

Таким образом, если сценические причуды и страстишки таких людей, как Калигула, Нерон, Коммод, не остались в стенах их дворцов, но неутомимо ползли на показ людям, на улицу, то тут было не одно влияние личного царственного каприза или даже призвания, но, и, прежде всего, среды, в которой выросли названные принцы: исключительно благоприятной почвы для развития всех казовых сторон человека, какую нахлоил Рим и — в равной с ним мере — уже не одно из великих государств впоследствии.

Первым слоем этой почвы являлась наследственность культа, религиозно обрядовый атавизм. Как и в Греции, и в Риме публичные зрелища — часть богослужения, необходимая в составе каждого празднества. «Бывают ли зрелища без идолов? бывают ли игры без приношения жертв?» (Св. Киприан). Когда рухнул старо-государственный языческий культ, император Констанций, однако, должен был сохранить храмы богов, расположенные в окрестностях Рима, «поелику многие из них положили начало театральным празднествам, и не надлежит разрушать здания, привычные исстари служить удовольствиям римского народа». Даже гладиаторские бои дотянули бытие свое до VI века, хотя христианство начало свою литературную борьбу с ними во II веке, а законодательную в IV веке. *Ludorum religio*, — «религия зрелищ», — выразительно характеризует римский культ Валерий Максим. Слово *lucar*, актерское жалованье, Фест выводит от *lucus*, священная роща, ибо из доходов со священных лесов оплачива-

лись ежегодные зрелищные расходы храмовых праздников. Религиозное происхождение публичных зрелищ и священные обряды, сопряженные с ними, вводят вопрос о них в *jus sacrum* (священное право) и обращают юриспруденцию в «науку, познающую дела человеческие и божественные». В эпоху Августа, усиленно стремившегося к религиозным реформам или, вернее, реставрациям, юристом-знатоком по части священных зрелищ выдвигается Атей Капитон, автор трактата «О праве жертвоприношений» (*De jure sacrificiorum*) и программы Секулярных игр, имевших так много значения для Августа и конституции принципата (см. том I). Напомню взгляд, убежденно высказанный Зосимом уже в IV веке по Р. Х.: «Если бы священные обряды этих игр соблюдались правильно, как заповедал оракул, то империя Римская сохранила бы свое величие». Столетние игры святее других, но все игры святы. И свято все, что к играм относится. Обещание дара (*pollicitatio*) обычно не является юридическим обязательством, но дело меняется, если кто-либо обещает городу игры, в расчете получить за то об-

щественные почести или в благодарность за почести, уже полученные. Тут уже пятиться невозможно: хочешь, не хочешь, - плати! Дарение между супругами, по римскому праву, запрещено, но, в число немногих исключений, допускается денежный дар жены мужу на устройство народных игр: *donatio ludorum gratia* рассматривается в одной категории с общепользными пожертвованиями, расходами на погребение, вкладами в храмы богов. Подобно тому, как современный благочестивый богач, умирая, завещает свой капитал на больницы, школы, приюты и т.п., римский капиталист — «для пользы душе» — оставлял по завещанию крупные куши на зрелища и гладиаторские бои. Усердие, с которым впоследствии народы, города, общины, государи-сеньеры и богачи воздвигали церкви, в римском мире, в тех же коллективах и общественных разрядах, знаменовалось сооружением арен и театров. И если готическая культура не соорудила ничего более значительного, мощного и выразительного, чем ее чудо-соборы, брызнувшие от земли в небо молниями своих каменных стрел, то самыми уди-

вительными и столь же красноречивыми памятниками римской культуры остались ее гиганты — цирки, широкие, развалистые, чудовищно-уемистые, дюже и уверенно навалившиеся на землю и победоносно жмущие ее несокрушимыми громадами своих тяжело-весных кругов, очерченных по радиусам круглыми же арками. Форма их создана не одним только зрительным удобством — сосредотачивать внимание живых окружностей к центру. В ней есть старая религиозная символика, которую еще хорошо помнить Тертуллиан. Он знает, что эти гигантские цилиндры — упавшие с неба и окаменелые «солнца», и именно за то прежде всего ненавидит он цирки.

«Цирк в особенности посвящен Солнцу. Посреди его воздвигнут ему храм, и лучезарный образ его сияет на вершине храма. Подивитесь сему устройству. Благочестивые сии идолопоклонники вздумали, что не должно помещать под темнотою крова то божество, которое видят они вседневно блестящим над своею головой. Уверая, что Цирцея первая учредила зрелища, в честь мощного отца сво-

его Солнца, они мечтают, что она же и цирку дала имя свое. Да и подлинно знаменитая сия волшебница оказала достаточные услуги тем, чья она жрица, я хочу сказать, демонам и их служителям. Посмотрите, сколько идолопоклонств являет одно сие место: сколько украшений в цирке, столько и храмов богохульных».

Из перечисленных затем христианским апологетом кумиров и жертвенников легко усмотреть, что зрелищные здания были богаты святынями культа не менее любого капища. Что же касается специального «театра», то, для Тертуллиана, он «есть собственно храм Венерин. Под видом воздания чести богине, богомерзкое место сие обоготворено в мире».

Итак, зрелища священны, театр — храм, и актер — до известной степени жрец, «жрец искусства», как слывет он теперь. Актер до известной степени жрец, как жрецу приходится быть до известной степени актером. Старое Гетево сближение:

**Ich hab' es öfters rühmen hören,
Ein Komödiant könnt' einen Pfarrer lehren.**

— **Ja, wenn der Pfarrer ein Komödiant ist,**
Wie das denn wohl zu Zeiten kommen mag.

Есть какая-то незримая черта, на которой оба элемента сближаются и сливаются в священное единство, и творческая сила этого момента настолько велика и обаятельна, что именно она-то и тянет к себе мечту всех тех, кто имеет счастье или несчастье быть жертвою «сценического призвания». Об этих моментах, — мы видели опыты, — грезы не спят даже под императорскими венцами и великокняжескими мантиями. Ради них всякое звание, всякий соблазн мира забывается многими: богатство, знатное имя, блестящая карьера, родовая спесь оказываются бессильными в соперничестве с призванием актера — даже в таком глубоком и бесправном унижении, как встречаем мы его в истории повсеместно, а в особенности в Риме.

Если игры и зрелища священны, если актер — до известной степени жрец, откуда же взялось это беспредельное презрение к нему закона, поместившего его в одном кругу со сводниками и проститутками? Почему, в римском законодательстве и обычае, актер-

ствующий жрец — фигура, пред которой почитательно склоняются все головы, а жрецствующий актер — «особа без чести», *inhonesta persona*?

Противоречие это давно занимает ученых, придумавших для него разные разрешения. Из них я позволю себе выбрать гипотезу, имеющую то преимущество, что она не заставляет искать для явления объяснений психологических, а наглядно истекает из исторических его корней.

Почти все игры вели происхождение от служб и жертв в честь тех или иных богов, в особенности же душ умерших, **di manes** (Варрон и блаж. Августин). А так как **sacta publica**, торжества общественного культа, в большинстве, развились из культов частных, **sacta gentis**, то эти родовые частные культы мы должны искать и в корне древнейших игр. Такое происхождение легко намечается, напр., для Столетних игр, возникших из культа фамилии Валериев (см. I том; Базинер). Фамильный культ осуществлялся *paterfamilias*'ом, главою рода, его боговдохновенным законным кудесником, с которым го-

ворили домашний очаг и могилы предков. Когда **sacra gentis** расширились в **sacra publica**, мистическая роль главы рода перешла на выборного жреца и, вместе с тем, перенесла на него, как общественного кудесника, весь почет, которым окружен был **paterfamilias**, кудесник фамильный. Поэтому, в момент богослужения, его слово и жест святы и внушают благоговение и почтительный трепет, хотя бы они были бессмысленны (напр, гимн арвалов) или даже непристойны (самое имя жреческой коллегии «салиев», плясунов, обозначает занятие в высшей степени предосудительное с точки зрения хорошего римского общества). Жрец — активная сила «религии игр», отсюда к нему страх и благоговейное уважение. Актер может быть столько же древнего и смежного с жрецом происхождения, однако в нем чувствуется противоположность характера. Жрец-то он жрец, только с другой стороны. По всей вероятности, родоначальника актеров мы встречаем на заре культуры, в человеческой жертве, заколаемой на похоронных торжествах, в том рабе, пленном чужеродце, который мучи-

тельно погибал, во славу мертвых родичей и во искупление живым, под ножом или палицею *paterfamilias*'а. Как хорошо известно, у диких народов Африки, Австралии и еще недавно Америки подобные жертвы сопровождаются обрядовыми пытками, которые превращаются для всего племени в длинный и приятнейший спектакль, отличавшийся всеми качествами того «общения сцены с партнером», что составляет теперь любимую мечту режиссеров. Партер, взобравшись на сцену, дерет с протагониста кожу в самом буквальном смысле слова и радуется, воет, хохочет, бьет в ладоши, когда жертва орет не своим голосом, кривляется, плачет, молит о пощаде. По свидетельствам путешественников, женщины, при таких торжественных пытках, являют особенную свирепость.

В следующей стадии прогресса, племенной союзно-религиозный культ берет военнопленных чужеродцев в свое распоряжение и содержит при храмах с теми же целями, что и в первой родовой стадии, — про календарный, так сказать, запас: до великих общих празднеств в честь «рода и рожениц», погреб-

бальных обрядов, боевых гаданий и т.д. Обрядовая пытка не исчезает из этих боен, но известное смягчение нравов сказывается тем обстоятельством, что понижается личное участие хозяев-победителей в мучительстве побежденных. Последних, — быть может, выбирая из них тех, которые подюжее и похрабрее, — заставляют драться между собою, убивая друг друга до последнего, который кончает с собою самоубийством или его закалывает жрец. Это уже начало гладиаторских боев. «Бой гладиаторов, — говорит Канья, — один из самых отвратительных обычаев, какие только знает история, тем не менее, в корне своем, является знаменем идейного прогресса, так как в погребальных играх этрусков, у которых его заимствовали римляне, он заменил человеческие жертвоприношения». И эту отправную точку гладиаторские бои в Риме сохранили во все время своего существования. Военнопленные — главный элемент в убойном стаде страшных римских зрелищ. Клавдий истребляет в римских цирках пленных британцев, Тит — в Кесарии и Берите — иудеев, Константин Великий — в Трире —

бруктеров. Обряд боя гладиаторов, как искусительной жертвы накануне больших сражений, — «жертвы, устремленной против врагов» (*devotio contra hostes facta*) — дожил до конца IV века.

Эту генетическую последовательность в первопроисхождении гладиаторских зрелищ понимал и изъяснял еще Тертуллиан:

«Древние думали, что сего рода зрелищами они воздают долг свой мертвым, а особливо когда стали соблюдать более умеренности в своем варварстве. Прежде, полагая, что души усопших облегчаются пролитием крови человеческой, они просто при гробах их предавали смерти или несчастных пленников, или непокорных рабов, которых нарочно для сего покупали. Но потом сочтено приличнейшим столь жестокое бесчеловечие прикрыть завесою увеселения; а потому поставлено за правило приучать сих бедняков обращаться с оружием и владеть им, как ни попало, лишь бы умели друг друга умерщвлять. Приучив их, таким образом, стали приводить их в назначенный день на похороны, дабы они, как бы для забавы зрителей, убивали один друго-

го при гробах усопших. Вот происхождение сего долга или повинности (*devotio*). Зрелище сие впоследствии становилось тем приятнее, чем было жесточе. Мало того, что употреблялся меч для истребления людей, к довершению забавы, признано нужным подвергать их, сверх того, ярости свирепых зверей. Умерщвляемые сим способом считались жертвою, приносимую в честь умерших родственников» (перевод Карнеева).

Дальнейшая эволюция зрелищ лишь перерабатывает их в более или менее продолжительных трениях прогресса из ритуального убийства в мирное праздничное увеселение. Римская часть этой эволюции любопытна тем, что в ней, почти на всем ее историческом протяжении, мы видим сосуществование и могущественного ритуального кровавого пережитка — гладиаторства, и уже выделившейся из него более культурной и мирной, но именно потому еще слабой ветви зрелищной — актерства. Сосуществование настолько близко и обще, что обе ветви в раздельности трудно было бы и рассматривать. Как гладиаторство превращается из богослу-

жебного обряда в вид воинственного искусства, как последнее дробится, развивается, овладевает общественными страстями, потом отживает свой век, бледнеет, умягчается и, наконец, вымирает, — мы не можем здесь исследовать: этой темы достало бы для огромного специального труда, не в один том объемом. Желающим познакомиться с гладиаторским институтом в изложении подробном, но сжатом, образцово-дельном, но не скучном, рекомендую обратиться к отделу «Зрелищ» в знаменитом труде Ф. Фридлэндера «Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms».

Но на какой бы ступени социальной эволюции Рима мы не встретили гладиатора, утрюмое правовое его положение не изменится в законе и обычае. Рим не желает смотреть на гладиатора иначе, как на чужеродца или отверженца, изгоя, потерявшего свой род и племя, а следовательно, и права родового и племенного союза. К первой категории — чужеродцев естественных — относятся гладиаторы военнопленные и рабы; ко второй — чужеродцев искусственных, отверженцев — гладиаторы по судебным приговорам и глади-

аторы-наемники, попавшие на арену по свободной вербовке.

Гладиаторские бои стали прививаться и процветать в Риме, под влиянием этрусков, очень рано. Они почти современны республике. Первый бой был дан М. и Д. Брутами в 490 г. до Р.Х. Как в это глухое крестьянское время Рима, так и до конца республики, гладиатор — одинаково — неприменный раб и, в полном смысле слова, вещь своего хозяина. Каждый раб может быть обращен в гладиатора и замучен по воле господина в любое время на любой арене.

Империя, с ее последовательною тенденцией облегчать формировку класса вольноотпущенников и накоплять ею новый плебс, обратила внимание на положение гладиаторов.

При Августе Петрониев закон (*lex Petronia*) впервые лишает хозяев права послать раба на арену просто по произволу, по господскому капризу. Гладиатором или бестиарием (борцом со зверями) можно сделать раба только либо с его согласия, либо, под контролем магистрата, в наказание за тяжкую вину. Был ли этот закон действителен? Многочис-

ленные его повторения (при Адриане, Марке Аврелии) свидетельствуют, что рабовладельцы покорялись ему с крайней неохотой и, при первой возможности, старались обратить его в мертвую букву. Сбывать в гладиаторы порочную дворню для господ было и удобно, и доходно. Что же касается раба, то он в этом случае, собственно говоря, менял не только профессию, но и состояние: освобождался от господина и из частного раба становился колдником правосудия или, как картинно выражался закон, «рабом своей вины», *servus раенае*. Нечто подобное в русские крепостные времена представляли собою сдачи помещиками в солдаты провинившихся дворовых: насильственное освобождение из крепостной зависимости с перекрепощением сдаточного государству зачетным солдатом на срок 25 лет.

Servus раенае, гладиатор — раб низшего разряда, раб из рабов. Закон *Aelia Sentia* (о вольноотпущенниках, 4 г. по Р. Х.) допускает для этих рабов лишь ограниченное освобождение: вольноотпущенник из гладиаторов приравнивался к «взятым на копье», поко-

ренным войной, сдавшимся на капитуляцию (dediticii), и никогда не мог войти в римское гражданство. Значит, именно: оставался на всю жизнь в положении замиренного, но бесправного чужеродца, для которого закрыт союз римских родов, образующих гражданство. Военнопленные же чужеродцы действию ограничительных законов вовсе не подлежали и продолжали тысячами погибать в цирках только за то, что не пали на поле битвы. Второй разряд гладиаторов — люди, извергаемые обществом из своей среды на положение чужеродцев, лишаемые всех прав. Его образуют, как третий гладиаторский вид, уголовные преступники, происходящие из свободных, но низших слоев общества: смертники и каторжники тягчайшего разряда, приговоренные за разбой, убийство, поджигательство, оскорбление храма, военный мятеж. О смертной казни известна формула: знать усекается мечом, а чернь бросают зверям, — *nobiliores gladio interficiuntur, humiliores ad bestias feruntur*. Каторжное гладиаторство (*damnati ad ludum gladiatorium*) было ужасно, но не безнадежно. Отбыв три года, так сказать, в

строю, на боевой службе, каторжник-гладиатор выводился из боевой команды инструктором в учебную, а после пяти лет он выходил в вольноотпущенники (*rudarii*, от *rudis*, деревянная рапира, служившая знаком отбытого гладиаторского срока). Штука, значит, была только — не быть в течение этих трех-пяти лет убитым. Кратковременность гладиаторского срока, сравнительно с солдатским (от 16 до 20 лет), говорит достаточно выразительно, как трудно было нести это наказание и выйти из него живым. Народ понимал это и сочувствовал беднякам. Его вмешательство и громкие требования часто добывали отличившимся храбрецам свободу раньше указанного срока. «Кто хочет и требует, чтобы каждый убийца предан был на растерзание свирепому льву, тот просит о даровании свободы гладиатору в награду за то, если он вышел из сражения победителем; в случае же смерти его, изъявляет о нем чувствительное сожаление и сострадание, хотя сам же был орудием его смерти и не оказал к нему сначала ни малейшего человеколюбия» (Тертуллиан).

Но, с другой стороны, если почему-либо

освобождение затягивалось и не могло состояться, напр. при новой штрафованности в срок отбываемого наказания, то *servus*'а раенае ждала горьчайшая старость. Траян определил этим ветеранам обязательные работы — мостить улицы, чистить городские клоаки и т.п.

Наконец, четвертый позднейший вид гладиаторов — добровольцы, вовлеченные в эту профессию из свободного звания удалью, ничетой или корыстью. «Он дошел до такого обнищания, что нанялся в гладиаторы» (Гораций, Ер. 18, I). Надо думать, что риск и унижение свободнорожденного, закабальвавшего себя антрепренеру гладиаторов (*lanista*), оплачивались весьма дорого, так как даже профессионалы- рудиарии, выступая на арену уже добровольцами, по окончании своего обязательного срока являлись для публики яркой приманкой и получали бешеные деньги: в эпоху Клавдия — до десяти тысяч рублей за выход. Дюжина счастливых боев, таким образом, могла сделать гладиатора капиталистом. Тогда удачник сдавал свое оружие, как священный дар, в храм Геркулеса, покровителя со-

словия, и кончал дни свои спокойным буржуа-рантье. Но, конечно, гораздо чаще он оставался мертвецом на арене. В этой своей привилегированной части гладиаторство сохранилось до наших времен в испанских тоreadорах. Насколько ценною величиной был гладиатор свободного звания, показывает комментарий Гая, рассматривающий юридический казус, когда у антрепренера (lanista) переманут его закабаленного ученика (auctoratus), как пример похищения, имеющего предметом свободное лицо.

Гладиатор-доброволец сохранял имущественные права (позднейшее смягчение), но лишался политических: «Тот, кто стал гладиатором не по судебному приговору, но по доброй воле, сохраняет в целостности права наследования, хотя прав гражданских и свободы у него нет» (In arenam non damnato sed sua sponte arenario constituto, legitimae successiones integrae sunt sicut civitas et libertas manet). В полемическом трактате «О зрелищах» Тертуллиан иронически восклицает:

«Станем ли мы удивляться непостоянству сих слепых людей, судящих о добре и зле по

собственному своенравию? Вот новое тому доказательство. Правители республики, судьи и распорядители игрищ лишают всякого почетного звания подвижников цирка, атлетов, комедиантов, гладиаторов (то есть тех самых весельчаков, которым знатные римские дамы приносят в жертву свое сердце, а часто и само тело, вступая с ними в постыдные связи, хотя публично подобные связи и порицают) ; правители, говорю, передают сего рода людей последнему уничижению, не допуская их пользоваться никакими правами и достоинствами ни в судилищах, ни в сенате, ни в преимуществах патрициев, ниже в других каких-либо должностях. Чудное дело! Они объявляют их бесчестными людьми; а между тем охотно присутствуют на их игрищах. Они любят тех, которых наказывают; презирают тех, которых одобряют; хвалят дело, а делателя позорят. Какой странный род суда бесчестить человека за то самое, за что воздается ему честь, или лучше сказать, какое безмолвное сознание злого дела, когда тот, кто его производит, сколько бы ни доставлял удовольствия, предается бесславию!»

Эта тирада Тертуллиана весьма замечательна тем, что в ней ярко встречаются закон со смягчающим обычаем. Пылкий христианский апологет, чтобы обозначить унижительное бесправие «сценического деятеля», открывает самый крайний и резкий юридический термин: *deminutio capitis*. Так, может быть, оно и было когда-нибудь в римской старине, но для эпохи Тертуллиана это уже гипербола, лишь «авторский прием». Под греческим влиянием нравы смягчились все-таки хоть настолько, что «сценический деятель» понимается уже не как лишенный всех прав (*deminutus capite*), но только как человек бесчестный профессии (*infamis, inhonesta persona*), в правах ограниченный. «У греков, — говорит Эмилий Проб, — никто не считает постыдным выставлять себя на позор публики; у нас же все это почитается отчасти бесчестием, отчасти унижением, вообще же делом, не согласным с порядочностью». И настолько не согласным, что в Дигестах вербовка солдата в театральную труппу квалифицируется уголовным преступлением. Служба в легионах для актера закрыта столько же, как

право голосования (*jus suffragii*) и право на государственные должности (*jus honorum*), — все чем отличен и горд римлянин; он в государстве — у себя дома, тогда как актер продолжает быть, как и прежде, чужаком.

В случае голода, актеры изгоняются из города: чужие рты выбрасываются из семьи, от родовых запасов. Городской префект имеет над актерами право телесного наказания. Время от времени сенат применяет к актерам жестокую меру массового изгнания из Италии: *Italia pulsi sunt histriones*, — что равняет их с «опасными иностранцами». Юлиев брачный закон запрещал браки актрис со свободнорожденными, а дочерей актеров или актрис с сенаторами. Братья и сестры завещателя, оставившего свое состояние актеру или актрисе, могли оспаривать завещание, как недействительное. Поступив против воли отца в гладиаторы или актеры, сын, тем самым, давал отцу законный повод лишить его наследства. То и другое, опять-таки, равносильно выводу из рода. Гладиатор и бестиарий не могут быть свидетелями по суду. Закон помещает их в число немногих лиц, которых муж

в праве убить, застав их наедине со своей женой.

Так то шли из седой доисторической древности и дошли к временам утонченной культуры два основных религиозно-зрелищных начала:

Активное: почитаемый жрец.

Пассивное: презираемая жертва.

И оба они всегда были враждебны и ненавидели друг друга. Когда жрец, в победе христианства, овладел обществом, одним из первых шагов его было — повторить старые проклятия над ненавистным чужеродцем: уже в 314 году собор в Арле отлучил актеров от церкви. Христианское государство умышленно забыло актера в той части своей, которую оно осудило на отторжение, на гибель чрез ампутацию: актер и язычник становятся синонимами. Актер, обреченный на исчезновение — человек театра, уставленного жертвенниками, украшенный розовым венком Цереры, как искони украшалась и первобытная убойная чужеродческая жертва. Если актриса или проститутка тяготятся своим промыслом, им в IV веке стоит лишь принять христиан-

ство: оно освобождает от обязательств, сделанных ими в тех званиях, — оно вводит чужеродную в род. И мы знаем, что в IV веке эмансипация зашла настолько далеко, что актриса и проститутка вместе, Теодора, стала женой и соправительницей императора Юстиниана, значит главой всех государственно соединенных римских родов.

По мере того, как исчезало из зрелищ религиозное начало и росте в них самодовлеющий интерес эстетический, начало жреца и начало жертвы начинают понемногу сближаться и причудливо объединяться в общей личности актера. Атеизм, столь характерный для римского общества в последнем веке республики и в первом веке императоров, очень помогал этому процессу. Он не вызвал юридической эмансипации актеров, но освободил их, в мнении и взглядах общества, от ритуальной зависимости, от службы у культа, вывел их из придаточной роли живых аксессуаров богослужения, отнял театр у храма, дал обществу свободу и желание рассмотреть в сценическом творчестве самостоятельное содержание и понять в актерах людей нового

искусства, несущего в мир силу новых психологических и общественных воздействий. Закон и консервативные традиции попрежнему видят в актерах униженную жертву, но настроение нового века и прогрессивные его веяния незаконно признают актера торжествующим жрецом и стараются, в порядке обычая, загладить для него те ущерб и обиды, которые он терпит от того же самого общества, в порядке закона. И это с такой пылкой настойчивостью и с таким осязательным успехом, что, воистину, последние становятся первыми. Вскоре закон вынужден напомнить «инфамию» актерского звания запрещением ставить людям сцены памятники под портиками, потому, что там они воздвигаются... рядом со статуями императоров. Вне арены и сцены — пария, потомок жертвы; на арене и сцене жрец из жрецов, живой полубог, человек-мечта, которому болезненно завидуют даже официальные полубоги, даже высочайшие сверхчеловеки, «увеличенные люди», «августы».

Следом за религиозным атавизмом, как импульсом театральных пристрастий Рима, надо поставить в очередь талант общительности и житья на людях, свойственный римскому народу в высокой степени уже в легендарно-царской древности и несравненно развитый им в века пунического и греческого общения.

Жизнь Рима, и вне театра, была очень театральна. Римлянин — вечно в позе. Искусство театральное и красноречие — родные сестры, а какой другой народ наговорил больше, чем римляне? То защищая кого-либо из своих клиентов, то говоря за самого себя против искусного доносчика, то в качестве временного судьи, вроде наших присяжных, только с более частым отбыванием этой повинности, римлянин изо дня в день кляузничал в суде, как стряпчий, и рисовался, как краснобай-адвокат. Рядом с присутственными местами — ростра, публичная трибуна, с которой чиновник объясняет народу свои действия. Лица частные, но благородные

поднимаются на нее, чтобы произнести похвальное слово своему умершему родственнику. Такой-то — гласят нам современные свидетельства — исполнил эту священную обязанность к отцу своему или матери, будучи пятнадцати лет отроду, другой — еще раньше: вот как рано приходилось «выступить перед публикой»! Ежегодные выборы на многочисленные правительственные должности — предлог для бесконечных потоков красноречия из бесчисленных источников: говорят сами искатели мест, их хвалители, сочувственники, сторонники, противники, агенты и маклеры по выборам и т.д. Даже школа только и учит, что диалектике и ораторским приемам. Молодые люди по целым дням упражняются в примерной защите мнимых судебных дел, якобы возникающих между их товарищами, либо, в свою очередь, слушают прения сторон. Что ораторы эти часто страдали театральничаньем, о том сохранили много насмешливых свидетельств Авл Геллий, Макробий, Квинтилиан, Тацит. Знаменитого Гортензия, за его изысканную жестикуляцию, прозвали Дионисией, — имя совре-

менной ему известной танцовщицы (saltatricula). Тацит, в своем «Диалоге об ораторах», очень резко выразился, устами стародума Мессалы, о распространении подобных приемов, как неприличном новшестве красноречия: «Много лучше для оратора надевать хотя бы мохнатую тогу, чем обращать на себя внимание подкрашенным одеянием публичной женщины. И в самом деле, это не ораторское, даже не мужское украшение, которое в такой моде у многих адвокатов нашего времени, что они резвостью выражений, легкостью мыслей и вольностью сочетания слов подражают комедиантским приемам, что даже не должно было бы считаться приличным для слуха, многие, взамен почета, славы и таланта, хвалятся тем, что их речи можно петь и танцевать. Отсюда вышла эта омерзительная, хотя и частая у некоторых, похвала навыворот, что ораторы наши нежно говорят, а актеры красноречиво танцуют» (перевод В. Модестова).

— Если ты поешь, то скверно поешь; а если читаешь, то слишком певуче, — сказал Ю. Цезарь одному такому оратору с манерой гово-

ритель нараспев: *si cantas, male cantas, si legis, cantas*. Впасть в эти прегрешения — актерско-го жеста и певучей интонации — опасался изящный и застенчивый интеллигент-аристократ, Плиний Младший. «Уж и не знаю, — пишет он Светонию, — что я хуже делаю: декламирую или танцую (*puto me non minus male saltare quam legere*)».

Даже не занимая никакого официального положения, ровно ничего не делая, человек знатного происхождения и крупного состояния жил постоянно на глазах более или менее многочисленной толпы. Утром — прием клиентов. Перед завтраком — посещение форума, после завтрака — прогулка по Марсову полю, всегда в сопровождении целой свиты. Затем — баня в присутствии не одной сотни купающихся и обед в многолюдной компании. Климат, позволявший римлянину от-правлять на улице, под открытым небом, множество мелочей жизни, с которыми мы, по нашим холодам и пасмурным дням, обяза-ны управляться дома, развивал в этих детях Италии тщеславие и показное щегольство со-бою в таких случаях и направлениях, что нам

теперь и в голову прийти не могут. Римлянин I века — не только щеголь, но еще — как народ наш говорит, — форсун: иной — по природной склонности южного характера, другой — чтобы не потеряться среди блестящих ровесников, третий — просто плывя по общему течению, вслед за добрыми людьми.

Страх застрять в неизвестности, погибнуть в темноте, жажда громкого имени, самоуслаждение своей знаменитостью — черты, общие не только частному быту Рима, но и некоторым его государственным и гражданским учреждением. Взять, хотя бы, триумф. Вряд ли Скобелев, Черняев или кто другой из победоносных генералов XIX века остались бы довольны, если бы им предложили: вас посадят на открытую колесницу и будут целый день возить по Петербургу, среди громадных сборищ народа, невообразимой суеты и неумолкающего громового вопля приветствий, в которых, прямо в лицо, будут величать вас великим человеком, отцом отечества, полубогом и т.д. Для человека современных понятий это — не награда, а каторга. Да и в самом Риме находились люди, тяготивши-

еся обязанностью принимать на себя столь обременительный, ослепительный и оглушительный способ общественной признательности. Таков чудаковатый здравомысл и просто-дум Веспасиан. Он неохотно разрешил Титу триумф после Иудейской войны и, принимая участие в торжестве, открыто ворчал и выражал сожаление о потерянном дне, который пригодился бы для более толковых и полезных занятий. Но на толпу, на людей среднего уровня, а равным образом на мечтательную молодежь, блеск триумфа должен был действовать, как шпора, подбодряющая к соревнованию, дразнящая честолюбие, возбуждающая зависть к герою триумфа в настоящем и порождающая идеал — в свою очередь явиться в его роли — в будущем. Если желание быть на час — на два предметом внимания всего Парижа или Лондона приводило в XIX веке иных, до болезненности славолюбивых людей к уголовным преступлениям, казнимым гильотиной и виселицей, то во сколько раз легче было воспламениться подобному славолюбцу зрелищем народного внимания в римские дни, когда внимание это вещало не

позор и смерть, но вечное бессмертие, белый камень в календаре, лавровый венец, неуга-симый исторический ореол? И, действительно, Рим знаком с настолько же болезненными напряжениями в погоне за положительной славой триумфа, сколько XVIII и XIX века с погоней за отрицательным эффектом уголовного эшафота. Истину, что исключительность публичной казни не исправляет, не устрашает, но заражает, чудесно понимал и изъяснял, — мы видели во II томе, — еще Сенека. Эшафот плодит висельников. Каждый триумфатор находил в коллективном зеркале римского населения свое немедленное, завистливо восторженное отражение. Что касается его самого, то возвращаясь вечером домой, он телесно, не чувствовал под собой ног от усталости. Нравственно же — одно из двух: если он был философом, то исполнялся тем разочарованием в суете сует, что некогда снесло Екклезиаста на вершине его великолепия и мудрости, а впоследствии выгоняло вельмож и государственных людей Рима и Византии на аскетический подвиг в Фиваиду; если же он был фанфарон, то чувствовал себя

выше смертного, тем сверхчеловеком, о котором повествует нам Ницше, титаном, стоящим одной ногой уже на Олимпе, в чертоге божества.

Раб показных эффектов, Рим рано или поздно должен был стать царством людей, больше всего и чаще всего показными эффектами его чарующих. Актер, гладиатор, борец, мим становятся первыми лицами государства, и, обратно, первые лица государства, начиная с главы его, желают быть актерами, гладиаторами, танцовщиками. Чтобы понять, как случилось это, мы должны подробнее остановиться на данных, которые сохранила нам классическая литература о римских зрелищах. По величю обстановки, торжественности чина, многолюдству зрителей, римский спектакль, в своем роде, стоил триумфа. Амфитеатры, цирки, театры Рима построены на исполинский размах; двери их открыты не сотням и тысячам, но десяткам и даже сотням тысяч даровой публики. Посещение их осе-но религиозным покровительством: одна из причин, почему впоследствии восстало против зрелищ с таким ожесточением победо-

носное христианство. Зрелищами украшались праздники богов или памятные исторические и фамильные государевы дни, распределяемые в общеизвестном календарном порядке. Праздники длились по несколько дней, иногда недель, а случалось, затягивались и на месяцы. Таков — стодневный праздник Тита в честь открытия Колизея, стодвадцатидневный праздник Траяна во славу дакийских побед. Это — подарки народу, так сказать, не в счет абонементов. Но когда изучаешь античные календари (Маффеи, Филокала, Пренестинский и др.), почти не верится чудовищному числу праздников, коими был испещрен римский год. В некоторых месяцах праздников гораздо больше, чем будних дней, и по первому впечатлению спрашиваешь себя: когда же этот народ работал? Разбираясь в праздниках, конечно, видишь, что общих и постоянных не так уж много, но все же процентное отношение их к будням огромно, и притом оно растет из года в год, от императора к императору, из века в век.

На время этих всенародных торжеств прерывался весь деловой ход Рима. Закрывались

При	Августе	игрища	занимают	в	году	66	дней
	Тиберию	»	»	»	»	87	»
	Марке Аврелии	»	»	»	»	135	»
	Констанции	»	»	»	»	185	»

суды, торговля, домашняя жизнь выходила на улицу. Храм, театр, цирк единственно господствовали в обществе и направляли по-своему быт его. Но, кроме общих праздников, вряд ли было много дней в римском году, когда досужий римлянин не имел возможности побывать на каком-нибудь, так сказать, приходском, частном празднике — храмовом, обычном, гражданском. Из игрищ позднейших, — говорит Тертуллиан, — «так называемые мегалезийская, Аполлониевы, Цицерины, цветочные, латиарийские, каждый год празднуются публично. Другие, менее известные, установлены по случаю или венчания царей или благоденствия республики или суверенных праздников муниципальных городов. К сим своевольным игрищам можно присовокупить еще и те из них, которые частные люди празднуют в честь усопших своих родственников, желая исполнить тем как бы долг своего к ним благоговения: обычай дав-

ний, разделяющий игрища на священные и похоронные, из коих первые учреждены в честь местных богов, а другие в память усопших людей». Кто живал в южной Италии, в маленьких городках под Неаполем, тот по их feste и fiere легко представит себе характер римских празднеств, — именно в смысле длящейся общей праздности, — увеличив, разумеется, лишь масштаб разгула. Амальфи, Минори, Майори, Атрани и т.д. до сих пор справляют свои feste около тех же чисел весенних и летних месяцев, что были священны и для Рима, только св. Андрей-апостол или св. Перепетуя заместили былую Кибелу, Цереру, Венеру Родительницу. И тот же порядок торжества: коротенькая служба в храме, священная процессия, а затем — полнейшая праздность всего городка в течение двух-трех дней подряд, полных всякого дурачества, глазенья на ярмарочные и балаганные чудеса, плясок, винопития и пр. Легенды об итальянской лени и ничегонеделании весьма преувеличины. Я могу считать себя своим человеком на Лигурийском, Тирренском, Салернском и Неапольском побережье. Всюду и постоянно я наблюдаю

дал совершенно обратное явление: люди бьются, как рыбы об лед, в непрерывном, но — по местным условиям — дурно приложимом и мало благодарном труде. Поэтому праздники для них — наслаждение задолго предвкушаемое. На *feste* сходится весь околоток. Праздник — это общее свидание, когда дома запираются и теряют на время свое обособляющее семью значение, а торжествуют единство и равенство улицы

В Риме местами общего праздничного свидания являлись вечные и временные здания, воздвигнутые для зрелищ. Благодаря образцовому календарному порядку празднеств и тщательному оглашению их через бирючей и афиши, туда сходилась весь город. Особенно — женщины. Овидий рисует нам, как «валят» они в театры — валом валят, точно муравьи. Разве лишь больному или философу было под силу усидеть в такие дни дома. Все в возбуждении, всех трясет лихорадка ожидания, у всех раздражено любопытство. Нужно ли описывать величавые размеры, великолепие, богатство, изящество римских зрелищных сооружений? Они столько раз были описаны,

что представление о них близко всякому мало-мальски образованному человеку. Притом, надо заметить, что из всех представлений наших о древнем быте, роскоши его и удобствах, это едва ли не единственное, которое нами не только не преувеличено, на фантастический глазомер, развивавшийся через ряды веков по мере удаления от описуемой эпохи, но наоборот, нам очень трудно охватить его богатырский размах, ибо наши собственные зрелища и здания для них — слишком измельчавшее вырождение древнего великолепия (Лакомб). Арена Колизея, амфитеатры Капуи, Вероны, Помпеи, Нолы, Нима, Орана, это — сцены, уготованные для игры полубогов. «Надобно сознаться, — со вздохом говорит Тертуллиан, — что «постановка игрищ цирка составляет действительно великолепное зрелище: доказательством тому служит безмерное количество статуй, несметное число картин, блеск и пышность колесниц, носилок, венков и всяких других украшений. Сверх того сколько церемоний, сколько жертвоприношений предшествует, сопровождает и оканчивает сии игрища! Сколько движется

жрецов, приставов, воинов!» И когда, под гром рукоплесканий стотысячной пестро-нарядной толпы, выходил на арену еще более нарядный красавец и богатырь — актер, боец, певец и т.д., он — выступающий по драгоценному настилу из медных опилок, озаренный розовым светом солнечных лучей, пробивающихся сквозь натянутый поверху амфитеатра пурпурный *velum* — действительно казался полубогом. Мы знаем, что многие римские актеры хвалились, что не променяли бы своих рукоплесканий и венков на императорские. Что же удивляться, если находились императоры, которые охотно бы променяли свои венки и рукоплескания на актерские, завидовали актерам и даже убивали их из ревности к толпе и к женщинам? Так, Нерон, будто бы, умертвил Париса Старшего, великого пантомима своего времени, а Домициан — Париса Младшего, предполагаемого любовника самой императрицы. При Калигуле некто Парий отпустил на волю раба своего за удачный конный бой, — публика цирка разразилась бешеными рукоплесканиями в честь удальца, храбро стяжавшего себе свободу. Калигула

пришел в страшное негодование, убежал из
ложи, скача по лестнице через ступеньку, и
даже впопыхах оттоптал бахрому на своей то-
ге. Огорчение свое он так напрямик и изъяс-
нил окружающим: каково же ему терпеть,
что державный народ, из-за таких пустяков,
оказывает актеру больше почета, чем главе
государства, да еще в присутствии его свя-
щенной особы. При Николае Первом, если го-
сударь присутствовал в театре, публика не
имела права аплодировать, покуда не пода-
вал знаков одобрения сам император. Знаки
неодобрения в русских императорских теат-
рах были запрещены еще при Александре III.
Не знаю, как теперь. Ревность к вниманию
толпы, жажда принципата не только полити-
ческого, но и во всем объеме общественных
интересов и любопытство, доводили иных
римских цезарей до кровавых преступлений.
Кто изучал римские окрестности, тот, навер-
ное, не упустил случая побывать на озер
Неми, прозванном «Зеркалом Дианы». Осо-
бенно с тех пор, как оно прославлено замеча-
тельной философской драмой Эрнеста Ренана
«Жрец Неми». Очаровательны виды и окрест-

ности этого доисторического кратера, заплывшего водой, а на дне его покоятся таинственные увеселительные броненосцы Кая Цезаря (Калигулы), художественные части которых понемногу извлекаются на сушу еще с конца XVII века, с особенной же энергией и научно — с 1895 года.

Lago di Nemi получило свое название от nemus, священной рощи, хранившей некогда на берегах озера храм Дианы Арицийской или, в просторечии, Неморенской. Греки находили в этой Диане много сходства со знаменитой Дианой Таврической, на алтарь которой скифы приносили в жертву чужеземцев, и даже считали ее той самой. Пережиток человеческих жертв сохранился в грозном и странном обряде Неморенского культа. Лешим Дианиной рощи почитался гений Вирбий: дух первого царя рощи (Rex Nemorensis), т.е. великого жреца и хранителя таинств сказанной Дианы Арицийской. Звание это, по обычаю, завещенному будто бы Вирбием, бралось с боя. Ищущий его должен был сломать ветку на священном дереве Дианы и убить в поединке своего предшественника-жреца.

Так как других посвящений и цензов не требовалось, а жить «Неморенскому царю» было, несмотря на одиночество и опасность, сыто и тепло, то, обыкновенно, искали этого кровавого сана беглые рабы. А так как рабов бегало много, то и кандидатура на угрюмый престол Неморенского царства была обширная, и менялись неморенские цари очень часто. Однажды, при Калигуле, неморенским царем оказался беглый гладиатор — храбрец, силач, великолепный фехтовальщик и военный ловкач, на жизнь которого было не так-то легко покушаться. Он зажился. Это обратило на него внимание народа. О нем говорят, его одобряют за силу, мужество и ловкость, спасающие его от других притязателей на страшное звание. Ревнивый Калигула выбирает богатыря, заведомо сильнейшего, и посылает его умертвить «царя» в поединке.

Даже при Тиберии, который до зрелищ был совсем не охотник, актеров не любил и пробовал принимать против них кое-какие цензурные и полицейские меры, театральное безумие свирепствовало в Риме уже эпидемически. В 15 году распри из-за обнаглевших

«любимцев публики» довели зло до кровавой свалки. Были убиты не только зрители из народа, но даже солдаты и центурион, и ранен трибун преторианской когорты — в то время, как они хотели остановить бранные выходки против начальства и ссору между народом. Это дело дошло до сената, и отцы отечества положили было дать преторам право наказывать актеров розгами. Но жаркая защита со стороны народного трибуна Готерия Агриппы не только спасла лицедеев от этой суровой меры, но и все дело свела скорее к обузданию увлекающейся публики, чем артистического сословия. Сенаторам воспрещено посещать пантомимов, к которым они делали визиты по утрам, точно клиенты к патронам. Всадникам воспрещено посещать актеров и сопровождать их по улицам в театр, составляя как бы их свиту, претору дано право изгонять театральных безобразников, и за всем тем не унижающихся. Если до такой степени унижалось общество перед актерами при Тиберии, относившемся к театру недоброжелательно, легко представить себе, что делалось в римском свете при государях, театру сочув-

ствовавших. Буян и драчун смолоду, Нерон превратил театральное соперничество и вражду между покровителями гистрионов в настоящие побоища. Он не только не наказывал подобные буйства, но даже награждал и сам тайком участвовал в них или явно подстрекал к свалке. Однажды, когда публика, не довольствуясь рукопашной, стала перешвыриваться камнями и ножками разломанных скамей, Нерон пришел в такой азарт, что сам запустил в толпу, что под руку попало, и — надо же быть такому государеву несчастью! — угодил в голову претору. «Где более буйства и вражды, как не в цирке, в котором не щадят ни сенаторов, ни граждан?» — сурово спрашивает Тертуллиан. Насколько справедливы были подобные обвинения, лучше всего расскажет 17-я глава XIV книги Тацитовой летописи, описывающая театральную ссору, которая перешла в мятеж и кровавую битву. Дело было в последних месяцах 59 г. по Р.Х., — значит, в конце Неронова «золотого пятилетия».

«Около этого же времени из пустяков разгорелось жестокое побоище между колони-

стами Нукерии и Помпеи, во время представления боя гладиаторов, данного Ливинеем Регулом. Задирая друг друга обычными у жителей маленьких городов насмешками, они перешли к ругательствам, потом к камням и наконец к оружию, причем верх взяли Помпейцы, у которых происходило зрелище. Таким образом были отвезены в Рим многие из Нукерийцев с изувеченным ранами телом, и очень многие оплакивали смерть детей и родителей. Суд над этим происшествием государь предоставил сенату, а сенат передал его консулам. Когда о деле снова было доложено сенату, то он решил запретить на десять лет общине Помпеев собрания подобного рода и распустить товарищества, устроенные в противность законам; Ливиней и другие виновники возмущения были наказаны ссылкой» (перевод В.И. Модестова).

Удивительно ли после того, что вопросы о длительности и характере игры в каких-либо Сиракузах принимали характер государственный, серьезно обсуждались в римском сенате и привлекали к участию в дебатах даже таких солидных политиков, как лидер сто-

ической оппозиции, Тразеа Пет?

Как в наши дни разные мазинистки, фигуристки, собинистки etc. являются застрельщицами моды на артиста и делают его на некоторое время «властителем дум» праздной публики, так и в римском свете успех у женщин был первой опорой артистического благополучия и процветания. Никогда мир не видел больших торжеств позорного явления, которое наш век прозвал, с легкой руки Александра Дюма-сына, «альфонсизмом», чем в это беспутное время, в этой беспутной среде. Если и теперь порок этот встречается между деятелями сцены гораздо чаще и с большей откровенностью, чем в других кругах и слоях общества, — тем паче должен был свирепствовать он в Риме, где и не актеры, а люди самого высшего общества, молодые, талантливые, на отличной дороге, не считали постыдным продаваться в мужья или любовники старым сластолюбивым богачихам. Театрально-артистические романчики разыгрывались едва ли не в каждой знатной фамилии Рима, едва ли не под каждой кровлей Карин и даже Палатинских дворцов. «Все женщины

предались актерам!» восклицает Ювенал и, хотя преувеличивает по обыкновению, однако не слишком намного: ведь он пишет уже о старом, закоренелом, историческом зле. За сто лет до Ювеналовых сатир, матрона знатного рода, переодетая мальчиком, с обритой головой, всюду следует за тогатиарием — по нашему, «фрачным любовником» — Стефанионом, под видом и на обязанностях слуги. Стефаниону это романтическое переодевание обошлось дорого: Август приказал высечь его в трех театрах и изгнал из Италии, но — разве один Стефанион был в Риме? Пантомим Мнестер — любовник Мессалины. Домиция ставит рога Домициану при помощи Париса, короля современного им балета. Супруга Пертинакса влюблена в кифариста. Кротчайшему и мудрейшему Марку Аврелию то и дело приходится вооружаться философией — в примирение с бесконечным рядом соперников из балета, которыми награждала его Фаустина. А между тем, эти женщины — жены императоров, полубогини, которых, по завету первого из Цезарей, великого Кая Юлия, — «не смеет касаться подозрение». Что же тво-

рилось ступенью или двумя пониже?

В современном обществе — преимущественно французском и русском, извечно связанном с первым роковой наследственностью — носить изношенное платье с плеча его, — театральное безумие, резко напряженное к концу XIX века, создало весьма дикий, а часто и противный даже женский тип, метко определенный уличной кличкой «театральной психопатки». Как вырабатывается он, известно. Под впечатлением блеснувшего перед ней таланта, женщина делается постоянной посетительницей всех спектаклей с участием ее любимца или любимицы и так втягивается в привычку их созерцать, что привычка начинает граничить с болезненным влечением. Не думайте, чтобы я намекал на грубые, половые формы этого влечения. Половое побуждение несомненно лежит в его основе, но — обыкновенно — настолько глубоко и так оно хорошо замаскировано, что даже сама психопатка редко сознает, на какой подкладке развивается ее идолопоклонство, и твердо убеждена, что оно — плод исключительно благоговейного отношения ее к искусству, которого

идол ее является действительно или воображаемо великим представителем. Нет мало-мальски выдающегося оперного певца, драматического актера, музыкального виртуоза, около которого не ютилось бы целой стаей подобных поклонниц. Не говоря уже о таких великанах, как Франц Лист, Антон и Николай Рубинштейны, Эрнесто Росси, К. Ю. Давыдов, Саразате, Сальвини и т.п., которых всех можно назвать, как назвал когда-то первого из них Гейне, — «важнейшей женскою болезнью XIX века», — взгляните на партер и верхи наших театров, хоры концертных залов, предверья «аристократических комнат», театральных подъездов. Что истерических лиц, пламенных глаз! какие нервные голоса, исступленные интонации! какая нелепая взаимоненависть, ревность, какая пошлая, приторная чувствительность... Мазини, Фигнеру, Яковлеву, Баттистини, Тартакову, Шаляпину, Собинову, Ансельми etc. нечего завидовать Стефанионам, Мнестерам e tutti quanti: количество побежденных их талантами психопаток столь же неисчислимо, сколь, к сожалению, неизмеримо и телесное безобразие боль-

шинства этих самомучительниц.

Римлянке сложиться в театральную психопатку было гораздо легче, чем современной парижанке или петербургской даме. Помимо даже разницы морального воспитания их — просто уже в силу механического воздействия древних спектаклей на нервы зрительницы. Мы видели обстановку этих спектаклей — царственную, подавляющую. Затем — порядок их. Современная горожанка среднего общества и зажитка бывает в театре раз десять-пятнадцать в год. Театральный эффект чарует ее, но — в долгих промежутках от спектакля к спектаклю — сглаживается и теряет свое обаяние за повседневными впечатлениями действительности. Мираж красивой сказки расплывается в жесткой и трезвой правде жизни. Но совсем иначе западает в душу мираж этот, когда живешь среди него не час, не два, не один вечер в месяце или даже неделю, но семь, четырнадцать, тридцать, даже сто и более дней подряд — и при том с раннего утра до позднего вечера. И толпа все не пресыщена зрелищем, сумерки не разгоняют ее: для нее освещают театральное здание фа-

келами и продолжают игры при их красноватом блеске. При таких условиях игры становятся уже не миражем, но действительностью. А грустным миражем-то, тоскливым сновидением представляется обыденная жизнь, к скуке которой рано или поздно придется возвратиться. Две недели прожив в мишурном царстве фантастических грез, то страшных, то очаровательных, римлянка сваливается в свои домашние будни, как с неба на землю. «Облетели цветы, догорели огни!» Дома — тоска и одиночество. Остается жить воспоминаниями о покинутом царстве грез да мечтами, что вот, недели через три, будет праздник Венеры Родительницы, который опять вернет тоскующей женщине эти милые, чарующие ее, призраки. И прочные воспоминания виденного, и мечты о будущих удовольствиях, естественно сосредотачиваются на тех актерах-полубогах, которых римлянка видела венчанными победой под рев толпы, под гром неистовых рукоплесканий. «Женщина любит в великом человеке не его самого, но успех его», — сказал Альфонс Карр. Я не раз уже говорил, что нам трудно даже

представить себе грандиозное явление успеха в тех размерах и формах, как должно оно было слагаться в зрительных залах Рима, с их «народонаселением», ибо — уж какая же «публика» скопище в 80—90.000 человек! это — именно народонаселение. Артист, осыпанный рукоплесканиями подобного скопища, заставлявший его по своей воле смеяться, плакать, кричать, бесноваться, благословлять и проклинать, — конечно, должен был покорять женские сердца неотразимой властью, какого бы ума, характера, каких нравов и какого происхождения он ни был. Размножать вокруг себя рабское стадо психопаток у римского артиста было гораздо больше средств, чем у современного. И если в наши дни не особенно редки случаи, когда девушка из знатного рода вдруг, назло всем чванным родовым предрассудкам, выходит замуж за крещеного еврея, который увлекает публику «Демоном» и «Риголетто», или без памяти влюбляется в беспутного гистриона, узрев его — при аплодисментах и реве райка, с лавровым венком в руках, в костюме Гамлета или Ромео, — то имеем ли мы право особенно изум-

ляться на «древние нравы», когда Мессалина воздвигает в честь какого-нибудь Мнестера статуи, переливая в кумир актера казну покойного Калигулы?

* * *

Истинный смысл театральной психопатии сказывается и настоящий бред ее начинается, когда поклонница, не довольствуясь обожанием артиста издалека, добивается личной к нему близости. Увы! если последняя иной раз и остается навсегда платонической, то за это благодарить приходится отнюдь не добродетель психопатки, а исключительно либо сдержанность, либо пресыщенность кумира, избалованного женским вниманием. Тот же

Мнестер встречал влюбленные восторги Мессалины более, чем холодно, и сделался ее любовником лишь по приказу самого мужа ее, цезаря Клавдия. Римляне знали это правило очень хорошо и, по возможности, старались не допускать интимного вторжения артистов в свои семьи. Низкое происхождение артистов той эпохи — в лучшем случае волно-

отпущенных, а то и просто рабов — ничуть не обеспечивало горделивых *patres familias* от подобных вторжений. Талант равняет. Мы видели, что даже при суровом аристократе Тиберии сенат должен был принять строгие меры, чтобы сенаторы и всадники, с позволения сказать, не шлялись по прихожим артистов, артисты же не смели бы играть нигде, кроме публичных театров, и отнюдь не в частных домах. Зачем — казалось бы — сенатору идти на поклон к артисту? Чтобы пригласить его украсить своим присутствием, пением, танцами, декламацией торжественный пир. Но разве нельзя просто заплатить артисту, нанять его на такую-то и такую-то программу удовольствий? Нет, артист артисту рознь. Тут мало денег: пантомимы сами богачи и швыряют сестерциями, как щепой. Надо, чтобы артист захотел быть у вас, приходится за ним ухаживать, льстить ему, щекотать его самолюбие. Получить в Риме на пир свой знаменитого пантомима, какого-нибудь Пилада, Париса, Алитура было совсем не легко. Это — тогдашние Фигнеры, Мазини, Баттистини, Собиновы, Шаляпины.

И, все-таки, даже этим нынешним царькам и божкам искусства и во сне не снилось раболепство, с каким римляне и римлянки поклонялись таланту Париса или Алитура — «солистов двора» цезаря Нерона. Пантомимов окружали прямо божественные почести. Они были аристократами артистического мира, первыми любимцами публики; впечатление танцев их было огромно, влияние на воображение масс неизмеримо. Наш нынешний балет далеко не то же самое. Из новейшего балетного мира, в конце XIX века, напоминала древних пантомимов разве лишь одна Вирджиния Цукки, совершенно исключительная представительница «пластической драмы», время которой наступило несколько позже. В гораздо большей мере сближаются с пантомимой стремления новых искательниц хореографического искусства, возникшие в последнее десятилетие под влиянием Айседоры Дункан и других «босоножек». И, подобно тому, как теперь ломаются копыя критиков в споре, что такое являют собою все эти возрождаемые действия: целомудренное явление самодовлеющей вечной красоты или воскре-

сение аморальной эстетики пола? — так и в римском артистическом культе, наряду с бесспорною наличностью чисто эстетического двигателя, нельзя не заметить огромного влияния, а во многом даже преобладания инстинктов весьма низменной, а иногда даже болезненной чувственности. Пантомимы играли на этой струнке постоянно и с неподражаемым совершенством. Они особенно восхищали публику в женских ролях и доходили до того, что заставляли совершенно позабывать о своем поле. В любовных сценах они умели соединить всю соблазнительную прелесть игры со сладострастием и бесстыдством, переходившими все пределы. Когда прекрасный Бассилл танцевал в роли Леды, то самая наглая мимическая актриса могла бы признать себя, по сравнению с ним, деревенскою простушкой и не более как ученицею в утонченном искусстве щекотать чувственность.

Пантомима, по свидетельству Зосима и Атенея, родилась в эпоху Августа. Она явилась вырождением или усовершенствованием, — зависит от того, как взглянуть, — первобытной драмы-оперы (*cantica*), т.е. монологов,

которые актер декламировал или пел, сопровождая их балетными па (см. выше). Страшно утомительный труд этот еще Ливий Андроник разделил, оставив актеру только язык жеста, слова он поручил другому, который и произносил их под звуки флейты. Громадный успех нововведения произвел настоящий переворот в сценическом искусстве; если до сих пор драма была оперой, то теперь она уходит в балет. «Pantomirrus Mnester tragoediam saltavit»: «пантомим Мнестр танцевал трагедию». Это — бесконечно меняющееся solo одного танцовщика, в разных ролях, под пение хора и музыку оркестра (свирель, флейты, кифары, кимвалы, лютни, гидравлический орган, медные инструменты), заменившего, при Августе, былую скромную греческую флейту. Это было нововведением великого пантомима Пилада. Хор, как фон для солиста, быстро вырос в громадную численность. Теперь в сцене, — говорит Сенека, — бывает гораздо больше певцов, чем прежде бывало в театре публики. Громада эта вводит новое, необходимое для руководства спектаклем, лицо: дирижера, хозяина ритмов, который ведет ансамбль тан-

ца, хоров и оркестра, размечая такт мерным звуком «scabellum'a»: педали, помещавшейся в подошве сандалий и, при правильном под пальцами ноги нажмем, игравшей роль метронома. Несмотря на то, пение в пантомиме — сторона второстепенная и даже менее того. Знаменитый языческий оратор IV века, Либаний определяет хорошую пантомиму, как великолепный балет с программой, изложенной плохими стихами. «В театр ходят совсем не для того, чтобы слушать музыку стихов, — говорит он. — Там стихи поют ради танцев, а не танцуют для стихов, и мы мало считаемся с этими виршами». Значит — замечает Гастон Буассье, — стихи служили только в роде нынешних либретто. Так как пантомимы были излюбленным зрелищем преимущественно высшего общества, то хороший тон требовал, чтобы живое либретто пело по-гречески, о чем и свидетельствуют сохранившиеся отрывки хоров. По-латыни пелись они только для такого вульгарного общества, как компания вольноотпущенников в Петрониевом Сатириконе. Так в XIX веке, до последних двух его десятилетий, большой русский свет

не признавал иной оперы кроме итальянской, а русская существовала лишь для «серенькой публики». В либретто перерабатывались старые мифологические сюжеты, по большей части использованные древними греческими трагиками. Так — Пилад обратил в балет Эврипидовых «Иона» и «Троянок». Другие покупали произведения новых авторов. По словам Ювенала, Стаций был спасен от голодной смерти пантомимом Парисом, который купил у него авторское право на трагедию «Агава». Характерно, что пантомимов тянуло преимущественно в сторону трагическую. Правда, было и встречное течение — веселого и резвого, сладострастного жанра, имевшее главою вышеупомянутого, также прославленного, танцовщика, красавца Басилла, но общая победа в направлении искусства осталась, все-таки, за школою серьезного и важного танцовщика-психолога Пилада. Соединение таких эпитетов, как танцовщик и психолог, звучит в наши дни несколько менее странно, чем в прошлом веке, но все же работа ног и работа головы плохо вяжутся в представлении современного зрителя. Но на-

до помнить, что слово saltare, танцевать, плясать, имело в Риме совсем не только тот смысл искусных ритмических движений ногами, который влагается в понятие танца теперь: руки и общий ритм тела, мимика и жест значили в римском балете гораздо больше, чем ноги. Танцы пантомимов больше, чем к современному балету, подходили к тому нынешнему сценическому явлению, которое, проходя в драме, определяется, как «большая пауза», «немая сцена». Еще недавно оставить актера немым на сцене было вопиющей театральной вольностью, которую мог испустить только великий талант, и знаменитые паузы Росси, Сальвини, Пассарта, Ермоловой и т.д. были известны наперечет, как труднейшие фокусы искусства. Теперь, благодаря развитию режиссерского искусства, превращающего всю сцену в толкующий действие хор, даже и второстепенный актер не боится более остаться на сцене «без слов», и пишется множество пьес, которых эффекты уже нарочно на то и рассчитаны. Соединение же «немой сцены» с музыкой, введенное Айседорою Дункан, именно возвращает нас смелым

оборотом к искусству древней пантомимы, хотя более греческой, чем римской, так как Айседора Дункан толкует только музыку без слов и одиноко, без участия хора. В полной же точности искусство Пилада воскрешено, судя по рецензиям, рисункам и описаниям, новым оперою-балетом г. Фокина, постановки которого сделались шумным событием театральной Европы 1909—1911 гг., как великое торжество «ритма плоти». Этого вот «ритма плоти» и искала античная пантомима. «Saltare обозначает немую игру человека, который передает жестами идею в то время, как другой выражает ее словами. В этом собственно и была задача пантомима и потому он повсюду обозначается также словом saltator» (Gaston Boissier). Чем детальнее была передача, тем больше нравилась она римской публике. Если хор пел о музыканте, то на пантомиме эти слова отражались жестами, подражающими игре на кифаре или флейте. Если хор упоминает о враче, пантомим изображает человека, который щупает пульс у больного. Второстепенные пантомимы должны были сливать подобную мелочную изобразительность в до-

вольню несносное гримасничанье, в котором можно было удивляться разве лишь технической их подвижности. Но были великие артисты, умевшие влагать в жесты глубокую идею слова, а не внешний лишь смысл его. Известен рассказ Макробия о том, как Пилад остановил пантомима Гиласа, когда тот, чтобы изобразить «великого Агамемнона», стал на цыпочки и постарался показаться выше ростом: — Он у тебя вышел высокий, а не великий! — воскликнул Пилад.

Народ заставил его самого повторить тот же *canticum* и увидал пред собою — человека в глубокой и важной задумчивости, выразившей истинное величие могучего царя... Квинтилиан убеждает ораторов не выносить на форум привычек плохих пантомимов и не подчеркивать жестом каждое слово свое: «Жест должен быть связан с общим смыслом вашей речи, а не с отдельными словами».

И вот является приглашенный пантомим — удостаивает осчастливить! — в дом богача и стоит пред очами хозяйки, матроны, давно уже, с каких-либо игр, благоговеющей пред его именем. Какое ей дело, что Парис

этот — бывший раб? Она видит, что Парис вошел, как царь, сопровождаемый целою свитою, да не каких-либо простых людей, но всадников и сенаторов. Она знает, что муж ее, могучий государственный человек, стоял вчера утром в приемной любимца моды, как простой проситель, и что — за несколько жестов, которыми Парис сегодня, «из любезности и уважения к хозяевам», изобразит обольщение Леды или неистового Геракла, — ему заплачено чуть не целое состояние. Она помнит его величие и царственный успех на сцене. Она встречает его — уже наполовину побежденная и влюбленная. Закон 15 года иногда упрекали в непоследовательности. Как? Публичные представления актеров произвели скандал и беспорядки, и, в наказание актерам, — чем бы приостановить именно эти опасные публичные представления — наоборот, воспрепятствуют их скитания по частным домам? Но римский сенат, создатель до сих пор действующего в правах европейских *rationis scriptae*, проявил и в данном случае обычную свою рассудительность. Мера его, как всегда, практична и целесообразна, если только запрети-

тельная мера, вообще, может быть практична и целесообразна в таком психологическом вопросе, как соприкосновение эстетики и пола. Горьким опытом мужья римские убедились, что десятки пантомимов, которыми жены их любуются в сценическом мираже, из зрительной залы, менее опасны для их семейного счастья, чем один пантомим, проникающий в дом их, свивающий незаметное гнездо у их пенатов. «Они уж слишком бесчинствуют в публичных местах и поселяют разврат в частных домах» — в таких выражениях вносит в 22 году сам Тиберий закон против гистрионов, которых меры 15 года, очевидно, ничуть не усмирили, и теперь пришлось таки их изгнать. Затем, в течение 150 лет, гистрионов то изгоняют, то возвращают, то разрешают им играть публично и запрещают частные спектакли, то, наоборот, дозволяют лишь частные, а публичные прячут под спуд. Чувствуется непрестанная и яркая борьба общественной страстишки с общественным здравым смыслом, в которой «то сей, то оный на бок гнутся»... Насколько римский сенат имел причины к стараниям положить преграду сближе-

нию благородного прекрасного пола с героями сцены и арены, может явиться показателем следующий рассказ Ювенала, взятый, очевидно, прямо из городской хроники. Гиппия, жена сенатора, убежала с гладиатором Сергием в Фарос, на Нил. Сколь ни дурною репутацией пользовалась в Риме страна Лагидов, однако и ее возмутила распущенность римлянки. Она забыла семью, мужа, сестру, родину, плачущих детей, и — саркастически вставляет сатирик — «просто не верится: у нее хватило сил уехать от игр в цирке, от гастролей Париса». Бесправное звание гладиатора было в Риме позорно. Слыть женою гладиатора — еще хуже. Что же — этот Сергей, ради кого принесено столько жертв, юноша? писанный красавец? Вовсе нет. Он уже пожилых лет и принужден брить бороду, чтобы скрыть седину; не владея одною рукою, он имел бы право проситься в отставку за инвалидностью; постоянное ношение шлема набило ему огромную шишку над переносьем; из глаз его, прельстивших Гиппию, сочится гнойная жидкость. Но он — гладиатор, и этого звания довольно: оно превращает уроды в Ги-

ацинта. Авантюрист Нимфидий Сабин, — выдававший себя за сына Цезаря Гая (Калигулы) и, по убиении Нерона, едва не овладевший империей, — в действительности, был сын гладиатора Марциана, которому мать Нимфидия отдалась «ради его известности», не убоившись для того поставить рога самому императору, да еще такому опасному и мстительному, как Калигула. «Железо» было для женщин Рима непреодолимым любовным магнитом: «друзья железа, дети Марса — бойцы и гладиаторы казались им Гиацинтами». А вкус женщины всегда и везде управляет модою на зрелища и их героев. Ревнивые мужья, отцы и братья могут, сколько им угодно, объявлять Мазини устаревшим, Фигнера безголосым, Баттистини слащавым, Собинова — плохим актером, Шаляпина — нахалом. Но — пока дамы, рассудку вопреки, наперекор стихиям, поклоняются этим божкам, они будут получать безумные деньги от антрепренеров и граммофонщиков, эстампные магазины будут торговать их фотографическими портретами в тысячах экземпляров, сувениры от них будут хранимы, как реликвии.

Пусть мужчины ревнуют и бранят, но — по известной пословице — если муж глава, то жена шея: куда захочет, туда и повернет голову. Мы не раз уже говорили о развитии в императорском Риме обычая завещаний в пользу посторонних лиц. Среди последних, сценические деятели занимают не последнее место, и Ювенал объясняет:

Дружбы твои предпишет жена. Старейшего друга

Ты зачеркнешь, хотя вхож он был в дом
твой еще безбородым.

Но, так как сводникам право наследства дано,

Также ланистам и прочим героям арены, —

Не одного из соперников собственных ты,
По наущенью супруги, в духовную впишешь!

Диво ли, что в Риме, при дамском пристрастии к железу, гладиаторов воспевали поэты, а тогдашняя художественная промышленность воспроизводила портреты их и картины гладиаторского боя на перстнях, блюдах, лампах, кубках, кувшинах для столового пи-

тия, флакончиках и т.п...

Женщины первыми бегут на зрелища, «как муравьи», — они же первые двигательницы царящего в зрительных залах возбуждения. Кровь льется с раннего утра: сперва звериная, потом человеческая. Пред глазами римлянки проходит пестрою чредою разнообразие убийства. Животных заставляют грызться между собою в самых причудливых и невероятных комбинациях: выпускают тигра на буйвола, носорога на слона, стравливают леопарда с крокодилом и т.п. А то — уже прямо с целью одурманить публику видом и чадом свежeproливаемой реками крови — бросают голодного льва в стадо беззащитных антилоп, и публика свирепо хохочет, глядя, как арена, в одно мгновение ока, покрывается трупами бедных, грациозных тварей, истребляемых могучими львиными прыжками и ударами. Кто бывал на травле крыс собаками-крысоловками, тот знает, что цивилизованному обществу XX века нечем похвалиться в этом отношении пред обществом века первого. Инстинкт любования зрелищем истребления животных изменился в нас коли-

качественно, измельчав во столько же раз, во сколько крыса меньше антилопы, а собака-крысолов меньше льва, но не качественно. Кровь пьянит и возбуждает жажду к себе, как вино. И — когда уже публика достаточно одичала, на арене появляется, как десерт для кровавого пира, убойный человек.

Сперва он выходит, как противоборец зверю. Мавры охотятся за львом, пиренейские и альпийские горцы, с ножом и рогатиною, принимают на себя дикого медведя, парфянские всадники травят тигра, — и, как ни метки их стрелы, а ни один из них погибнет под когтями могучего животного, прежде чем оно позволит отнять у себя жизнь. Выступает вперед какой-нибудь богатырь — вроде воспетого Марциалом Карпофора, чтобы убить кинжалом, задушить голыми руками или пришибить палицею, в бою один на один, льва или медведя. Пресловутый Урс Сенкевича — не выдумка эффекта ради, но живая римская возможность. Нерон, в ревности своей ко всякому успеху пред публикою, под конец жизни воззавидовал и этому богатырскому единоборству со зверями. Уже выдрессирован

был лев, которого цезарь должен был — одетый в костюм Геркулеса — задушить на глазах всего Рима. Но роковое восстание Виндекса помешало этому интересному опыту, который — по всей вероятности — избавил бы Рим от Нерона без вмешательства Виндекса и Гальбы, так что, пожалуй, и жаль, что он не состоялся. Как ни велико было искусство древних в дрессировке животных, однако, — чтобы лев благосклонно согласился умереть без сопротивления от слабой руки непрофессионального борца, — такому перевоспитанию хищного царя зверей что-то плохо верится. Я не буду утомлять читателя описанием гладиаторского боя, типов и видов его, оружия и способов человеческого взаимоистребления для удовольствия почтеннейшей публики. Все это описано соп аморе сотни раз. Кто хочет познакомиться с технической стороной дела и номенклатурой его, пусть взглянет в известный труд Фридлендера. Кто ищет художественных впечатлений, тех удовлетворит красочный, хотя и условный, Сенкевич. Нам, в данном случае, важен лишь тот психологический момент, — что на арене лю-

ди убивали друг друга, и процесс этот не только не возбуждал сострадания или негодования в десятках тысяч людей же, на такое соревнование в убийстве и смерти глазевших, но, наоборот, волновал толпу азартом почти необъяснимого по нашим современным понятиям сочувствия. Мы имеем дивную характеристику увлекательности гладиаторского боя в рассказах блаженного Августина о товарище его Алипии, которого друзья привели в амфитеатр насильно, так как благонравный христианский юноша был убежденным врагом языческих зрелищ.

— Ладно же, — сказал он насильникам, — коли вы затащили в это поганое место мое тело, я не позволю тут присутствовать душе моей!.. Зажмурился и сидел, не блазнясь зрением. Но вдруг громовой вопль толпы заставил Алипию открыть глаза... И все было кончено для его, столь слабо застрахованной, души: он увидел поверженного гладиатора, льющуюся кровь, блистательный, нарядный, пестрый амфитеатр, толпу, вопящую, рукоплещущую, воющую, с безумными от страсти глазами, неистовых женщин, ошалевших мужчин, и...

не зажмурился уже снова! Людское стадо покорило его, — и мгновением позже, Алипий сам вопил, рукоплескал, выл, держал пари, ругался при проигрыше, посылал ласкательные слова фаворитам. Пьянит кровь, пьянит толпа, — особенно толпа южная, с ее бешеной жестикуляцией, чуткой нервностью, быстрыми сменами настроений, гримасами, яркими взорами, громкими голосами, пестрыми интонациями. Мы не можем создать себе представления о толпе римских зрелищ по нашим театральным залам, — намек на родственное ей возбуждение можно найти теперь лишь в испанских боях быков.

Полдень. Люди голодны. Более благоразумные и спокойные из зрителей идут домой завтракать, но таких далеко не большинство. Приносить с собою закуску считалось не особенно приличным. Август увидал однажды, что какой-то всадник пьет вино в цирке, и сделал ему выговор: «когда мне хочется закусь, я уйду домой!» — Да, хорошо тебе, — был ответ, — ведь твоего-то места, император, никто занять не посмеет! — Развлекают этих неукротимых игролюбцев прямо уже бойнею,

в которой, вдобавок, они любезно приглашаются принять участие. «Те самые, что утром побеждали медведей и львов, в полдень отдаются на растерзание своим зрителям», — говорит Сенека. Он считает полуденные игры верхом свирепости: «все, что до сих пор творилось, было прямо милосердием!» Режут безоружных, не умеющих сражаться, шутов, карликов, уродов. Кажется, женщины не присутствовали при этих кровавых свинствах. Зато они не пропускали ни одной битвы — такого громкого названия, конечно, заслуживали сухопутные и морские увеселительные бои, в которых Рим заставлял сражаться перед народом целые армии обреченных на смерть. В навмахии Клавдия, на Фуцинском озере, дралось будто бы 19.000 человек. Сражались одни преступники, но с храбростью настоящих воинов.

Во втором томе мы уже говорили, что эта навмахия — одно из тех невероятных событий, непостижимая механика которых заставляет скептических критиков Тацита сомневаться, чтобы он описывал факт действительный, а не воображенный по легендам,

слухам и сплетням. Мы несомненно присутствуем здесь при огромном и не рассуждавшем обстоятельстве дела преувеличении. Относительно количества сражавшихся даже далеко не скептический Фридлиндер заметил, что такого количества уголовных преступников нельзя было сбить со всего государства. Число судов, поднявших эту массу людей, Светоний считает всего в 12 трирем, тогда как Дион Кассий — от 39 до 50. Между тем, если в примерном морском бою Фуцинского озера участвовало 19.000 человек, то для них надо было доставить на Фуцинское озеро с моря, по крайней мере, сто трирем, считая по 170 гребцов на каждое судно, и четыре или более квадриемы. Каким путем мог попасть туда этот флот? Место действия — в Марсийских горах, отстоящих от моря на 200 километров дороги по ущельям, которой с трудом пробирается обыкновенная таратайка. Выстроен был на месте? Чего же стоило бы это? И куда потом девать было этот потешный флот? Озерные игрушки такого рода сооружали иногда римляне: тому свидетель — огнеупорные «броненосцы» Калигулы, покоющиеся на

дне озера Неми, близ Рима. Но — одно дело — выстроить постоянную, хотя и плавучую виллу, каприз императора, другое — соорудить целый боевой флот для однодневного праздника. Ведь, по описанию Тацита, это были не маневры, как во времена Юлия Цезаря и Августа в Риме, но настоящий, истребительный бой. Если дрались между собою два морских отряда, каждый численностью 9.500 человек, то — какую же силою заставили их драться, эти две однородные армии, ничего одна против другой не имеющие, кроме повелительной воли ненавистных господ? Со времен Спартака, Рим опасался не только тысяч и сотен, но даже десятков вооруженных рабов. Риму казалось политической опасностью пожарная команда, составленная Эгнатием Руфом из дворни своей. Рим усматривал в вооружении рабов господами политическое преступление, указывающее на стремление к государственному перевороту. А тут их — 19.000, снабженных всеми средствами сражения! В каком же количестве должен был стоять вокруг рабского побоища конвой, понукающий рабов сражаться между собою и гаран-

тирующий публику от опасности, что рабы, чем резать друг друга, не бросятся на своих зрителей? Ведь это же целая мобилизация. «Окружность озера была опоясана плотами, чтобы сражающимся не было возможности для бегства. На плотам стояли манипулы преторианских когорт и взводы конницы, а впереди их укрепления, с которых могли быть пущены в ход катапульты и баллисты». Словом, государю пришлось мобилизовать все пешие, конные, артиллерийские и морские силы, которыми он, по конституции, располагал в Италии. Известно, что открытие не удалось и праздник должен был быть повторен. Вообразимо ли двукратное, на самом коротком расстоянии, напряжение финансовых средств государства на полную мобилизацию сотысячной армии, без которой была бы неосуществима эта потешная война? Тацит, следуя обычным своим путем амплификации за короткими данными других историков, вообразил и поэтически нарисовал грандиозную картину, не позаботившись логически проверить возможность и средства ее осуществления. Плиний просто говорит, что

Клавдий предпринял устройство шлюзного канала (эмиссария) из Фуцинского озера, что эта работа не была окончена, когда Клавдий умер, а преемники ее забросили. По Спартиану, ее возобновил и довел до удачного конца только Адриан.

Нам трудно представить в государстве такое обилие преступников, осужденных на смерть. Да, по всей вероятности, оно, и в самом деле, преувеличено декламационными гиперболами, столь свойственными римским писателям и в восторгах, и в обличении. Но, все-таки, обреченные гибели двуногий стада, были — несомненно — очень велики. Помимо общей суровости римского закона, это убойное человеческое мясо значительно множилось от несовершенства в судопроизводстве, от бесконечно возможных ошибок судебных и, наконец, от непременного желания, «засудить» преступника, с которым принимались за уголовные дела судьи — в особенности провинциальные, беспрестанно тревожимые из столицы требованиями новых и новых жертв для игр. Осужденные сдавались судом на руки устройщику игр или антрепренеру, кото-

рый, от имени и по поручению таких-то и таких-то, распорядительствовал празднеством. Система, сохранившаяся в наши дни в благотворительных спектаклях от разных аристократических обществ: не желая и не умея возиться со сложною организацией спектакля, общества поручают устройство его какому-нибудь актеру, актрисе или даже целому театру, за известную плату, оставляя в свою пользу чистый барыш. О последнем, конечно, римские устроители не могли думать: зрелища были даровые, — но несомненно у них были мастера, умевшие и великолепно блеснуть, и себя не обидеть, и в то же время поберечь карман устроителя, которому, заведуй он играми сам, все обошлось бы гораздо дороже. Получив в свое распоряжение убойное человеческое стадо, антрепренеру, конечно, приходилось составить программу, как им распорядиться, то есть — проще говоря — какими видами пыток и смерти истребить их пред очами толпы?

Публика была избалована, — ей надо было угодить и разнообразием, и новизною. И вот создаются страшные живые картины: юный

Икар летит по воздуху, падает и разбивается оземь, брызгая кровью на одежды цезаря; Геркулес самосожигает себя на горе Эте; Сцевола сжигает руку свою пред царем Порсенною; Милона Кротонского, увязившего руки в расщеп дерева, пожирает лев; медведи съедают распятого на кресте разбойника Лавреола. Какую страшную жестокость надо было иметь для подобной изобретательности! скажет читатель. Да, — хотя, с другой стороны, эта профессиональная утонченность могла отлично уживаться с личным добродушием и даже... чувствительностью! Когда человек живет тем, что должен угождать так или иначе толпе, нравственность его, в круге этих понятий, притупляется с поразительною быстротою. В Риме толпе угождали явлением смерти, в наши дни угождают явлением любви. И посмотрите, как не только подонки нашего зрелищного мира — кафе-шантан и оперетка — но и модные верхушки его — драма Ведекинда, Пшибышевского, Метерлинка, Сологуба — изоцряются, как бы изобразить новые и новые извращения в области этого могучего чувства, еще не испытанные внимающею

публикою. Заботясь - - как развлекать, крайне редко заботятся о том, чтобы не развращать (Lacombe). В Париже существуют целые академии для воспитания шансонетных певиц и куплетистов. «Директора» этих учреждений занимаются как раз тем же ремеслом, что антрепренеры римских игр: как те придумывали «весело умирать» на сотни ладов, так эти измышляют для своих учениц, какую бы новую развратную мерзость подпустить в их репертуар — словом, жестом, гримасою, костюмом и т.д. Вас. Ив. Немирович-Данченко описал подобные академии в одном своем очерке: сказанные «директора» — вовсе не чудовища порока какие-нибудь, а напротив — предпочтенные буржуа, отличные семьяне, в строгости воспитывающие чад своих, и пылкие патриоты, с идеалом, — иметь légion d'honneur в петлице. А припомните очерки Галеви в жизни парижского закулисного мирка, — «Мадам Людовик», например! Или подобные же рассказы Мопассана, Ришара О'Монруа.

Трудно вообразить способ смерти, которого римлянин не видал бы на арене десятки

раз. От ранней юности до поздней старости зрелища учили его, что жизнь — ничто, самый важный миг в ней — смерть, а мужество бестрепетно встретить этот миг — величайшее достоинство и прекраснейшая картина, какую только может представить человек человеку. Мужество умирать и мужество убивать — вот чего требует от зрелищ своих римская публика. Когда гладиатор неохотно идет на меч противника или пронзает товарища, ему свищут за недостаточно яркую картину убийства, — совершенно по тем же побуждениям, как опереточная публика негодует и шикает, когда какая-нибудь «бедная овечка», из робких дебютанток, проявит недостаточно бесстыдства в сцене раздевания. И гладиаторы учились умирать такими бестрепетными молодцами, что даже философы ставили их в образец доблести. Вот описание Цицерона: «Каких страданий не переносят гладиаторы — а, ведь, они люди потерянные или варвары. Постоянно заняты они желанием понравиться своему господину или народу. Покрытые ранами, они спрашивают, не угодно ли мучить их еще как-нибудь; если хозяин до-

волен, то им остается только умереть. Виданное ли дело, чтобы гладиатор, даже посредственный, изменялся в лице, стонал, проявил слабость духа не только в бою, но даже пораженный? чтобы, поверженный на землю и обреченный смерти, он устранил меч от своего горла?». Краткий, энергичный образ Сенеки еще ярче: «Вот он (побежденный гладиатор) сам подставляет горло своему противнику и собственными руками втыкает в себя меч, дрогнувший в руке победителя». Весьма часто встречая у авторов латинских резкие порицания другим римским зрелищам, мы почти не знаем среди них противников гладиаторским боям и, вообще, играм амфитеатра. Наоборот, мягкий, человеколюбивый, сочувливый Плиний Младший ставит Траяну — императору тоже не из кровожадных — в особую заслугу, что он угощал римский народ этими страшными бойнями. «В битвах гладиаторов, — объясняет он, — ничто не будит в человеке слабости и малодушия, в них нет начал, смягчающих и расслабляющих умы; совсем напротив: зрелище это всецело направлено к тому, чтобы возбудить в нас

презрение к смерти и желание почетных ран. Мы убедились, что даже рабы и преступники одушевляются любовью к славе и желанием победы». Презрение к смерти и прямолинейное физическое мужество в убийстве и самоубийстве — силы, которым и мы, после шестнадцати веков официального торжества начал христианских, все же склонны отдавать почтения больше, чем, казалось бы, евангельские проповеди дозволяют. Иначе, впрочем, и быть не может: мужество красиво и мужество необходимо, пока не истребилась на свете война, мечи не перекованы на плуги и все царства не уподобились блаженной стране Ивана-Дурака, описанной Львом Николаевичем Толстым. Но чрезмерные восторги к мужеству, развитие в народе вкусов к физической силе, восхищение равнодушием к жизни своей и ближнего — опасная угроза веку, первый показатель психического заболевания толпы, отражающийся в частном ее быту весьма печальными последствиями. Одно из них — смешение нравственных понятий: бесчувственная холодность, жестокость характера, даже злость принимаются за силу духа, за

которую-де можно извинить человеку какие угодно его недостатки и даже прославлять их, как особые, непонятные простым смертным достоинства, как «сверхчеловечество». На женщин подобные общественные настроения влияют с особенною пагубностью. XIX век принес в своей романтической литературе моду на так называемый демонизм, красною нитью проходящей через все веяния европейской поэзии, начиная с титанических воплей Байрона и кончая себялюбивыми кривляньями декадентов. Любопытно, что оправдание демонического бессердечия, обожествление эгоизма идет у наших поэтов и романистов всегда в соответствии с поклонением телесной силе, ловкости и бесстрашию. Лучший пример тому — Лермонтовский Печорин, первый герой того нравственного озверения, катясь по наклонной плоскости которого высоко-образованный, ученый век наш, полный великих людей и великих открытий, дошел, однако, мало-помалу почти до той же духовной пустоты и самопрезрительного отчаяния, что и первый век христианского летоисчисления в высоко-образованном, ученом, пол-

ном великих людей и великих деяний, городе Рима. Когда женщины видят идеал свой в оперной Кармен или Саломее, а мужчины заучивают наизусть свирепые афоризмы Ницше, — дело плохо. Вглядываясь в течение событий, идей, воззрений и убеждений, иной раз невольно смущаешься мыслью: круговорот веков свершился, и человечество, вновь, медленно, но неуклонно движется к старым вратам языческого мирозерцания.

Страх смерти — христианское начало. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть!» — гласит христианское песнопение. В чудном сонете «Голос из могилы на Аппиевой дороге» итальянский поэт Лоренцо Стеккети прекрасно противопоставляет отношение к смерти сына христианской культуры воззрению язычника-римлянина, говоря от лица последнего: «с улыбкою на устах умирал я — ты умрешь рыдая!.. *tu monai piangente!*» И чем слабее в душе человека христианские надежды, тем теснее сдружается он с царством смерти, где римлянин чувствовал себя своим человеком. Безобразно частые самоубийства из отвращения к жизни и мрачные свирепопо-

сти, омрачившие конец XIX века и первые годы XX, — явления, по бездушию своему стоящие гладиаторства, с его бесплодной энергией, равно готовой и на смерть, и на убийства. И период, в котором совершился ряд этих ужасов, ознаменован явным возрождением любви к смерти, проповедью небытия, и в литературе, и в зрелищах, и в общественных развлечениях: Метерлинк, Л. Андреев, Сологуб, Сергеев-Ценский и др. Когда я впервые узнал о громадном успехе парижского «Кабачка Смерти», ныне уже столь устарелого и опошленного, что никому ненужного, мне живо припомнились несчастья одной заезжей египетской труппы в Рим, которая спаслась от голода лишь тем, что стала представлять тайные царства мертвых по рисункам из пирамид. Да и самая идея «Кабачка Смерти» украдена у Домициана: этот помешанный однажды и впрямь до полусмерти перепугал гостей своих подобным погребальным обедом.

Утрата смысла смерти есть утрата сознания нравственной ответственности в жизни.

— По смерти стал ты вне тревог,
Ты стал загадкою, как Бог,

И вдруг душа твоя,
Как радость, встретила покой,
Какого в жизни нет земной:

Покой небытия! —

говорит Майковский Люций. Людям подобных убеждений — как хорошо двумя словами выражено у Достоевского — «все дозволено». Человек живет страстями, телесным озлоблением. Жизнь его превращается — если он натура аристократическая, тонкая, изящная — в Петрониево самообожание, если он чернь — в грязную «карамазовщину». И так как Петрониев мало, а черни всюду и всегда сколько угодно, то, понятное дело, в обществе, руководимом началом «все дозволено», карамазовщина — количественным и грубым нахрапом своим — торжествующе подавляет аристократическое петрониевство и властно диктует веку свои законы и вкусы. Те, кто утратил смысл смерти, но не потерял страха пред нею, суеверно обращают ее в свое божество, а жизнь — в жертву, на ее алтаре безразлично сожигаемую. Раз итог человеческого существования — смерть, а жизнь — только сон тела, смертью погашаемый, то естественное

стремление спящего тела — разнуздать все похоти и страсти, которые даруют ему приятные сновидения, насладиться своею личностью как можно властнее и полнее, пока не пришла она — всякую личность упраздняющая, всемирная, черная царица Смерть. Ярко вспыхивают две основные зверские черты человека, — вернее, две стороны одной и той же многогранной черты: половое чувство становится инстинктом убийства, разврат начинает выражаться мучительством, обращенным на других, как у маркиза Де Сад и русского Федора Сологуба, или на себя, как у Захера Мазоха. Мы знаем, что в римских амфитеатрах зрелища кровавые сменялись живыми картинами невероятного бесстыдства. Любование половыми экстазами являлось как бы отдыхом от экстазов убийства. Мы уже видели, что Тертуллиан отождествляет театр с храмом Венеры. Театр, для него, «составляет так сказать консисторию бесстыдства, где ничему иному нельзя научиться, как только тому, что повсеместно не одобряется. Величайшая прелесть театра состоит обыкновенно в представлении всякого рода позоров. Позоры сии выводит на

сцену или тосканец похабными своими телодвижениями, или комедиант, переодетый в женскую одежду, своими пантомимами посредством гнусных непристойностей, к которым приучил он тело свое с самого детства, дабы подавать другим пример бесчинства. Сверх того известные бесстыдницы, опозоривающие тело свое перед публикою, не бывают ли на театре тем несноснее, что, показывая в других местах скарედность свою одним мужчинам, тут обнаруживают ее перед другими женщинами, от коих всегда стараются скрываться? Они тут являются перед всем светом, перед людьми всяких лет, звания и достоинства. Публичный крикун провозглашает сих блудниц во услышание тем, которые слишком хорошо их знают. Вот, говорит он, ложа такой-то: чтобы видеть ее, надобно всем пожертвовать, она имеет такие и такие качества... Но пройдем в молчании все подобные гнусности, которые должны бы погребены быть под непроницаемым мраком, дабы не осквернять и света дневного. — О, вы, сенаторы, судии, граждане римские! Покройтесь стыдом и поношением! Сии жалкие твари,

потерявшие всякую стыдливость, по крайней мере, боятся иногда показывать перед народом бесстыдные свои телодвижения, по крайней мере, краснеют хотя однажды в год» (перевод Карнеева).

Но этого мало.

«Театр посвящен не только богине любви, но и богу вина. Два сии демона распутства и пьянства так тесно соединены между собою, что, кажется, сделали как бы заговор против добродетели. Чертог Венерин есть вместе и гостиница Бахусова. В старину некоторые игрища театральные назывались либериями не только потому, что посвящены были Бахусу, подобно как дионизии у греков, но и потому, что Бахус был их учредитель. Оба сии богомерзкие божества председят, как над действиями театра, так и над самым театром, наблюдая и за гнусностью жестов, и за другими развратными телодвижениями, чем наиболее отличаются актеры в комедии. Сии последние в жалком своем ремесле вменяют себе как бы в славу жертвовать своею совестью Венере и Бахусу, представляя или ужасное распутство, или самое грубое сладострастие».

Результатом похотей, распаленных улыбка-ми Венеры и Бахусовыми возлияниями, является зараза общественного бесстыдства.

«Что же из того происходит? Вот что. Кто на улице посовестился бы поднять несколько платье, чтоб исправить свою нужду, тот в цирке становится столь бесстыден, что без всякого зазрения перед всем светом обнажает такие части тела, которые наиболее должен бы скрывать. Кто перед дочерью своею не смел бы произнести ни одного неблагопристойного слова, тот сам ведет ее в комедию, чтоб она слышала самые скверные речи и ви-дела всякого рода неприличные коверканья».

Действительно, самые аляповатые басни мифологии — вроде сожительства Пазифаи с быком — выводились на сцену. Заключительная сцена Апулеева «Золотого осла» тоже весьма красноречива в этом направлении. Вот уж до таких безобразий наши зрелища никогда не дойдут! воскликнет возмущенный читатель. Напрасная самонадеянность. Крафт-Эбинг и Ломброзо разбивают ее своими наблюдениями над психопатами, посещающими задние, секретные залы некоторых

парижских кафе, где, к удовольствию почтеннейшей публики, на специально устроенных эстрадах разыгрываются сцены, совершенно аналогические названным, и даже еще хуже. Кто же зрители этих гнусностей? По преимуществу, наезжая из Европы и Америки богатая «интеллигенция». В том лишь, следовательно, и вся разница с Римом, где женщины и мужчины порядочного круга не позволяли себе оставаться при этих противоестественных спектаклях и, на время их, удалялись из зрительного зала. Таким образом, — что в Риме потешало подонков зловонной Субурры, то в XX веке развлекает сливки общества, собирающегося во «всемирный город» с Broadway-Street'a, Trafalgar-Square'a, Сергиевской, Большой Морской. Но, даже не доходя до таких крайностей, говорящих уже об извращении полового инстинкта, даже в границах обычного зрелищного уровня, театр римский был ужасен и обнаженным действием, и обнаженным словом. При всем распутстве современного европейского фарса, он, сравнительно с комическими действиями, тешившими римский народ, чуть не училище скромности.

Впоследствии подобная «драматическая литература» повторилась лишь в веке Возрождения, когда на прахе побежденных и выродившихся республик плодились богатые дворники просвещенных деспотов, и в конце XVII столетия на английской сцене, когда ликующая политическая контр-революция Стюартов слилась с вызывающею контр-революцией аморальной и задалась целью истребить из памяти британцев даже следы недавнего пуританизма с его суровою библейскою добродетелью. Когда не только богобоязненный современник, как Джерими Колльер, но даже в XIX веке снисходительной и свободомыслящий Маколей пишут о кавалерских комедиях Вичирли и Конгрива, им приходится прибегать к тому же грозному и брезгливому языку, каковой Тертуллиан и Лактанций употребляли против «мимов» Децима Либерия и Публия Сира:

«Со дня вторичного своего открытия, театры сделались рассадниками порока, и зло начало распространяться. Мерзость представлений скоро заставила степенных людей отказаться от посещения театра. Люди же суетные

и развратные, которые продолжали посещать его, с каждым годом требовали более и более сильных пряностей. Таким образом артисты развращали зрителей, а зрители артистов, пока гнусность театральных представлений не достигла такой степени, которая должна удивить всякого» (Маколей).

Мы, русские, еще не имели ни такой сцены, ни такой драматической литературы, если не считать нескольких грязных пародий XVIII и начала XIX века, навеянных в старое московское скоморошество обезьянством блудливых французских нравов эпохи регентства и Людовика XV. Но эти безобразные сальности никогда не дерзали выползать к свету рампы публичного театра и оставались достоянием секретного чтения и — очень редко — интимного представления, да и то в компаниях даже не двусмысленного, но уже так называемого отъявленного поведения, под сильно пьяную руку. Контр-революционная эпоха, которую мы переживаем, по обыкновению, дала известные импульсы в этом, союзном реакции, направлении. Но, к счастью, культура интеллигентного русского слоя оказалась уже

достаточно высокою, чтобы воспротивиться нравственной заразе и не дать ей распространения — по крайней мере — всеобщего и долгого.

Откуда бралась такая страсть к сценическому похабству? Появление Конгривов и Вичирли в Англии Маколей объясняет тем правилом, что «крайняя распущенность — естественное следствие крайней сдержанности, и что за периодом лицемерия, по обыкновенному порядку вещей, следует период бесстыдства». Но Рим не имел периода сдержанности и лицемерия. Что эволюция — в ателлане и миме — шла лишь от бесстыдства наивного к бесстыдству утонченному, от распущенности патриархального мужицкого балагана к распущенности роскошных театров-лупанаров, организованных для пресыщенных и извращенных вельмож актерами из того сословия, имя которого — «libertin» — передалось в романские языки литературным синонимом «распутника», «похабника». Для того, чтобы подобные тошнотворные, театры господствовали в обществе бессменно, мало одних политических причин, хорошо объясняющих пе-

риодические их вторжения и победы над психологией масс. Торжествующая и упорная личность их показывают в их возникновении органическое последствие болезненного процесса, разъедающего и вырождающего поколение за поколением эпидемий — скрытой ли, явной ли — половой неврастении. И, когда мы изучаем семейный и светский быт, эстетика которого, самодовольно отупев, валялась в грязи мимического театра, нельзя не прийти к заключению, что иных запросов и не могло иметь общество, столетиями разбиравшее нервы свои разнообразнейшими отравками неводержности моральной и физической, — общество, над пересозданием которого в цивилизованное дикарство неутомимо работали снизу космополитическое рабство и дешевый, едва оплачиваемый, труд, сверху — демагогическая власть тиранов, вооруженных богатствами всего, завоеванного и ограбленного ими, Средиземного бассейна. Рассмотрим теперь ту бытовую интимность, в которой слагалось и жило это цивилизованное дикарство на том уровне зрелости, готовой к разложению, как застаёт его наш рас-

сказ.

ОБЩЕСТВЕННАЯ НЕВОЗДЕРЖНОСТЬ

I

Для того, чтобы свободнее говорить о бытовом расписании римского дня, полезно будет прежде всего усвоить его часовое деление, которое отличалось от нашего, так как общепотребительный счет времени начинался не от полуночи и полудня, но от солнечного восхода, что делало его разным для лета и зимы. Двадцатичетырехчасовое деление суток применялось только учеными, в научных трудах.

Римская жизнь начиналась рано. Восход солнца давал сигнал вставать с постели. Рабочие, мастеровые, ученые принимались за труд свой с рассветом, так же рано открывалась школа. Аристократия не была исключением. Сон до 4-го или 5-го часа, либо даже до полудня, почитался неприличною распущенностью, странностью, шалопайством, и лишь немногие позволяли себе подобную вольность.

	Летом.	Зимой.
Восход солнца	4 ч. 27 м.	7 ч. 33 м.
Первый час	5 ч. 42 м. 30 с.	8 ч. 17 м. 33 с.
Второй час	6 ч. 58 м.	9 ч. 2 м.
Третий час	8 ч. 13 м. 30 с.	9 ч. 46 м. 30 с.
Четвертый час	9 ч. 29 м.	10 ч. 31 м.
Пятый час	10 ч. 44 м. 30 с.	11 ч. 15 м. 30 с.
Шестой час	12 ч. (полдень).	12 ч. (полдень).
Седьмой час	1 ч. 15 м.	12 ч. 44 м. 30 с.
Восьмой час	2 ч. 31 м.	1 ч. 29 м.
Девятый час	3 ч. 46 м. 30 с.	2 ч. 13 м. 30 с.
Десятый час	5 ч. 2 м.	2 ч. 58 м.
Одиннадцатый час	6 ч. 17 м. 30 с.	3 ч. 42 м. 30 с.
Двенадцатый час	7 ч. 33 м.	4 ч. 27 м.

(По Иделеру и Бильфингеру)

По обычаю, ведомому с незапамятных времен, богатые и знатные люди, прямо с постели, принимали приветственные визиты клиентов: *salutatio*. Обычай этот возник, как видоизмененный пережиток, из древней утренней молитвы и жертвы, которую *paterfamilias* совершал вместе со своими чадами и домо-чадцами, а потом чинил хозяйственный наряд на предстоящий рабочий день, задавал уроки, разбирал дела и нужды своих клиентов, вообще, правил и проверял дом свой. Со временем этот семейный смотр в расширившемся и потерявшем родовые границы обще-

стве выродился в обязанности официальной почтительности, страшно тягостной для клиентов, потому что от визитов к патрону их не избавляли ни суровая зима, ни глубочайшая осенняя грязь, а являться на визиты надо было парадно, в тоге, все равно, что по нашему бы, в мундире или фраке. Толпа поклонников, друзей, знакомых, паразитов наполняла прихожую (vestibulum) вельможи задолго до восхода солнца с первым проблеском зари: иные даже упреждали своим приходом утренних петухов. Большинство клиентов являлось, буквально, лишь затем, чтобы присоединить свое подобострастное: «Ave, domine!... здравствуй, господин!» — к общему хору приветствий, когда, окончив свой туалет, вельможа, также облаченный в тогу, с умащенной и изящно убранной головой, выходил к толпе, жадно ожидавшей своего милостивца и покровителя. Тоскливое и робкое ожидание это превосходно передано на известной картине Бакаловича, изображающей утренний визит клиентов к своему патрону; вероятно, большинство читателей знакомо с этим мастерским произведением, если

не по оригиналу, то по весьма распространенным снимкам. Кто хочет подробно осветить в своем воображении эту любопытную церемонию, рекомендую тем прочитать прекрасный бытовой очерк Н. Благовещенского: «Римские клиенты Домицианова века» — вполне научный, в то же время живой и легкий к чтению, как беллетристика. Приветствия клиентов отнимали у знатного римлянина всего несколько минут: если он находил в среде их лиц, которые в нем нуждались или, наоборот, сами были нужны ему по какому-либо делу, он кончал с ними быстрым разговором в два слова или назначал для беседы другое время. Утренними часами римляне дорожили; многословить было некогда. В конце второго часа или в начале третьего (т. е. около наших восьми летом и девяти зимой), откланявшись посетителям, как бы много их не было, вельможа пеший, в сопровождении избранных клиентов, или в носилках, на плечах своих рабов, спешил на форум, где вершились все житейские дела. Тут или в ближайшем соседстве были скучены биржа, трибунал, курульная кафедра претора, конторы нотариусов и пуб-

личных писцов, меняльные лавки, банки, магазины: весь круговорот жизни общественной и деловой. Завтракать перед уходом из дому было не в обычае. Довольствовались, чтобы не оставлять желудка вовсе пустым на долгий срок, легкою закускою (*jentaculum*) — ломтем хлеба с вином или с медом, горстью фиников, маслин, кусочком сыра. Манеру плотных утренних завтраков Светоний отмечает, как неприличную эксцентричность, лишь у худших императоров века: у Нерона и Домициана. Апулей, рисуя портрет антипатичного ему Руфина, не забыл попрекнуть его привычкой наедаться вплотную ранее принятого обществом часа.

Пробыв на форуме часов до одиннадцати, римлянин возвращался домой и полдничал (*grandium*); опять таки и теперь ели не до пресыщения, но лишь бы дать желудку силы потерпеть до вечера: два-три холодных и горячих блюда, — рыба мясо, зелень, плоды, вино — нынешнее обычное меню южного *granzo*. В образец беспорядочной жизни Нерона и как один из важных против него укоров, Светоний выставляет обыкновение импера-

тора начинать свои обеды с полдня. После завтрака, значит, в седьмом римском часу, около полудня, часок-другой отводился для «сиесты» (*meriditatio*) — ничегонеделания и тихого сна в часы палящего солнца: обычай, свято соблюдаемый в Италии и Сицилии и по сие время. Напрасно было бы думать, — замечает Марквардт, — что этот обычай порожден в эпоху изнеженности. Напротив, он — воспоминание о тех временах, когда полдень прерывал работу римлянина-земледельца необходимым отдыхом, отменить который могли только заседание в сенате либо судебное разбирательство. Вероятно, даже рабы — по крайней мере, у хороших хозяев — пользовались правом сиесты, по обычаю; вольноотпущенным же, когда они работали на патронов (*officia, liberales operae*), полуденный отдых был дан законом. (*Dig. 38, 1, 26*): «Патрон должен позволить, чтобы они отдыхали в полуденное время, в интересах своего здоровья и как свойственно всем порядочным людям». Город словно вымирал — особенно летом. Сонный час полдня стал в народном воззрении таким же таинственным, как час полно-

чи, и столько же боялись его суеверы. На опустелых улицах легко было встретить привидение — «беса полуденного», будущей крестьянской демонологии. В 410 г. по Р. Х. Аларих воспользовался сиестой, чтобы ворваться приступом в крепко уснувший Рим.

В восьмом часу (около половины второго зимою, около половины третьего летом) сиесте конец.

Рим пробуждался. Все спешили к прогулке на Марсово поле. Здесь ждали молодежь игра в мяч, бег взапуски, борьба, фехтование. Люди пожилые, уже бессильные для телесных упражнений, довольствовались тем, что, сняв одежду, грели свои старые кости на солнечном припеке. В девятом часу колокол общественных бань звонил к купанью, и Марсово поле пустело.

Свободное население — и мужчины, и женщины — расходились по обширным общественным и многочисленным частным баням, купальням и термам.

Обычай публичных купаний, столько прославленный, как коренная особенность римского быта, и оставивший следами своими са-

мые величественные, после театров, развалины римского строительства, — не слишком раннего происхождения. Еще в эпоху Сципиона Африканского римлянин довольствуется тем, что умывается ежедневно поутру и раз в неделю купается в домашней неприхотливой ванне (*lavatrina*). Немногочисленные публичные бани содержатся или городом, сдающим их в аренду откупщикам, или частными предпринимателями, взимающими с посетителей плату за мытье (*balneaticum*). Потребность в банях росла из поколения в поколение и наконец выросла в запрос чуть не религиозный. Мы видели, что считалось богоугодным делом и гражданским подвигом выстроить театр, цирк, арену, либо завещать известную сумму на игры и зрелища. Совершенно таким же благочестивым и высокопорядочным актом щедрости почитали, как императоры, так и частные лица с капиталами, облегчать народу доступ в бани. Открыть для народа на день, на неделю, на известный срок, а то и навсегда, бани задаром или по уменьшенной цене заботились многие жертвователи завещатели-патриоты. Золотой век бань наступил

с империей. Уже Агриппа, — этот барон Осман античного Рима, как называет его Ренан, — довел число бань (balnea) до 952: значит, их было не менее трех в каждом из 265 кварталов города (vici). Сверх того он усердно прививал и Риму, и Италии, и провинциям «термы»: громадные купальные заведения, подражательно усовершенствовавшие греческие палестры, — соединение бань с массажным институтом, гимнастическим залом, а впоследствии с ресторанами, спортивными клубами, модным базаром, игрою в шары (sphaeristerium), ареной для борьбы и т. п. Из бесчисленных терм, уцелевших от древности иногда в довольно сохранном виде, знаменитейшие в Риме — термы Каракаллы и термы Диоклетиана, а также Агриппы, Тита, Траяна и на вилле Адриана, близ Тиволи. Из италийских — публичные Помпейские (эпохи Нерона), а в провинции — частные маленькие термы, эпохи Константина Великого, в Caerwent, в Англии, открытые в 1855 году. Два последние примера Марквардт рекомендует как типические.

Я не имею возможности подробно остано-

виться на описании устройства римских бань и пользования ими в Риме. Любопытствующих направляю к Фридлиндеру или Марквардту. Из вышесказанного соединения, — что термы были сразу банею, купальнею, массажным заведением, гимнастическим залом, спортивным клубом и разговорным салоном, — ясно, что римлянин имел возможность провести в них два-три часа с пользою и удовольствием, как ему велели здоровье и общественность, но также иногда и — распутство. Потому что, если в старые республиканские времена женщинам считалось неприличным посещать публичные бани, то уже в женском поколении, современном Юлию Цезарю, суровый предрассудок этот поколебался. О том, что мать Августа, Ация, должна была, вследствие появившегося на ее теле лишая, отказаться от посещения публичных бань, Светоний говорит как об известном лишении и без всякого осуждения. Когда же термы приняли столь разнообразный характер — места купального, лечебного и увеселительного — они сделались таким же центром сборища для обоих полов, как курзалы на со-

временных минеральных водах. Обычай совместного мытья мужчин и женщин держался очень долго и упорно, хотя на женщин, позволявших себе такую вольность, в обществе смотрели дурно. «Верный знак прелюбодеянки, — замечает Квинтилиан, — если женщина моется вместе с мужчинами!». Тем не менее, пройдя законодательные запреты при Адриане, М. Аврелии, Александре Севере, *mixta balnea* благополучно пережили язычество и столь лениво удалялись, гонимые новою этикою, из христианской империи, что еще в 692 г. Константинопольский собор должен был воевать с соблазнами совместных бань, причем воспрещение понадобилось не только для светских христиан, но и для священников, клириков и монахов. Но, в крайности совместного мытья, конечно, впадали из женского пола только потерянные, отчаянные головы, особы, потерявшие репутацию, забросившие, как говорится, чепчик за мельницу. Гораздо более было число таких, для которых роскошные залы бань, с их разнообразными развлечениями, служили местом любовных свиданий, флирта, новых знакомств,

как это теперь бывает в курзальных галереях Кисловодска или Карлсбада, посещаемых здорово публикою едва ли не в большей мере, чем больными, — ради веселого общества, забав, музыки и флирта. Овидий сохранил память об этих игривых романах в банных *salles d'attente*.

По выходе из терм, начинали подумывать, не пора ли покушать как следует, и, наконец, наступал обед (*сена*) — единственная серьезная еда за весь день. Самое слово (*сена*) отвечает за себя своим лаконическим красноречием: в прямом переводе, это не обед, не ужин, но просто «пища», «еда», основное блюдо, *plat du jour*, которое в старину было и единственным. Старое значение сохранилось в языке настолько, что если ужин (*сена*) заключал несколько блюд, то каждое из них называлось *сена*: *prima сена*, *seconda сена*, *tertia сена* и т. д.

По всей вероятности, после гимнастики, купанья, сиесты, долгого воздержания, римлянин шел к столу, одержимый жаждою еще больше, чем голодом. Всякий знает, что когда хорошо проголодаешься, желудок, получив,

наконец, работу, неестественно ускоряет кровообращение, придает ему неправильную энергию; вас, что называется, — «еда забирает». Человек набрасывается на пищу, объедается, «соловеет» и сидит, одурев от тяжести в желудке, прилива крови в голове, — и так далее, до апоплексии включительно. Римляне, по неудачно установленному ими порядку питания, были, без сомнения, очень подвержены неприятным сюрпризам этого рода.

Из чтения латинских авторов выносишь такое впечатление, что римлянин не любил обедать в обществе своей жены и детей и оставался с ними лишь по необходимости, за неимением ничего лучшего. Гастон Буассье видит в этом греческое влияние. У греков был обычай открыто разделять жизнь на две части: та, которая проводилась дома, была самая короткая и самая скучная; оставаться дома никому не нравилось: там не с кем было поговорить с удовольствием. «У нас, — совершенно просто говорит Демосфен, — есть друзья для удовольствий, а жены для того, чтобы рожать нам детей и вести порядок в доме». В соответствии этому, мы видим, как в обеден-

ный час — по нашим понятиям, в самый торжественный момент семейного дня, символически объединяющий отца, жену и детей в «фамилию» у домашнего очага, — императорский Рим изыскивает все средства, чтобы избавиться от такого объединения. С одной стороны, люди богатые ищут на форуме и в банях, кого бы пригласить к обеду, а люди бедные, но из хорошего общества, набиваются, с другой стороны, кто бы их пригласил. Столь постоянное согласие спроса и предложения даровых обедов, разумеется, вело обе стороны к желанному ими результату — к большой обеденной компании. Можно думать, что в богатом классе, случай пообедать среди своих, без посторонних лиц, выпадал на долю отцов семейства довольно редко. Есть ли хоть кто-нибудь, — восклицал Сократ, обращаясь к афинянину Периклова века, — с кем бы ты меньше говорил, чем со своею женою? Общественный строй римского «света» достиг уровня афинской утонченности лишь к последним годам республики и к первым — цезаризма; так что замечание великого мудреца, прожив на свете четыреста лет, вполне со-

хранило свою современность и приложимость, только перенесло их на другой полуостров.

Дело в том, что, оставаясь на домашний обед, римлянин, вместе с тем, осуждал себя и на скучнейший, решительно ничем не занятый вечер. Мы, люди XX века, не чуждаемся продолжать вечером свои обычные дела; у римлян всякое серьезное занятие прекращалось вместе с колокольным призывом в бани; правило — соблюдаемое опять таки с почти религиозной точностью. После десятого часа, т. е. четырех часов вечера, не дозволялось представлять никакого дела в присутственные места; в частном же быту, римлянин, храня свой покой душевный, не давал себе труда даже читать письма, если они приходили позже указанного часа. Мы, по вечерам, выезжаем, гуляем с семьей или друзьями;

в Риме, после сумерек, выезжали лишь по крайней необходимости, а вечерних прогулок не было и в помине. Чтобы искать ночных приключений, попок и скандалов, Нерону с Отоном, Сенеционом и Петронием, приходилось уходить из города в предместья и погру-

жаться в подонки общества, скитаясь по кабакам и публичным домам для матросов, солдат, бандитов и гладиаторов. Нам помогает убивать послеобеденное время театр. В Риме спектакли давались по утрам и лишь в известные дни и сроки. Не существовало ничего похожего на наши балы и музыкальные вечера, ни клубов, ни кружков, ни кафе; единственно возможным общественным употреблением вечернего времени оставался обед. В весьма естественной последовательности подобного распорядка, римляне устроились поэтому таким образом, чтобы обедать весь вечер. Сена кончалась довольно быстро, но переходила в пирушку *commissatio*. Этому содействовало и физическое самочувствие римлян к обеденному времени: они являлись к столу слегка разморенные, в состоянии некоторой истомы телесной, — неизбежное следствие ежедневных бань. Нам надоело бы лежать за едою в растяжку целыми часами, но им, разбитым банею, казалось очень приятным, как кажется это приятным жителям Тифлиса или Стамбула, посещающим чудесные бани свои не столько ради опрятности и здо-

ровья, сколько ради удовольствия есть в них шашлыки, запивая кахетинским вином. Обед тем легче занимал время, посвящаемое в нашем обществе балам, концертам, спектаклям, что, в сущности, он всему этому уделял понемножку. Даже самый скромный дом, принимая гостя, угощал его музыкою; как бы ни был беден хозяин, нельзя было обойтись, не пригласив хотя бы одного флейтчика. В богатых домах флейтистам (*tibicines*) счета не было, к ним присоединялись кифариста, певцы, певицы, хоры: обед обращался в настоящий концерт, столь пестрый, что гости начинали даже скучать от обилия вокальных и инструментальных наслаждений. «Лучший пир, — говорит Марциал, — тот, на котором не слышишь оглушительной музыки». Но в то же время римский обед был и балом, или, говоря точнее — балетом, ибо, хотя случалось иногда, что гости покидали свои ложа, чтобы излить свое веселое настроение духа бурными плясками, но вряд ли подобные танцы были обычны и приняты в хорошем обществе. Вакхические скакания Мессалины на свадебном пиру ее с Силием отмечены Тацитом как верх

непристойности. Даже знаменитая горацянская ода «Nunc est bibendum: nunc est pulsanda libera pede tellus», как будто приглашающая к пляске, говорит о ней шутливо, как о деле, которое, собственно, не пристало порядочному человеку, — ну, да уж куда ни шло! ради Августова торжества, Гораций так разошелся, что и море ему по колено, — и, так и быть, можно поплясать в кои-то веки. «Почти никто, — говорит Цицерон, — не станет плясать в трезвом виде». Более приличным и свойственным хорошему тону считалось смотреть пляски наемных танцовщиц. Обыкновенно этим ремеслом занимались испанки, женщины из Кадикса; они исполняли, под бряканье кастаньет, весьма выразительные качучи и фанданго.

Знакомство с модными мелодиями испанских танцев Марциал считает непременно условием для римского дэнди. С испанками соперничали танцовщицы азиатские и египетские альмэи. Каждый сколько-нибудь богатый дом имел среди своей дворовой челяди рабов, которые были в состоянии более или менее сносно сыграть мимическую пьесу, ате-

лану, или даже пантомиму. Этих домашних артистов призывали показать перед гостями образчики их искусства. В больших домах предлагалось застольникам кое-что получше. Совершенно так же, как теперь оперные примадонны приглашаются петь на вечерах большого света, так и тогда известные актеры, мимы и пантомимы, любимцы театральной публики, не отказывались являться и в частные дома, чтобы, во время обеда, прочитывать монолог или исполнить часть какой-либо своей роли, но за такой высоко-изящный и ценный дивертисмент приходилось платить втридорога (см. предыдущую главу). Плутарх добавляет к удовольствиям пиров платонические диалоги профессиональных философов, которые также, подобно Эпиктету, легко могли быть из рабов, и состязания художников; последние хвастались перед гостями своим мастерством, лепя фигуры и фигурки из хлеба, воска, песку, глины и т.п.

Некоторые хозяева простирали свою любезность до того, что доставляли гостям зрелище маленького боя гладиаторов. Сомнительно, чтобы эти виртуозы драки сражались

в застольных боях с теми же грозными последствиями, как на арене, перед публикой всего Рима. Но, все-таки, они наносили и получали раны и, говорят, иногда брызги их крови смешивались с вином в чашах зрителей.

Мы, люди XX века, собирая гостей к обеду, подаем им небольшое количество вкусных блюд, поим их тонкими винами, разговаривая, между едою и питьем, о том, о сем — обо всем понемногу. За столом сидят часа два, — самое большее, — потом переходят в гостиную продолжать начатые разговоры или послушать музыку.

Римский обычай, — примешивать дивертисмент к обеду вместо того, чтобы угощать им после, как это делается в наше время, — отражался на трезвости застольников самыми плачевными последствиями. Нельзя растянуть обеда на весь вечер, не составив его из большого количества перемен и блюд. Слушая пение, созерцая пляску, переставали, может быть, есть, но не переставали пить. Лучший пример тому — современные кафешантаны, где кухня почти не торгует, зато бу-

фет — главная доходная статья. Сладострастный танец, двусмысленная шансонетка — постоянные спутники и подстрекатели питья. Возможно ли, чтобы подобное наливание себя пьяными напитками изо дня в день, по нескольку часов сряду ежедневно, проходило человеку даром, — без вреда для здоровья?

Председательствовал за столом не хозяин дома, как водится у нас. На роль председателя гости тянули жребий. Избранник судьбы принимал титул царя пиршества (*Rex convivii, arbiter bibendi*). Он раздавал гостям венки из роз, а самый большой из них надевал на свою голову: «Поспешим пользоваться жизнью! — восклицал он, — смерть близится, украсимся цветами прежде отхода к Плутону!» Ему предоставлялись права: по возможности направлять общую беседу, предлагать здравницы, а в особенности предписывать, на каждый тост, число обязательных кубков. Нечто — вроде тамады или тулумбаша современных пирушек у грузин и армян Закавказья. Вот где, воистину, уместно вспомнить, что для римлян слова: царь и тиран были синонимами (*Lacombe*). Эти цари пира, как ка-

жется, весьма злоупотребляли своими полномочиями. Образец — Нерон. В качестве царя пира он назначил сводному брату своему Британику петь во время обеда для удовольствия гостей: оскорбление, равнявшее принца с рабами и наемниками. Британик не посмел отказаться, но спетою поэмою и заключенными в ней намеками на свое горькое положение так растрогал слушателей, что Нерон был сам не рад своей выдумке. Британику же выходка его стоила жизни.

Если в цари попадал питух, крепкий на голову, — качество, чтимое в Риме весьма высоко, доставлявшее многим почет и уважение: им хвастались, о нем спорили, — он старался щегольнуть своим талантом пьянства в полном блеске и, шутки ради, спаивал вокруг своего непобедимого величества всех своих, более слабых на голову, подданных до мертвецкого состояния. Если же царь, наоборот, был на выпивку плох, но не особенно стоял за свою трезвость, то — вместе с другими — он ставил на карту и свою голову. Царей такого покроя было множество. Люди с двусмысленным настроением ума, охотники до пикантных

шуток, они напаивали компанию, чтобы развязать языки без удержа. Этот скверный обычай находил поддержку в другом. В течение обеда провозглашалось известное число обязательных здравниц, раз навсегда определенных в постоянной последовательности: сперва за императора, потом за хозяина дома, за знатнейших гостей, за хорошеньких женщин. Выпить здравицу называлось опорожнить столько кубков, сколько букв было в имени лица, за которое шел тост. Правда, объем за здравного кубка был не велик: в один циат (cyathus) = $1/25$ литра. Однако, когда, например, правящего императора звали Vespasianus, то одиннадцать циатов, следующих на тост по положению, составляли уже почти $1/2$ литра и закладывали солидный фундамент для дальнейшего пьянства.

Женщины, — это факт, подтверждаемый писателями, — помогали царю пира напаивать мужчин. Их побуждали к тому разные интересы; во-первых — любопытство: мало ли каких секретов не срывается с языка у выпившего человека! А застенчивому влюбленному вино придавало мужество открыть тай-

ну своего сердца. Римлянки, даже вполне порядочные, не брезговали вольными разговорами. Мужское пьянство было им на руку и в этом отношении. Люди навеселе всегда далеко заходят. А между тем — можно ли обращать внимание на пьяного? Ведь его не образумишь. Так и сидели красавицы, — с видом, будто поневоле терпят распущенность пьяных языков, против которой, на самом деле, ровно ничего не имели, — больше того: которую никогда не променяли бы на другой разговор. Иногда их подталкивал мотив еще менее невинный: старались избавиться от стеснительного наблюдателя, от ревнивого мужа. Очень часто женщины, приказав подать большие чаши (crater), сами делали в них смесь вина с водою; слегка пригубив напиток, составленный в крепости, какая казалась им достаточною для их коварной цели, они пускали эти чаши в оборот по рукам. Всякий старался схватить чашу первым, чтобы приложиться губами как раз к месту, где оставил следок ротик красавицы. Ничто не мешало даме, задумавшей спить общество, повторять свою проделку в течение обеда, сколько

угодно раз, пока честная братья не упьется ее
крюшоном буквально до положения риз.

Вспомним, что мы в Италии. Количество
вина, способное лишь подкрепить человека
в умеренном климате, здесь туманит мозги.
Мы имеем дело с винами весьма большой
крепости; их нельзя пить безнаказанно без
значительной примеси воды. Действительно,
в начале пира их еще разбавляют, но ма-
ло-помалу, с течением обеда, примесь воды
все сокращается и сокращается. Бахус являет-
ся к друзьям своим все в более и более чистом
виде. Если мы примем в соображение, что
среди гостей есть несколько заинтересован-
ных в том, чтобы подпоить других, результат
будет понятен; две-три чаши преднамеренно
крепкой разбавки — и вся толпа пьяна до бес-
чувствия. Несомненно, что у римлян и в ре-
чах, и жестах было более свободы, чем у нас.
Это были южане, при том же южане перво-
бытные, по которым еще не прошла като-
лическая дисциплина. К тому же, надо пом-
нить, что в обеде видели счастливую пору
дня, когда человек волен распуститься в пол-
ное свое удовольствие; это время отдыха, бес-

печная полоса, из которой должны быть изгнаны всякая деловая забота и почти всякое нравственное стеснение. Обед в обороте дня имел то же значение, что сатурналии в годовом обороте (Lacombe). Сверх того, и лежачее положение давало больше свободы, чем наше — сидячее; оно способствовало развитию фамильярности. Почти все южане болтуны, спорщики, эффектеры и хвастуны; Рим считал множество мастеров по этой части. «Огонек», страсть к общительности, разнузданная откровенность, яркая образность выражений, энергическая жестикуляция, помощью которой характеризуют и лиц, и события, — вот особенности, имевшие в римской среде изумительно широкое распространение. По единоголосному утверждению Овидия, Петрония, Лукана, с половины обеда разговоры становились чрезвычайно шумны. Многие говорили, не слушая других — впрочем, и их тоже не слушали. Другие зарывались в спорах до вздорного крика. Иные пели, иные декламировали стихи. Иногда кто-либо из гостей, будучи уже совсем готовым, покидал свое ложе, чтобы посреди залы попробовать отличиться

в каком-нибудь танцевальном па. Так, например, консуляр Планк, видный государственный человек, плясал на обеде у знаменитой царицы Клеопатры танец морского бога Главка, причем даже выкрасил тело в синий цвет, приделал себе рыбий хвост и надел на голову венок из тростника. Уже от одной беспутной трескотни этой можно было опьянеть без помощи вина: судите же, что получалось при его содействии.

Представим себе хорошенько условия и обстановку места действия. Античная столовая не велика. Правда, гостей в общем счете, обыкновенно, немного: шесть, семь, много девять — никогда не более числа Муз, требует римская пословица, никогда не менее числа Граций; зато рабов, услуживающих за обедом, шутов, певцов, танцовщиков, мимов — впятеро больше. Здесь довольно человеческих дыханий, чтобы отравить воздух комнаты — довольно узкой, с дурной вентиляцией, без прямого сообщения с улицей, но окнами и дверями на галерею, опоясывающую внутренний двор: каменную площадку между высоких каменных стен, в знойные дни — настоящую ду-

ховую печь. Предоставьте себе комнату, атмосфера которой питается сообщением с духовой печью; вообразите себе ее температуру в жаркий летний вечер. Множество ламп, без стекол, горящих в этой атмосфере, прибавляют к ней свою копоть; чтобы придать испарениям их приятный запах, к маслу примешивали душистые вещества, но тем не уничтожали его одуряющей силы, а, может быть, наоборот, делали ее еще более опьянительной. Впрочем, одуряющие ароматы льются отовсюду: головы гостей блестят от благовонных умащений; духами — настоем железняка и мяты — полит разноцветный песок на полу залы; даже вина — и к тем примешаны духи.

После целого дня относительного воздержания, ходьбы, телесных упражнений, горячей ванны — гости протянулись на ложах — с легким подъемом головы и груди, опершись на локоть левой руки. Время от времени, чтобы дать отдых усталому локтю, они простираются навзничь или ничком. Лежа, человеку трудное бороться со сном, чем во всяком другом положении. Римляне оставались за столом до тех пор, пока время не указывало, что

пора в постель на ночной покой; а иногда засиживались или, вернее сказать, залеживались даже позже обычного часа. Развалясь на ложах, усталые, с тяжелыми мозгами, наполовину отупевшими от позыва ко сну, они были не в состоянии энергично сопротивляться приливу опьянения, которое мало-помалу их одолевало.

На наш современный взгляд, напиться — значит уронить свое человеческое достоинство. Римляне, в большинстве, не считали пьянства унижительным пороком. Во все эпохи римской истории можно указать лиц, облеченных высшими должностями в государстве, но при всем том — прославленных питухов. Даже знаменитости, жизнь которых впоследствии удостаивалась попасть на страницы Плутарха, не отказывали себе в частой выпивке. Таков, например, Катон. Этот примерный римлянин, образец античной добродетели, далеко не был врагом бутылки и, как со своим приятельским кружком в столице, так и в деревне, с соседями по имению, сиживал за столом охотно и долго. А так как его многообразная опытность и бойкое остроумие дела-

ли его любимцем общества, то он не пренебрегал, кроме того, ни костями, ни кубком; сообщил даже в своем сельскохозяйственном сочинении, между другими рецептами, одно испытанное домашнее средство на случай чересчур сытного обеда и слишком крепкой выпивки; другой рецепт его, имевший широкую популярность, учил, как придавать обыкновенному туземному вину — посредством рассола — вкус настоящего коанского.

Итак, пьянство не позорило. Общепринятость и общераспространенность его легко доказывается именно тем уже обстоятельством, что мы не слышим слова осуждения ему из уст античной морали. Голосов, протестующих против пьянства, довольно, но протесты направлены на него не как на грех против нравственности, а просто как привычку, вредную в физическом и небезопасную в общественном отношении. Не считая пьянства за стыд, римляне все же побаивались опьянения. Они видели в нем род быстро проходящего безумия, лучше сказать — острый припадок бешенства: пьяный — что одержимый. Вино отдавало пьющего в руки коварного бо-

га, который, по свидетельству легенд и истории, толкал свои жертвы на множество глупостей и преступлений. Но, даже не заходя так далеко, не подвергал ли себя пьющий человек опасности обидеть кого-либо из своих могущественных собутыльников, выдать важную тайну, провратся непростительной остротой? Нерон и Калигула имели повсюду наемных шпионов или добровольцев сыска; при них надо было очень следить за своим языком. Эта боязнь пьяной болтливости нашла точное отражение у Плиния Старшего. Пересчитав несколько исторических преступлений, совершенных под влиянием винных паров, Плиний приписывает вину значительную роль и в ряду современных ему злодейств и несчастий. «Каждый день, — говорит он, — подпитие разверзает тайники человеческих замыслов. Одни разбалтывают свои завещания, другие держат опасные речи, усыпают их словами, каждое из которых может стоить оратору головы его (*mortífera loquuntur*). Сколько людей погибло таким путем?» Словом, в конце концов, пьянеть не безопасно. С другой стороны, не пьянеть — по

условиям обеда — дело весьма трудное. Как же быть? Что выбрать? Вовсе отказаться от обедов? Но в Риме нет общественных собраний — для какого-либо иного развлечения; следовательно, такой отказ равносителен решению совершенно удалиться от света и сидеть взаперти у себя дома. На столь крайнюю меру посягает лишь весьма немногочисленная группа суровых нелюдимов, очень осторожных политиканов, мудрецов и философов некоторых сект; так поступает Цицерон, так делает Сенека. Но подражать им позволительно не всем и каждому. *Quod licet Jovi, non licet bovi*, говорит римская пословица. Да и не только «непозволительно», а порой раз и прямо «недозволено». При императорах-деспотах любовь к уединению, удаление от общества навлекали опасные подозрения. Но и помимо того, нелюдимам приходилось терпеть много досадных неприятностей. Их поведение производило шум, скандализировало общество; удалиться от света было легче, чем, раскаявшись в том, к нему вернуться. Когда Цицерон, после подобного отшельничества, вздумал снова вести некоторое время светскую жизнь

и стал бывать на обедах, он счел долгом оправдаться перед друзьями в своем недавнем от них отчуждении. Нерон, Калигула ненавидели нелюдимов, потому что не понимали их. «Что хочет он сказать своим странным поведением? — спрашивали себя подозрительные владыки, — зачем он так живет? Чтобы привлечь на себя внимание толпы? У него на уме что-нибудь недоброе. Во всяком случае, он является каким-то пассивным цензором наших нравов; это недовольный — смерть ему!» Риск был велик. Что же оставалось делать? Найти средства, которые позволяли бы посещать общество, пить вровень со всеми и, по возможности, не пьянеть. Средства эти общеизвестны. В половине обеда римлянин вставал из-за стола и удалялся в другой покой, чтобы облегчить себя рвотою. Еще более употребительной мерой предохранения было — выпивать между баней и обедом, натошак, добрую порцию вина и затем извергать его нарочно вызванной тошнотой; по троекратном повторении такого приема, римлянин считал себя основательно подготовленным к долгому и беспощадному бою с

Бахусом. Либо, отправляясь на обед, выпивали предварительно стаканчик оливкового масла.

Неприятные средства эти потомство приписало ненасытности римских утроб, какому-то свирепому желанию есть и пить до бесконечности, во что бы то ни стало. Правда, так судили и некоторые современные моралисты. Но это уже манера всех моралистов объяснять явления таким образом, чтобы им, во исполнение своей общественной роли, было за что читать мораль свету и выразить свое целомудренное негодование (Lacombe). Сверх того, людям свойственно — часто совершенно ошибочно — принимать конечный результат действия за причину и цель его. Человек ест, пьет, затем вызывает у себя рвоту и, облегченный, снова садится есть и пить. Не ясно ли, что затем он и вызывал рвоту, чтобы получить новую возможность к обжорству и пьянству? Однако, эта наглядная ясность ошибочна и не должна быть принята за главный мотив факта. За это говорят два важных указания. Первое: дамы самого высшего круга прибежали к описанной предохранительной

тренировке, наравне с мужчинами. Если это делалось с исключительной целью пить и есть через меру, то мы присутствуем при явлении, единственном в своем роде, во всей истории. Ни в какую другую эпоху вы не найдете подобных appetitов у женщин соответствующего класса.

Затем: средства обеденной тренировки были противны, давались болезненно и трудно, по крайней мере, вначале. Отдавать себя на непосредственное страдание в предвкушении будущего наслаждения — это уж сластолюбие как-то совсем через край; оно не согласно с натурой человеческой. Зачем, наконец, искать объяснений далеких и гадательных, за пределами вероятного, когда под рукою есть прямое и вполне достаточное? Люди хотели бывать в свете, пользоваться его благами и удовольствиями, но не рисковать опасным опьянением, к которому, почти неизбежно, вела вся коварная обстановка римских пиров.

Конечно, в семье не без уроды, и нельзя отрицать, что иные и впрямь опустошали свой желудок лишь с целью вновь и вновь набивать его яствами и питьями, но такие господа

были не правилом, а исключениями. Большинство же искало лишь средства сохранить голову в свежести.

II

Лукиан рисует нам картину обеда у человека образованного, друга наук, искусств и философии. Такому хозяину, подобному празднику философы не могут отказать в своем присутствии. И в самом деле, все приглашенные секты прислали на этот обед своих представителей. Следует, однако, предупредить читателей, что Лукиан, в противоположность своему герою, ненавидит философов, за исключением, пожалуй, одних эпикурейцев. Этюд его именно с тем и написан, чтобы подорвать кредит философии. Следовательно, философов мы встречаем здесь в карикатурах, что, конечно, еще не значит — в неверных красках. Лукиан слишком умный и изящный артист, чтобы впасть в неправдоподобную клевету. Впрочем, и без него нам осталось довольно свидетельств в доказательство, что философская мантия красовалась часто на совсем не философских и комических фигурах.

Все, что сейчас в подробной сатирической карикатуре расскажет нам Лукиан, уже заключалось скромно и сжато в лаконическом, но красноречивом намеке Тацита о пирах Нерона: «Он уделял также время и учителям мудрости после хорошего обеда, и притом для того, чтобы наслаждаться спором лиц, утверждающих противоположное. При этом были между ними такие, которые с своей серьезной речью и лицом охотно видели себя в числе предметов царских развлечений».

Вот философы Лукиана входят в пиршественную залу, где пронюхали хороший обед, — на это чутья у них куда больше, чем на порок. Они приветствуют амфитриона. Так как им свойственно становиться, судя по обстоятельствам, либо бесстыдными льстецами, либо дерзкими цензорами, если лесть их не хорошо оплачивается, — то, вслед за приветствием, они оскорбляют хозяина, укоряют его за то, что у него есть любовница, журят за роскошь и невоздержность. Лишь только они заметили друг друга, как уже меняются косыми взглядами бешеной ревности. Когда пришла пора занимать ложа, между учеными му-

жами тотчас же разгорелась ссора за почетные места. Иные делают вид, будто хотят уйти, однако не уходят и ограничиваются в выражении своего недовольствия тем, что, взбираясь на ложа, глухо бормочут себе под нос. Они капризничают, жалуются, что им плохо служат, рассуждают вкривь и вкось, с жадностью припав к тарелкам — «точно отыскивают на них добродетель». Пир в разгаре. Чаши ходят в круговую. Вино производит свое обычное действие: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке; и вот, между философами начинается обмен колкостями. Чем пьянее компания, тем вздорнее становится спор, летят оскорбления и ругательства, дело доходит до рукопашной. Безобразию пьяных скандалистов-философов Лукиан старательно противопоставляет безупречное поведение и умеренность обыкновенных гостей из светского общества. Памятуя антипатии художника и затаенные его цели, можно думать, что он, не погрешив против истины в описании опьяневшего пира, не согласовался с нею, когда разбил компанию на две половины — вдребезги пьяную и, словно напоказ, трезвую.

И философы не были столь безобразными илотами, и светские люди столь воздержными спартанцами, как рисует Лукиан. Краски наложены слишком густо на обе стороны. Обращаясь за справками по этому поводу к чистой, не сатирической поэзии, мы находим у Овидия следующий совет холостой молодежи Рима: «Когда ты будешь на пиру, — поучает он, — и случится тебе возлежать рядом с женщиной на одном ложе, молись Бахусу, чтобы вино не отуманило твоего рассудка. Благодаря трезвой памяти, ты получишь возможность сделать понятными своей соседке тайные желания твои — и в беседе, и иначе, так как есть много способов переговорить о своем чувстве и без слов. Вот тебе мера, как уследить за собою в подпитии.

Твой рассудок должен оставаться в равновесии с твоими ногами: пусть они всегда будут в состоянии исполнять свое природное назначение. Больше всего берегись ссор, разжигаемых вином, и не будь слишком скор и дерзок на руку». Таким образом, повидимому, не одни философы имели обыкновение обмениваться тумаклами *inter rosula*. Овидиево

«молись Бахусу» — не шутка, но серьезное, убежденное приглашение. Кто пьет вино, с первого же глотка впадает во власть этого бога, и, чтобы остаться трезвым, сохранить хладнокровие, мало самому желать этого, — надо, чтобы и Бахус пожелал, надо заслужить его благосклонность.

Дальнейшие советы Овидия еще более характерны. «Действительное опьянение повредит тебе, — говорит он, — притворное может помочь. Пусть лукавый язык твой как бы заплетается, спотыкаясь на словах, заикаясь на буквах; если в таком состоянии ты ихватишь через край или сделаешь неприличие, — твой поступок будет отнесен насчет вина» — и, следовательно, извинен и оправдан. Мораль Овидия не может иметь двух толкований; ясно, как день, что его советы умеренности истекают вовсе не из опасения, чтобы пьянство не повредило молодому человеку в глазах женщин. Ни для него, ни для дамы идея пьянства вовсе не сопрягалась с идеей нравственной грубости: напротив, легкое подражание опьянению рекомендуется, как один из лучших способов ухаживания. Делая

наставление в подобном же случае, поэт нашего века сказал бы: «не напивайся, чтобы дамы не сочли тебя за сапожника». Поэт латинский говорит: «Чем напиваться, лучше делай только вид, что ты пьян, чтобы успешнее вести свои делишки по женской части».

Но, быть может, подобные советы даются на случай обеда в обществе «легких» женщин? Отнюдь нет. Овидий, несомненно, имеет в виду приличное общество, собрание людей порядочных: это — не полусвет, мужья дам тут же присутствуют налицо. «Старайся нравиться твоей красавице, — говорит поэт, — но старайся прийти по вкусу также и ее мужу». А еще немного далее добавляет: «Творя обеты за женщину, твори их и за ее мужа, хотя бы и проклиная его внутренне на все лады».

Тот же автор пишет замужней женщине, своей любовнице, целую программу, как вести себя на пиру, куда она приглашена с мужем. «Дай мужу волю пить через меру и, — покуда он напивается в свое удовольствие, — по возможности, прибавляй тайком вина в его кубок. Когда хмель разберет его хоро-

шенько и ударит в сон, мы сделаем все, что позволят обстоятельства, т. е. время и место». Кто этот муж, способный публично напиваться до бесчувствия? Человек значительный: ему оказывают почести. Ниже поэт говорит о своей любовнице: «Когда ты встанешь к отъезду, и мы все встанем». Дело, очевидно, идет о знатной женщине, отъезд которой дает сигнал к отъезду других, и которую вся компания считает нужным проводить до порога. Кроме того, известно, что у Овидия, вообще, были превосходные знакомства; он вращался в самом высшем кругу, так что впоследствии ученые изыскатели находили даже возможным приписать ему, — хотя и ошибочно, — любовную связь с Юлией Младшей, принцессой императорской крови, внучкой божественного Августа. В действительности, — он был лишь поверенным ее любви и связи с одним из Сианов, что и навлекло на поэта роковую ссылку и беспощадный, не знавший прощения, гнев Августа.

Возвратимся к цитате: «Когда ты встанешь к отъезду, и мы все встанем. Помни хорошенько, что надо тебе очутиться в самой се-

редине толпы. Тут либо ты коснешься меня, либо я тебя и ...» Дальнейшее неудобно в передаче... Но мы можем обратиться к другой картине того Овидия, написанной на тот же сюжет отъезда с обеда. «В ту минуту, — советует он молодым людям, — как гости встанут из стола, воспользуйся перемещением в их группе, чтобы приблизиться к своей красавице; благоприятная теснота позволит тебе тронуть рукой ее талию, или коснуться нагой ноги». Итак, Овидий дважды утверждает, что выход из-за стола был в Риме одним из самых острых и удобных моментов волокитства. Зависел ли он, однако, от множества гостей? Правда, последние в тексте Овидия обозначены словом *turba*, толпа, но, так как мы знаем, что, за немногими исключениями, число приглашенных на римские обеды бывало весьма ограничено, то, по всей вероятности, *turba* должно здесь обозначать не многолюдство, но толкотню и суетню присутствующих, беспорядочность их манер, стадное настроение людей пьяных или дремлющих.

Сенека, по крайней мере в десяти местах писем своих, жалуется, что непомерное пьян-

ство на больших обедах ведет к весьма грязным последствиям. Квинтилиан распространяется менее Сенеки, — что объяснимо и большим удалением его тем от обличительного настроения, а следовательно, и живописания пороков эпохи; однако, и он соглашается, что на каждом большом обеде говорятся и делаются великие бесстыдства, неопровержимо, хотя и косвенно, осуждая тем поголовное пьянство гостей. Говоря о виноградной лозе, Плиний Старший также вынужден отметить неумеренное господство ее над обществом его времени, вполне подтверждая многоглаголыми страницами своими Квинтилиана и Сенеку. Зрелище общераспространенного порока заставляет его даже сказать, что для большинства мужчин пьянство есть главная цель, побудительная причина жизни.

Нет автора, который не дал бы подобных же отметок, не исключая даже Колумеллы, невиннейшего агронома-специалиста, — и он обмолвился фразой: «мы проводим ночи в пьянстве» — нечаянной характеристикой эпохи. Единственный обед в порядочном обществе, описанный Апулеем в «Золотом

Осле» — у Бирены, знатной дамы из Ипаты, дает повод герою романа,

Люцию, напиться до положения риз, точно это дело — не только в порядке вещей, но и обязательно. Итак, философы, ученые, историки, поэты единогласно сходятся в показаниях своих по пьяному делу. Принимая в соображение столь странный характер римских обедов, начинаешь лучше понимать меткое слово Катона, что Цезарь, один во всей республике, шел к государственному перевороту не в пьяном виде.

Историческое наблюдение, довольно общее для всех эпох: когда поголовное пьянство свирепствует среди мужчин того или другого класса, женщины также всегда заражаются несколько этим пороком. Так, например, на Руси XVI—XVII века женщины подвизались в пьянстве не меньше мужчин, как в простолюды, так и в богатом и знатном сословии. Петр Петрей изображает это трогательное семейное согласие сие во имя Бахусово весьма яркими красками. Олеарий описывает одну пирушку, на которой он присутствовал. Женны преисправно тянули водку вместе со свои-

ми мужьями. Когда мужья спьяна попадали на пол, жены сели на них и продолжали пьянствовать, пока не упились донельзя. Когда к одной из царевен XVII века сватался иностранный принц, то, расхваливая ему достоинства невесты, между прочим выставили на вид и то обстоятельство, что она и пьяною-то была не больше одного раза!.. Жестокое пьянство двора Петра Великого, облеченное преобразователем России даже в ритуал, не прошло даром для его современниц и приемниц и свирепствовало при дворах Екатерины Первой и Елизаветы Петровны убийственно, в буквальном смысле слова, похитив с вершин власти преждевременными алкоголическими смертями много сильных и талантливых мужчин и женщин. В наши дни мы можем проверить то же правило в простонародьи, например, в фабричном быту. И — положение обратное: раз иные женщины из общества открыто предаются пьянству, значит последнее в данной среде и эпохе — дело весьма обыкновенное. Даже оставляя в стороне обвинения Ювенала, как сатиру не в меру пристрастную, мы имеем свидетельства Сене-

ки, Марциала, Овидия и др., что римские дамы частенько напивались вслед за мужьями. «Женщины, — сурово гласит Сенека, — полунощничают и пьянствуют не хуже мужчин. Они соперничают с мужчинами в вине столько же, как и в масле». Последние слова — намек на пристрастие римских дам к физическому спорту: борьбе, фехтованию, бегам и пр. Но лучший, хотя и невольный обличитель, в данном случае, опять Овидий. В своем «*Ars amandi*» он читает современным дамам целые лекции хорошего тона на все случаи жизни, — не исключая, разумеется, и парадного обеда. «Вы ожидаете, конечно, что я проведу вас своими советами и к праздничному пиру... Извольте, вот мои уроки. Приезжайте к обеду попозже, когда свечки уже возжены; заставить ждать себя благоприятно Венере; знайте: даже вовсе безобразная женщина покажется красоткою людям, ошалевшим от крепких напитков». Это — опять-таки не сатирическая колкость, как у Ювенала, не язвительная попытка к нравоучению, как у Сенеки, это — просто практический совет женщинам всегдашнего друга их и любимца, знав-

шего их, как свои пять пальцев, и в них полагавшего всю сладость жизни. Говорит истый сын века. Овидий любит свое время, поклоняется ему. «Пусть другие, — читаем мы в том же его произведении, — сожалеют о древних временах; я считаю себя счастливым, что родился в этом веке, — он мне по вкусу». В своих «Amores» — книге, имевшей для римского общества приблизительно то же значение, что для XIX века «Buch der Lieder» Гейне, или, в новейшее время, стихи Лоренцо Стеккети — Овидий простодушно признается, что он влюблен во всех женщин; список тех, кто ему нравился, стоит в своем роде знаменитых «Mille e tre» Дон-Жуана. То был римлянин, ради любви отказавшийся от самой типической стороны римского характера: от честолюбия.

Сын и внук всадников, будущий поэт принадлежал к лучшей знати этого сословия, к той, которую Тацит впоследствии определял всадничеством сенаторского достоинства (*dignitate senatoria*). В день своего совершеннолетия, он сменил детскую претексту на тунуку не с узкою (*angusticlava*), но с широкою полосой (*laticlava*): знак человека, предназна-

ченного к сенаторскому званию и обязанного пройти лестницу государственных должностей. Но, к великому огорчению родителей, сын вышел лентяем и индивидуалистом, фантазию которого все в мире занимало и волновало кроме какой бы то ни было общественной деятельности. По службе, он не пошел дальше первой ступени — вигинтивирата: сперва в тюремной комиссии (*tresviri capitales*) ; потом, кажется, на судейском кресле, в числе децемвиров *stlitibus judicandis*. Посты, действительно, не для поэта! Неудивительно, что Овидий с них сбежал и, отбросив свою латиклаву, ушел в частную жизнь простым всадником.

К пыльному лагерю, к юриспруденции и связанному с нею «пустословию», к ораторству на форуме он питал равное отвращение, возмущая тем людей старого закала, видевших в уклонении от общественных должностей чуть не измену отечеству. Как первый декадент века, он весь живет в самоуслаждении: его любовные истории должны быть зачтены ему за военные походы; всем бранным подвигам он предпочитает завоевание Ко-

ринны. «Увенчайте же главу мою, лавры триумфа! Я победитель. Коринна в моих объятиях. Я опрокинул не какие-нибудь жалкие стены, я преодолел не ничтожные, узкие рвы, я стал властелином женщины!» Политический и общественный нигилизм Овидия, унижение им интересов и вопросов гражданских и государственных перед идеалами любви и искусства — явления весьма замечательные. Не пройдет и сорока лет, как шутливая теория автора «Amores» и «Ars amandi» найдет вполне серьезного и убежденного последователя и подражателя на самом троне Августовой империи: явится Нерон, такой же ненавистник войны, форума, ораторской трибуны, всей практической общественности, такой же эстет-чувственник, такой же любовник-поэт. Но послушаем далее, чему поучает свою даму этот Овидий Назон, — веселый, добродушный профессор-женолюбец, — настоящий «жрец с острова Цитеры»? «Не наедайтесь дома перед званым обедом; и сев за стол, постарайтесь удовлетворить своему аппетиту без жадности, с умеренностью: женщине лучше идет выпить лишнее, чем объедаться выше меры.

Тем не менее, не пейте больше, чем в состоянии выдержать ваша голова. Сохраняйте ум ясным, ноги твердыми и да не двоится в глазах ваших!» То есть, короче сказать: «пожалуйста, mesdames, не напивайтесь до бесчувствия!» Каким диким диссонансом прозвучал бы подобный совет, обращенный к дамам высшего общества, в устах какого-либо Овидия XIX века, вроде Гейне, Альфреда Мюссе, Стеккети, Фета или Апухтина! А впрочем, если заменить вино морфием, кокаином, эфиром и, увы! даже одеколоном, то увещание латинского поэта окажется не вовсе бесполезным и для современной женщины; потребность опьянения охватывает ее все сильнее и сильнее; исторически напуганная алкоголем, она ищет нервного возбуждения в других, неизвестных древнему миру, алкалоидах; морфинистка или эфироманка в нравственном отношении вряд ли ведет себя лучше, чем пьяницы Овидия и Ювенала, и мало уступают им в публичном бесстыдстве. Но Толстой во «Власти тьмы», но Золя в «Западне», но Гауптман, читая мораль своим героиням, могли бы с успехом предложить им предосте-

режение Назона, не меняя ни одного слова, — и даже с теми же, что у него, мотивами. «Когда, — говорит Овидий, — женщина валяется мертво-пьяная, постыдное это зрелище! Она заслуживает, чтобы ею овладел первый встречный». И потом: «Большая неосторожность для женщины — поддаться сну на пире: обычное следствие пьянства! Подобные сони — постоянные жертвы непристойных покушений». «Хмельная — вся чужая», сложили пословицу отцы наши в беспробудно-пьяные XVI и XVII века великого царства Московского. Можно поставить возражение: «Конечно, речь идет не о свете, не о высшем свете, состоящем из порядочных женщин, из пресловутых матрон? Недопустимо, чтобы матроны подвергались опасностям подобного рода!» Однако, к кому же, в таком случае, обращался Овидий со своими советами? К куртизанкам или к свихнувшимся с пути авантюристам, что в XIX веке слынут под кличкою «львиц»? Куда как кстати пришелся бы этим опытным дамам нравственный совет: не напивайтесь, ибо вы рискуете своим целомудрием! То-то засмеяли бы они бедного Овидия,

имей он наивность сунуться к ним с подобным наставлением! «Вот напугал! Да это наше ремесло! того только мы и добиваемся!» был бы их ответ. Правда, сам Овидий в предисловии к «Ars amandi» торжественно заявляет, что книга его написана не для матрон: «Удалитесь отсюда те, кто носит легкие повязки, знак целомудрия, и кого длинное платье покрывает до земли. Я пою любовь, не вызывающую скандала, и незапрещенные радости». Гасто Буассье верит в искренность этих слов, но вряд ли они — не авторская уловка, как говорится, «страха ради иудейска». Куртизанкам уроки Овидия были ни к чему, ибо ученых учить — только портить; а что отвод поэта никого не обманул, о том лучше всего свидетельствует взрыв негодования против «Ars amandi» в среде врагов Овидия, строгих, хотя, может быть, и притворных, пуристов, приспешников Августа — великого политика, но весьма неудачного восстановителя древней добродетели. Предполагают, что «Ars amandi» — одна из главнейших причин ссылки Овидия на Дунай. За просто любовные стишки в Риме не ссылали. «Amores» того же

Овидия, описывающие собственные его любовные похождения, не принесли поэту никаких неприятностей. Ему было позволено любить в стихах Коринну, как Тибуллу — Делию, Проперцию — Цинтию. В осуждение Овидию была поставлена та вина, что он вздумал преподнести своим читательницам, в некотором роде, кодекс любви. Если бы дело шло о куртизанках и вольноотпущенницах, кому бы до них было дело? Ни один цензор нравов с начала мира не заботился, чтобы куртизанка была добродетельнее, чем предписывает ей ремесло. Отношения к куртизанкам не мари римлянина, были дозволенными, открытыми, не считались даже нарушением супружеской верности. Откровенное деление жизни между куртизанкою и законною женою было обычно уже в предшествующем веке. Триумвир Антоний, по свидетельству Цицерона, проехал всю Италию в сопровождении двух носилок, из которых в одних несли его жену, а в других любовницу, комедиантку Кифериду. Следовательно, и по отношению к мужской нравственности шуточный кодекс Овидия не мог казаться опасным. Но Август и

его двор очень хорошо раскусили, что поэт, мнимо отталкивая «носящих легкие повязки и длинные платья», к ним-то именно и обращает, в действительности, свои беспутные советы, и зачислили Овидия в список людей, вредных для общественной нравственности, и, при первом же удобном к тому поводе, постарались сбыть его из Рима. Наконец, Овидий — не единственный свидетель. Вот показание Плиния Старшего, одного из серьезнейших умов древности: «Жадные глаза пьяниц оценивают матрону; а она, делая томные глазки, невольно выдает себя перед мужем». Квителиан — тоже писатель строгого тона, его свидетельство стоит внимания. «Запрещают детям посещать публичные школы, — гласит он, — из опасения, чтобы юноши не развратились. Но гораздо опаснее для них пример родительского дома, например, пиров наших.

На каждом обеде (*omne convivium*) слышат они бесстыдные песни, видят зрелища, которых нельзя назвать, не краснея» (ср. в I т. «Зверя из бездны» гл. «Рабы рабов своих»). Никто не станет, конечно, утверждать, чтобы

«Воспитание оратора» было писано специально для сыновей куртизанок; нет, этот «родительский дом», развращающий нравы детей своих, — дом порядочного человека, почтенного гражданина, быть может даже дворец сенатора. Плутарх в «Liber Amatorius» рассказывает смешной анекдот, как Меценат, обедая у приятеля, обязанного ему какою-то милостью, воспользовался опьянением и дремотою хозяина, чтобы ухаживать за его красивой женою. Муж спит, Меценат становится все смелее, красавица все уступчивее. Вдруг один раб, свидетель сцены, сообразив, что час и для него благоприятен, стащил со стола сосуд с вином. «Разбойник!» — кричит ему внезапно пробудившийся муж, — знай, что я уснул только для Мецената!»

Снова заглянув в Овидия, мы увидим у него стихотворение, описывающее, как Парис и Елена за обедом дурачат Менелая. Эти собственные имена и в древности употреблялись для обозначения тех же весьма нарицательных понятий, которые, с легкой руки Оффенбаха, прикрываются ими в нашем современном светском жаргоне. Парис сам Овидий, а

Елена - - его возлюбленная, вероятно та же, что воспета в «Amores» под именем Коринны. Исторически установлено, что Коринна — не миф и не какая-нибудь куртизанка, но женщина из лучшего римского общества, матрона- аристократка. Между тем, ведет себя с этою Еленою Парис- Овидий совершенно по рецепту, преподанному им впоследствии в «Ars amandi»: пьет из ее кубка, делает ей знаки и глазами, и пальцами, пишет пролитым на стол вином нежные слова, рассказывает любовные истории, в которых проглядывает его страсть, представляется пьяным, чтобы тем самым сделать более дозволительной смелость свою и т.п.

Словом, по всем данным, надо признать за доказанный факт: светская женщина в Риме пила много; но боролась она с опьянением внимательнее, а следовательно и успешнее мужчин. Боролась же потому, что общественное мнение, — во все эпохи лучшая и единственная узда распущенности, — ставило ее, по отношению к вину, все же в несколько иные условия, чем мужчину. Уж если снисходительный, женолюбивый Овидий находит

на лире своей суровые ноты в осуждение женского пьянства, то, понятно, общество косилось на женщин-пьяниц еще строже. Ведь и мужской разгул, столь отрицательно прославивший эпоху цезаризма, был сравнительно делом новым. Он ворвался в Рим из Афин, Эфеса, Александрии, вместе с эллинско-азиатскою роскошью покоренного Востока. Особенно повлияла в этом направлении малоазийская экспедиция 564 года. До тех пор римляне, может быть, выпивали добрым порядком у себя за обедом или за ужином; но собственно пиршественные попойки были им незнакомы; теперь вошло между ними в моду пьянство для пьянства, какое-то убежденное бражничанье. Они сами отлично сознавали причины и происхождение своего порока, определяя его названием «греческой выпивки» (*graeco more bibere*) или «грекованья» (*pergraecari, congraecare*). Но относительно мужских, выражаясь языком современной медицины: «эксцессов» Рим, как мы видели, держался фамусовского правила: «Ну, вот великая беда, что выпьет лишнее мужчина!» Другое дело дамы. Во дни Овидия еще памя-

тен был закон, по которому пьянство жены признавалось достаточным для мужа поводом к разводу. Охотно припоминали, как, во время оно, один муж, когда жена, охотница выпить, украла у него ключ от винного погреба, судил пьяницу в домашнем совете и, без долгих проволочек, приговорил ее к смерти. Теперь общественное мнение, конечно, уже не требовало головы выпивающих женщин, но оно еще любовалось собою в недавнем прошлом и величалось строгими преданиями античной морали. Чтобы растоптать ее в грязь, заменив древнюю этику гражданского долга новою этикою бурногосподствующей, безудержной в похотях своих плоти, Риму надо было пройти школу Тиберия, Калигулы, Клавдия. Они промелькнули, как предтечи антихриста, а за ним шел уже и сам Он, — человекобог, ужас всех верных, успевших познать легенду и этику Богочеловека, герой «Апокалипсиса» — величайший из царей разврата, «зверь из бездны», цезарь Нерон. По его манию, порок стал добродетелью, добродетель — пороком. Рим утонул в крови и в вине, а римская женщина, — в образах Мессали-

ны, Агриппины Младшей, Поппеи, Понции, — вылилась в тип, недалекий от грозного видения, которое зрел в вещем откровении своем Иоанн Тайновидец. «И увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена была облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодействия своего». Рим превратился в Вавилон, женщина его — в вавилонскую блудницу.

В обществе, где соединены вместе оба пола, разговор во все времена вращался, по преимуществу, в области тем бытовых, злободневных. Разбирать нравы и поступки своего ближнего, сопровождая факт или сплетню соответственными комментариями, было свойственно Риму не менее, чем любому городу современной Европы. Римляне, подобно нам, имели, если не газеты, то газету: *Acta diurna urbis* или *populi*, быстро выросшую из обязательного афиширования официальных оповещений и ча

стных объявлений, которое в 59 году до Р. X. ввел Юлий Цезарь Диктатор. Как скоро афиша была составлена, оригинал вывешивался публично и многочисленные писцы заботились о распространении и пересылке копий в провинции с позволения городского префекта (*praefectus urbi*). Затем оригинал поступал в государственный архив, где им можно было пользоваться, как историческим источником (Luebcker). Из актов черпали материал Тацит, Плиний Младший, Дион Кассий,

Светоний, Лампридий и т.д. На них ссылались натуралисты, как Плиний Старший, филологи, как Квинтилиан, публицист, как Сенека. Конечно, приписывая Юлию Цезарю основание римского газетного листа, я имею в виду лишь официальное утверждение им обычая, существовавшего гораздо ранее. Цезарь только признал законность массового осведомления о новостях общественных и злобах дня, которое до него свершалось по способу частной переписки, но нередко во множестве копий одного и того же письма. Буассье приводит пример, когда письмо, имевшее характер партийного избирательного манифеста, могло быть распространено, в самый короткий срок, в тысяче экземпляров. У знатных и богатых провинциалов было в обычае заводить систематическую осведомительную переписку с кем-либо из остающихся в Риме друзей или знакомых, причем она принимала характер газетный не только по содержанию, но иногда и по организации сношений между корреспондентами, заметно переходившей из типа приятельской услуги в тип абонементы. Таковую переписку вел Цицерон, когда был про-

консулом в Киликии, с оратором-цезарианцем Марком Целием Руфом. Последний, видимо, смотрел на свою роль корреспондента как на определенное обязательство, а недовольный Цицерон делал ему выговоры, совершенно как обманутый в ожиданиях подписчик оплошавшему редактору периодического издания.

— Тут есть все, — рекомендует Целий свою «Записку о городских делах», — сенатские постановления, повеления, басни, слухи. Если, может быть, этот образчик тебе не понравится, то уведомя меня, чтобы мне не причинить тебе досады, а себе издержек.

Цицерон возражает с недовольством, как государственный человек, который, вместо ожидаемой политической газеты, получил легкий бульварный листок:

— С чего ты вообразил, что надо посылать мне известия о гладиаторских играх, об отсрочке судебных процессов, о мошенничестве Хреста и о всяких пустяках, с которыми никто не смеет ко мне соваться, когда я живу в Риме?

Однако, сердитый и важный генерал, гос-

подин киликийский губернатор, не выдержал величественного тона и тут же, с упреком, осведомляется о некоем Оцелле, пойманном дважды в течение трех дней на каком-то паскудном разврате и в месте, где Целий «менее всего хотел бы быть»:

— Ты мне ничего не писал об Оцелле, да и в ведомостях не было!..

Что легкий тон городской хроники преобладал в *Acta diurna*, свидетельствует и Тацит в знаменитой 31 главе XIII книги своей «Летописи»: «В консульство второе Нерона и Л. Пизона произошло мало достойных событий, если только кто не хочет наполнять томы похвалами фундаментам и балкам построенного Кесарем на Марсовом поле громадного амфитеатра: сообразно с достоинством римского народа вошло в обычай помещать в летописи громкие деяния, а такие — в ежедневной газете Рима».

Итак, ежедневные или еженедельные листки рассказывали то открыто, то обиняками и намеками факты из частной жизни людей, занимающих видное общественное положение. Подобно нашим газетам, *Acta populi*

гомані сообщали Риму имена лиц, принятых императором на Палатине, — и не только самим императором, но и влиятельными членами его дома. По Acta diurna следили за политическим направлением вождей сенатских партий; Тразеа было поставлено в вину Нероном, что провинции и войска с особенною жадностью выискивают в Acta diurna известий, от каких поступков и мнений воздержался этот лидер оппозиции в ознаменование нежелания своего участвовать в мероприятиях правительства. Знатные свадьбы, рождения, похороны и даже — чего нет теперь — разводы находили точное отражение в римской газете; Сенека подсмеивался над рекламистами, которые уже тогда пользовались гласным словом, чтобы раздуть свои пожертвования и общественные заслуги. Плиний заимствовал из «смеси» римского ежедневника множество анекдотов о необычайных и сверхъестественных явлениях, наполняющих его суеверную книгу. Таким образом, газета давала застольным компаниям римлян и римлянок возможность болтать о многом и вне круга своих непосредственных

знакомств, судачить о вещах, которых они не видали, пересуживать людей, у которых они не бывали. Больше того: можно с уверенностью утверждать даже, что римляне были осведомлены друг о друге лучше нашего. Частная жизнь «человека из общества» проходила в Риме более, как говорится, на людях, чем теперь — в Париже, Петербурге, Берлине, Вене. Отдаленное понятие о римском быте может, пожалуй, дать в наши дни, — хотя и в значительном измельчании, — общественный склад Неаполя. Историческое сходство это, хотя в тусклых и слабых отражениях, сохранилось, однако, во всех классах общества, береженное, без сомнения, тою неизменною жизнью под открытым небом, *sub Jove*, что искони было, есть и будет главнейшим фактором могучей общительности и тесной, можно сказать, интимной гражданственности южных коммун. Подобно современному неаполитанцу или марсельцу, римлянин из достаточного класса оставался на народе с утра до вечера, толкаясь в уличной толпе, среди дельцов форума, фланеров Марсова поля и посетителей бань; последние, как известно, помимо

своего прямого назначения, представляли собою род общедоступных клубов с бесчисленным и бесконечно пестрым составом членов. Проверая в конце дня свою память, римлянин находил ее начиненною пестрейшим материалом, заимствованным из множества уличных встреч. Дань новостей и сплетен несла ему и ровни, и неровни. Ею угощали его клиенты на утреннем своем к нему визите или потом, сопровождая его по городу в деловой прогулке. Служить ходячею газетою было одним из верных способов ухаживания за патроном; клиенты богатых людей рыскали по городу за новостями, как охотники за дичью. Многочисленные рабы тоже старались сообщить своим господам слухи и сплетни насчет соседей, добытые от их челяди. Римляне присутствием рабов мало стеснялись; поэтому слуги часто имели возможность меняться между собою пикантными новинками о своих хозяевах. Сплетня шла за сплетней, слух за слухом. Сколько раб уносил из чужого дома об его господах, столько же и вносил в него о своих собственных; он много сообщал и наушничал своему хозяину, но много и изменял

ему, сплетничая другим. «Язык у раба — самая худшая часть тела», говорит римская поговорка. Разболтать секрет своего господина доставляет рабу больше удовольствия, чем даже выпить краденого фалернского вина, — особенно, если господин крутенец нравом и не скуп на розги (ср. в I томе главу «Рабы рабов своих»).

«Весь Рим» был значительно беднее численностью членов, чем «весь Париж», или даже «весь Петербург» наших дней. Общество слагалось из семей сенаторов (их было около пятисот) и из класса всадников, более многочисленного. Дионисий Галикарнасский, в конце первого века перед Р. Х., насчитал на всадническом смотре (*transvestio*) 5.000 человек избранной всаднической молодежи. Марквардт определяет число сенаторов и всадников вместе, для эпохи Августа, в 10.000 человек. Классы эти обнимали, — почти без исключения, — всех граждан, достигших богатства или довольства, не только наследственно, но и путем благоприобретения через торговлю, ремесла, свободные профессии. Принципат, принижая политическое значе-

ние сената, в то же время весьма заботился о том, чтобы охранить и даже вырастить, умножить общественное значение сенаторов, как первого и привилегированного государственного сословия: уничтожал его, как олигархическую оппозицию, и возвышал, как имперскую аристократию. Так, впоследствии, Наполеон Первый вел себя по отношению к фамилиям старого дворянства, покорившимся революционному перерождению старого режима.

Имена «сенаторов» и «знать» становятся в Римской империи с течением времени синонимами в такой мере, что позднейшие писатели, вроде Аврелия Виктора, употребляют их безразлично (Noudet). Сенаторам, равно как магистрам первого разряда — консулам, преторам, генерал-губернаторам — провинции, — дан был титул: *viri clarissimi*, сиятельные, ясновельможные. Мы встречаемся с ним уже в эпоху Клавдия, при Траяне же и Адриане титул это сделался обычным и необходимым украшением имени сенатора как в официальных обращениях, так и в частном разговоре. Обратиться к сенатору или даже потом-

ку сенатора без титула *clarissimus* стало такою же фамильярностью или обидною небрежностью, как в России не назвать генерала «вашим превосходительством». Наконец, Марк Аврелий утвердил этот титул законом. Титул сообщался женам и детям сенаторов: *femina clarissima*, *puer clarissimus*. Более того, он имел наследственную силу такой прочности, что дети отца, лишенного сенаторского звания, тем не менее не переставали быть *clarissimi*, что член сенаторской фамилии, перейдя чрез усыновление в фамилию низшего сословия, сохранял прерогативы своего кровного происхождения (Naudet).

Таким образом, формировалась обновленная родовая знать, весьма надменная своим происхождением и, уже в силу одного такового, почитавшая себя предназначенною занимать высшие государственные должности. Ювенал смеется над тщеславием и надменною нобилей, но его современник, Плиний Младший, который сам нобиль, выражает господствующий классовый взгляд на привилегии своего сословия, когда восклицает в «Панегирике»:

«Быть консулом в третий раз — значит ли возвышаться для сына консуляра и кавалера триумфальных знаков? Разве он не получает лишь ему должного? разве это не уготовано ему заранее блеском предков его?» И далее он хвалит Траяна, за то что тот не только открыл молодым людям должности, соответственные их происхождению, но, в уважение последнего, облакает их должностями раньше, чем молодежь успела то заслужить.

Что касается знати всаднической, она остается, во мнении таких аристократических писателей как Тацит, на гораздо низшей ступени и, по выражению Евтропия, образует собою «полузнать» (*media nobilitas*). Однако, мнение «столбовых дворян», в данном случае, заключает в себе не больше исторической силы и правды, чем есть ее во всех протестах родовитого дворянства против новой знати: хотя бы в пушкинской «Родословной» или в строптивных речах той лесковской княгини, которая не понимала, откуда завелись графы на Руси, и упорно не желала признавать их. Всадническая аристократия, смесь коммерческой со служилой, создавалась отчасти слу-

жебными отличиями, орденами, политическими успехами, главным же образом — денежным цензом: без последнего фундамента нет и всадничества. «Вот не хватит тебе шести или семи тысяч до четырехсот тысяч сестерциев (всаднический ценз), и будешь ты — плебей (*plebs eris*)», — грозит Гораций. Что в таких примерах не было недостатка, свидетельствуют эпиграммы Марциала:

«Все в тебе всадническое: ум, образование, сердце, происхождение, а ты, все-таки, плебей!»

И, наоборот, лишь бы уплачен был ценз, и зажиточный парикмахер, сын гладиатора, бирюча, всякого разбогатевшего авантюриста смело садился в театре на первые скамьи, с которых контролер сгонял благородных бедняков (Ювенал, III). Клавдий и дальнейшие императоры охотно вводят в римское всадничество крупных провинциальных нобилей из муниципий.

Поэтому новый всадник из простонародья (*equus romanus a plebe*) — в римском обществе — птица небольшая и сомнительная, на него смотрят как на выскочку темного проис-

хождения. Иное дело всадничество потомственное.

— Я всадник наследственный, а не по удаче капитала! — хвалится Овидий (*Tristia*).

Планции, Маттии, Ведии и тому подобные «потомственные почетные граждане» всаднического сословия являются даже для Тацита «вровень со знатью по влиянию и известности». Тацит же говорит о всадниках senatorского ранга (*dignitate senatoria*), удостоенных внешних отличий senatorского класса: латиклавы, черной обуви и т.д. Впрочем, по мнению Нодэ, дальше внешних почетов уравнивание не шло, и сомнительно, чтобы всадники с senatorскими отличиями (*equites illustres, splendidi*) допускались фактически к senatorским должностям или даже к тому присутствию в сенате, которое было доступно несовершеннолетним членам первенствующего сословия. Нодэ считает все эти senatorские почести, оказываемые всадникам, такими же орденскими пожалованиями, как *ornamenta triumphalia, consularia, praetoria* (знаки отличия триумфаторского достоинства, консульского, преторского): они могли даны быть

частному лицу за государственную заслугу или милостью государя, совершенно вне зависимости от сословия, к которому принадлежал жалуемый.

В таком порядке совершилось сословное прислоение к тем исконным «equites», коих делом, при царях и в первые времена республики, действительно, было «конем воевать». Остатки этого первобытного военного всадничества сохранились в виде шести конных эскадронов (turmae) «всадников с общественным конем» (equites equo publico). Во главе каждого эскадрона стоял особый командир (seviri equitum Romanorum). Впрочем, Моммсен отрицает этот счет. Он не находит никаких оснований ограничивать число всаднических эскадронов только шестью и севилов считает не шестью командирами шести эскадронов, а шестью офицерами в каждом эскадроне (3 decuriones и 3 optiones). Что касается эскадронов, он считает их не шесть, но 54, ибо turma равна трети центурии, а всаднических центурий считалось 18. Буше Леклерк, критикуя этот взгляд, замечает, что хотя он доказателен не более других (Belot,

Herschfeld'a и др.), но, по крайней мере, им объясняется то громадное число всадников — 5.000 человек, — которые, по словам Дионисия Галикарнасского, прошли пред его глазами на смотре в июльские иды. Сколько бы ни было этих всадников *equo publico*, шефом их, как избранной сословной конницы, почитался, по титулу *princeps juventutis*, один из юных принцев императорского дома, обыкновенно, предполагаемый наследник власти. Мы уже знаем, что титул давался будущим государям символически, а потому очень рано. Марк Аврелий, напр., получил его шести лет от рождения (ср. в I томе главу «*Princeps juventutis*»). Эти юные эскадроны, почетное пребывание в которых начиналось для избранных в возрасте 17 лет (*juniores*) и не могло длиться дальше 35-летнего возраста (*seniores*), образовали, — по крайней мере, при некоторых императорах, — нечто в роде государевой лейб-гвардии или почетного конвоя. На общественных играх они имели особые места (*cuneus juniorum*), отделенные от 14 всаднических ступеней.

Эскадроны всадников *equo publico*, под-

лежавшие ежегодному смотру 15 июля (transvectio et recognitio), формировались по назначению императоров, которые взяли на себя эту привилегию по наследию от республиканских цензоров. Дети сенаторов и члены важнейших всаднических фамилий, не попавшие в состав шести эскадронов, могли бы быть причислены к ним номинально, в порядке, так сказать, орденового пожалования, монаршею милостью: equo publico exornatus. Они образовали вторую всадническую категорию, в которой, конечно, со временем исчезали и те первые юные equites equo publico, как скоро годы выводили их из эскадронов. Эту вторую категорию Нодэ и почитает титулованными всадниками — illustres, splendidi equites. Могущественная группа кандидатов в знать, которую Александр Север называл впоследствии питомником сената.

С глубокой, чуть не доисторической старины, всадники, то есть лошадные мужики первобытного Рима, стали сословием капиталистов. Задолго до Гракхов, они присвоили себе преимущества откупов и подрядов, что сплотило их капиталистический класс (publicani)

дружную солидарностью интересов, позволившею им в Гракховых реформах совершить крупные сословные завоевания и, в том числе, отнять у сената монополию присяжного суда (*judices arbitrive*) для разбора дел гражданского процесса и второстепенных уголовных (*quaestiones perpetuae*). С этих пор всадническое сословие вело усердную борьбу за свои судебские права в течение целого века. Семпрониев закон 122 года решительно отнял у сената присяжный суд и передал его всадникам, то есть цензовикам первого разряда и не моложе 25 лет отроду. Дальнейшие законы (*Servilia* — 106, *Livia* — 91, *Plautia* — 89) разнообразно борются с этой привилегией, покуда, наконец, Сулла Корнелиевым законом (82) не возвращает суды в ведение сената, но — не мешает оговорить, что сенат то в это время был как бы всаднический: столько членов этого сословия ввел в него диктатор. Двенадцать лет спустя, *lex Aurelia* (70) учреждает три судебские декурии: сенаторскую, всадническую и цензовиков второго разряда (*tribuni aegrarii*), с объявленным капиталом в 300.000 сестерциев (Буше Леклерк). Третья декурия

держится недолго: ее отменяет lex Julia (46). В таком виде входят судебные учреждения в эпоху принципата.

Под рукою Августа, всадническое сословие пережило радикальную реформу. Он дал классу всадников окончательную организацию, определенную компетенцию, правильную роль в общественной деятельности, почетное и крепкое место в иерархии государства.

В то время, как большие уголовные процессы и политические были оставлены за сенатом, Август вручил всадническому сословию весы повседневного правосудия: гражданский процесс, мировые дела и т.п. К трем судебным декуриям, учрежденным раньше, по lex Aurelia, Август прибавил четвертую — специально пониженным цензом, вместо 400 тысяч сестерциев всего 200 тысяч (*ducenarii*) — специально для отбывания судебной повинности по мелким гражданским процессам (*de levioribus summis*). Всякая декурия состояла из 1.000 судей. Герцог полагает, что четвертая Августова декурия была сравнительно со старшими несколько умалена в правах и от-

личиях. Но уже в девятый год правления Тиберия (775—723) — все Декурионы равно получили право ношения золотого кольца, — следовательно, были причислены к всадническому сословию. Правда, закон Тиберия ограничивал это причисление теми, кто обладал цензом в 400 тысяч сестерциев уже в третьем поколении: и дед, и отец были тоже цензовиками, — и фамилиями, которым Росцийев закон (686) отводил место на 14 первых ступенях театров. Август в 758 году хотел предоставить сенаторам и всадникам ту же привилегию отделения от плебса и на цирковых играх, но не назначил для них определенных и постоянных мест. Это сделано было только при Нероне. Он уничтожил водный канал (euripus), которым Юлий Цезарь обвел арену Главного Цирка (Circus Maximus) для того, чтобы защищать зрителей от неприятных случайностей при беге колесниц или представлениях с дикими зверями. Заменяв эту лужу обыкновенным барьером, Нерон велел на осушенной полосе устроить места для всадников (Плиний Старший). Ограничения Тибериевы не могли долго продержаться в си-

ле, да и вряд ли на то были рассчитаны. Но Дэ правильно говорит, что такого рода законодательства поддаются расширяющему толкованию объекта и субъекта учреждаемых норм гораздо легче, чем сужающему. При преемниках Августа, всаднический класс быстро растет. Калигула вводит пятую судебную декурию. Что это было сделано не по капризу властителя, а в силу действительной потребности, доказывает то обстоятельство, что от Гальбы требовали учреждения шестой, но он отказал.

И вот, под непосредственное влияние всадников, как судей повседневности и прямых помощников и ассистентов преторского авторитета, естественным образом попало все городское управление — так называемый «вингивират», «двадцатимужие»: *triumviri capitales* — полиция безопасности и тюремное управление, *tresviri monetales* — монетный двор и пробирная палатка, *quatuorviri viarum curandarum* — дорожная и мостовая комиссия, *decemviri stlitibus judicandis* — президиум суда (*judicium centumvirale*) по гражданскому процессу (Renier). Должности эти лежат как

бы мостом между сословием сенаторским и всадническим: они сенаторские по существу, но знатный всадник — *equus dignitate senatoria* — находит через них дорогу в курию и к магистратам. Ведь пребывание в вигинтиварате также и для сенаторской молодежи было школою к должностям и почестям сенатского значения: к квестуре, эдильству, претуре, — и намечало из ее среды кандидатов к ним. Это до такой степени вошло в обычай, что, например, Тиберий, желая назначить Друза, двоюродного внука своего, квестором, когда ему еще не вышли года, — счел нужным просить сенат об увольнении его от предварительного вигинтивирата.

Август же, в заботах о создании и укреплении новой знати, расширил для сыновей сенаторов и всадников военную карьеру, вверяя им команды второстепенного значения, — это трибуны легионов, префекты кавалерии и т.д. Чтобы открыть больше вакансий, Август ввел в каждый эскадрон двух командиров. Еще более заботился о знатной молодежи Клавдий, установивший для нее офицерское производство (*militiae equestres*) в таком

порядке:

1. Командир когорты в пехоте: praefectus cohortis.

2. Трибун легиона: tribunus militum angusticlavus.

3. Эскадронный командир в коннице: praefectus alae.

4. Командир лагеря: praefectus castrorum.

Eques equo publico большую часть проходил все эти должности (по крайней мере, со времени Септимия Севера), в неопределенном сроке службы. Тот, кто прошел все их, — omnibus equestribus militiis perfunctus, — получал титул a militiis, aro stocivn (Виллеме). Светоний дает иной порядок производства: «он (Клавдий) так устроил офицерство, чтобы после командования когортою следовало командование эскадроном, а после эскадрона — трибунат в легионе». Но Гиршфельд, основываясь на одинокости этого указания, опровергаемого кроме того надписями даже из самой Клавдиевой эпохи, а вместе с тем, принимая в соображение, что не мог же ошибиться в порядке офицерского производства именно Светоний, который, в качестве императорского

секретаря, сам заведывал выдачей офицерских патентов, — объясняет разницу Светониева текста тем, что, по всей вероятности, речь идет о нововведении, недолго державшемся в силе. По-видимому, пройти, по крайней мере, три офицерские степени было необходимо для всадника, который затем хотел делать служебную карьеру по прокуратурам (Hirschfeld).

Сверх того, Клавдий учредил сверхкомплектное офицерство — «род воображаемого войска, которое слывет в народе сверхштатным» (*supra numesum*) — кандидатов на места, с титулами, но без должностей, приписанных к полкам, но не несшим действительной службы (*Renier*). Подобно тому, как в дворянстве русского XVIII века бывали сержанты и пр., «пожалованные в брюхе», Рим имел офицеров-всадников малолетнего возраста, которые, конечно, не могли нести действительной службы и проходили ее лишь номинально. Однако не все такие только «числились», — иным и впрямь приходилось изведать на опыте «холод, голод и все нужды солдатские», и притом тоже в очень юном воз-

расте. Сенека, в 47 письме, с жалостью упоминает о том, что известная катастрофа Тевтобургского леса сильно подсекла будущие надежды сената, так как в армии Вара погибло множество молодых людей, искавших достигнуть сенаторского ранга через военную службу (*senatorium per militiam auspicantes gradum*). Начиная с Галиена, императоры нарушают исконный обычай поручать старшие команды генералам из сенаторского класса и вручают их лицам всаднического происхождения, которые чрез то самое входят в сенаторский класс (Bouche Leclercq).

Военная выслуга вдвигала во всадническое сословие муниципалов. Уже чин центуриона, равно как знаменщика (*centuria primipili, primipilus*) давал право на золотое кольцо, а Септимий Север, солдатский император, которого военная реформа была вообще чрезвычайно выгодна всадническому сословию, не отказывал в нем и простым рядовым. Получив все чисто военные отличия (*dona militaria*): разные венки, почетные дротики, ожерелья, наручи и т.п., — провинциал, путем командования в когортах и эскадронах

вспомогательных войск и иррегулярной милиции, достигал, «поседев под шлемом, того пункта почестей, откуда начинал, без специального образования, без испытания своих способностей, молодой всадник, в силу породы своей и наследственных привилегий» (Naudet). Замечательнейший пример такой карьеры муниципала — император Пертинакс. Сын вольноотпущенника, покинув школу, из которой он ничего не вынес, он, по протекции патрона своей фамилии, поступил в армию с чином центуриона, выслужился до префекта когорты, прошел офицерские чины, потом достиг высших постов командования и наконец призван был в сенат, стал *vir clarissimus* и кончил жизнь в императорской порфире, хотя и ненадолго надетой. Что Пертинакс не одинокий пример удачника в нижних чинах, подтверждает одна надпись у Генцена. За исключением тех всадников, которые избирали средством карьеры военную службу в рядах действующей армии, самое словие, как таковое, не сохранило в себе решительно ничего военного, за исключением мундира в парадные дни да старинных воспо-

минаний. Окончательным моментом, так сказать, разоружения сословия, обращения его из старинного, отжившего свой век, конного ополченства в городское мещанство, можно считать Тибериеву реформу 23 года. Когда Плиний исчисляет приметы, определившие в последней, кто имеет право на звание всадника: ценз в 400.000 сестерциев, театральные места по Росциеву закону, — он как бы забывает о том, что мог определить этих счастливицев гораздо короче: «тот, кому цензор или принцепс вручали к содержанию государственного коня», потому что всеми указанными требованиями характеризуется именно *equus equo publico* (Герцог). Если из определения всадника исчез конь, то ясно: всадник исторически спешился и, став совершенно не нужен государству, как сословный ополченец, объявляется надобным ему только как капиталист и обыватель, строитель мирного гражданского строя под преторской рукой. Всадничество при империи — не только в полном смысле слова гражданское сословие, но даже подчеркнуто анти-военное: настолько, что пожалование всадником стало

мирным символом увольнения в чистую отставку для ветеранов, покидающих действительную службу по выслуге лет. Всадник может быть военным, если ему угодно, но дослужиться до увольнения во всадничество — для военного из низших слоев общества — значит снять мундир и мирно уйти на покой в городскую богатую обывательщину. Гражданские должности не только избавляли всадника от военной службы, но, со времен Адриана, даже сопровождались непременно из нее исключением, как, например, должность *advocatus fisci*: юрисконсульт императорской казны, обязанный защищать на суде ее интересы (Виллеме).

Титул римского всадника, вопреки обширности и большому значению сословия, почти никогда не встречается прямо в надгробных надписях магистратов империи; но оно всегда подразумевается при именах вигинтивиров или военных офицеров, — чинов, через которые римлянин входил в большую правительственную карьеру. Таким образом, чин заслонял сословие. Командир эскадрона — *sevir turmae* — уже почитался кандидатом к

honores. Если мы встречаем в надгробной надписи имя, сопровождаемое простым титулом всадника римского, без всяких иных обозначений, — это, наверное, какой-нибудь солдат-ветеран, получивший звание за выслугу лет при отставке и ушедший с ним в частную жизнь, не мечтая о дальнейших преуспениях (Naudet). Либо какой-либо провинциал из муниципии, декурион или дуумвир, обрадованный возможностью украсить свое имя титулом всадника правительственной метрополии. Словом, титул всадника появляется только на монументах людей, либо не успевших выйти из офицерских чинов, либо поднявшихся снизу и носящих его, как единственную и высшую почесть, ими достигнутую. Далеко не всех всадников тянуло к себе сенаторство — и не только по политической лени, как видели мы пример Овидия, самого выразительного анти-карьериста во всем римском большом свете. Многие предпочитали службе государству службу государю и, вместо вигинтивирата, добивались придворных должностей или прокуратур в государственных провинциях. Став лично известным императору,

умный и способный всадник мог далеко пойти и даже занять место в тайном государевом совете (*consilium principis*). «Этот совет слагался из лиц весьма разнообразных по сословному положению; ни Адриан, ни его преемники не стеснялись вводить в него простых всадников, а, с конца второго века, советники всаднического разряда, в особенности префект претории и начальники отделений императорской канцелярии, начинают играть в совете этом преобладающую роль» (Буше Леклерк). Впервые всадники в государевом совете встречаются при Тиберии. Еще ранее мы видим примеры неслужащих всадников, временщиков, которые ворочают всем государством: таков знаменитый Меценат. Брат Сенеки, Мелла, большой финансист, полагал особое тщеславие в том, чтобы, играя государственную роль, ответственную и значительную наравне со всякою сенаторскою, оставаться простым всадником. Так лет 20 тому назад, московский городской голова знаменитый Н.А. Алексеев отклонил пожалование ему, за заслуги в голодный 1892 год, владимирского креста и дворянства, говоря, что он

сословием, в котором родился, доволен и менять его на другое не намерен.

Итак, при империи, всадничество является вторым сортом знати — аристократическим по своим привилегиям, наследственности, способности сообщать сословные права женщинам через брак (*equestris memoriae feminae*) и т.п.; демократическим — по непрерывной примеси разбогатевших плебеев. Известно, что римская *plebs* посылала в высшие классы больше вольноотпущенных, чем свободнорожденных. Раб, будучи отпущен на волю, порождал во втором поколении римского гражданина, в третьем — всадника. Император, впрочем, с согласия патрона, мог сократить эту генеалогию, прямо пожаловав вольноотпущеннику золотое кольцо. Так поступил Август с Менасом, который предал флот Секста Помпея, и с Винием Филонеменом, — на сей раз, напротив, за благородство, за то, что он спас патрона своего от гибели в период проскрипций.

Юристы не считали всадников знатью: «все граждане кроме сенаторов суть простой народ», *plebs est ceteri cives sine senatoribus*, —

гласит сентенция Ульпиана. Но общественный обычай Рима не принял определения юристов. Ценз в 400.000 сестерциев слишком наглядно отделял всадничество от народа, и не только поэты, историки, ораторы, но даже юрисконсулы отдавали всадничеству честь, как второму после senatorского сословию в государстве, много высшему простонародью. И правительство считается с ним в особину. Всадники имеют своих представителей при дворе, свои почетные привилегии и личные гарантии. Подобно знати senatorской, знать всадническая (*equestris nobilitas*) получила свое превосходство над народом не столько собственными силами, сколько принижением других классов. Поэтому знать-то она знать, но — холопская: без независимости и без авторитета, обреченная только слепо служить опорой власти, быть послушным орудием в руках государей и примером повиновения для других подданных. За это последние избавили ее от унижительных повинностей и суровостей уголовной расправы, которым подлежало простонародье. Они — *honestiores*, люди почетные, простонародье — *humiliores*,

«подлый народ», черная сотня. Всадника нельзя подвергнуть телесному наказанию, он судится пред лицом сената и при своих словесных представителях. В случае приговора к смертной казни, он погибает от меча, а не на кресте и т.п. В этом лишь, собственно говоря, и таилась социально-юридическая между плебсом и всадничеством разница. Остальное обуславливали размеры капитала.

Соединяя в одну знать сословия сенаторское и всадническое, общую цифру лиц, прекосновенных к высшему римскому свету, вряд ли возможно определить выше двадцати пяти, много тридцати тысяч человек. Цифра ничтожная: это — население маленького городка. На каждое лицо из этих тридцати тысяч приходится по меньшей мере двадцать рабов, а у иных их в двадцать раз больше.

Так, мы видели, «фамилия» Педания Секунда, поголовно истребленная при Нероне, состояла из 400 человек. Это образует в городе как бы другое население, обволакивающее первое своею почти миллионною массою, точно кокон куколку. Но этот миллион — совершенно пассивное стадо. У него нет своей

жизни. Его быт, его интересы, его настроения — отражения быта, интересов и настроений тех тридцати тысяч богачей, среди которых распределена активная жизнь Рима. Многоголовая масса рабов, окружая римскую семью, видит в господах своих существа высшего порядка, как бы полубожества; известно, что раб не имел права присягать во имя богов общегражданского римского культа, но ему предоставлено было клясться гением своего господина, что считалось равносильным присяге, с жестокими уголовными последствиями ее нарушения. Пусть господа — полубоги, а жизнь их — божественная эпопея; но она разворачивается в слишком тесной близости к смертным рабам, под постоянным их наблюдением, а следовательно, и критикою. Поэтому толпы рабов, вместо того, чтобы заслонять своею массою господ от любопытных взглядов, наоборот, как бы освещают каждый элемент быта, каждый момент жизни своих хозяев и выдают их соседям, подобно предательскому зеркалу. Богач не может иметь тайны, — уверяют нас Ювенал и Марциал: пусть он закроет окна, законопатит все щели,

потушит огонь, никому не позволит спать близ себя, а все-таки на рассвете в соседнем шинке будут знать, чем был занят он, когда пели вторые петухи (ср. в I томе главу «Рабы рабов своих»).

Рим, в отношении холопских сплетен, как кажется, сильно походил на грибоедовскую Москву с ее дворянскими домами- усадьбами, наполненными тучами крепостной дворни, игравшей при Фамусовых, Хлестаковых и Тугоуховских ту же роль в розницу, что теперь, увы! взяли на себя оптом репортеры, хроникеры и интервьюеры уличных газеток и «распивочных листков», — роль вестовщиков скандальной хроники. Живет тридцать тысяч человек, а наблюдает за их жизнью миллион глаз, судит и рядит о ней полмиллиона языков. Это превращало огромный Рим в такой же маленький, сплетнический городок, в такую же «большую деревню», как и грибоедовская Москва. Римлянин, что называется, живет в стеклянном доме; каждое слово его разносится по семи холмам тысячеголосым эхом. Мы, вопреки всем репортерам, интервьюерам и хроникерам, куда счастливее в этом отно-

шении!

Любимые темы пересудов, особенно в смешанном обществе мужчин и женщин, — ссора мужа с женою, обнаруженное или подозреваемое прелюбодеяние, развод, любовная интрижка и т.п. Так оно в наши дни — и в Риме было не иначе. Несмотря на отчаянную историческую репутацию римских женщин, трудно утверждать с решительностью, чтобы фактические нарушения супружеской верности случались в Риме чаще, чем показывает их современная хроника Петербурга, Берлина и Парижа. Многие безобразия римских нравов, хоть и занесенные на скрижали истории, надо считать преувеличенными порождениями клеветы и злословия, о владычестве которых в Риме с негодованием говорит еще Цицерон. Посплетничать и поклеветать насчет чьего-либо любовного романа или разврата, без счета прилагая к былям небылицы, — люди и теперь великие охотники. Тогда же римлянин, повторяю, жил в стеклянном доме, — интимный быт его не уважался, не имел пощады, был достоянием общественным. Любовные похождения Проперция высмеиваются

на пирах, без жалости к поэту и доброму имени его любовницы. Красавицы, — жалуется он, — обречены на казнь клеветы, как будто в возмездие за свои прелести! Вельможа женится на женщине, за которою он, по-видимому, долго ухаживал. Наконец-то! — восклицает поэт, воспевающий свадьбу, — теперь мы увидим объятия, о которых так долго шли сплетни!.. Следовательно, если исторически бесспорно, что римляне были весьма развратны, то не менее исторических данных есть и за то, что кумушек, вестовщиков, болтунов, Загорецких в тогах и дам, приятных во всех отношениях, в туниках, между ними счета не было; взвешивая первый их порок, никогда не лишнее умерять представления о нем воспоминанием о втором. Зато разводов было, несомненно, много больше, чем теперь не только в православных и католических землях, но и там, где развод не стеснен церковью, — больше того: даже там, где брак гражданский равнозаконен с браком церковным. В Риме почти на каждый день приходилось по громкому бракоразводному делу, и ни о чем другом не рассуждали древние, во время

своих бесконечных обедов, с большим жаром, с большею охотою, чаще и усерднее, как о разводах. Калигула подлил масла в огонь, распорядившись публиковать имена разводцев и развонок в ежедневной газете. Разрыв супругов подавал повод к такой же суматохе в свете, что и в наши дни. И Рим имел свою «княгиню Марью Алексеевну»: подыскивали тайные причины события, обсуждали душевное настроение супругов, их привычки, их ложные шаги, дурные стороны их характеров, их телесные недостатки. Все — как у нас! Разница лишь в том, что, высоко ценя внешнюю красоту, силу и здоровье, римляне, в разговоре о телесных качествах, гораздо менее церемонились и связывали свою речь условиями приличия, — так что не стеснялись заходить в физиологические и анатомические подробности, пред которыми в нашем обществе целомудренно отступит самый дерзкий циник. Они не стыдились оценивать друг друга с точек зрения, применимых теперь разве лишь в компании коннозаводчиков, собачников или скотоводов, когда они толкуют об улучшении пород.

«Пир» Лукиана ярко освещает нам простоту отношения древних к щекотливым, на наши понятия, темам. Хозяин дома, человек высоко образованный, с изящными вкусами, прекрасного, утонченного воспитания, получает письмо. Его предупреждают остерегаться профессора философии, приставленного им дядькою к своему сыну. Чем бы развивать нравственность мальчика, старый сатир возвращает своего ученика, сквернит его юность. Письмо чрезвычайно многословно; обвинение разжевано в нем с ясностью и подробностями, совершенно неудобными для повторения. И тем не менее, отец семейства, выставляемый Лукианом за образец порядочного человека, не находит неприличным прочитать подобное письмо вслух, без малейших пропусков, при дамах и молодых девушках.

Другой любимый сюжет римских бесед и споров — цирк с его бегами, соперничество «зеленых» и «голубых», их рысаки, их ездоки.

Историческая судьба всадничества весьма схожа с судьбою августальского севирата, который в провинции был ему сословным подражанием (см. выше в главе первой). Начи-

ная с третьего века, организация всаднического класса, изобретенная Августом, разлагается. Звание всадника, вследствие слишком широкого размножения сословия, теряет свою цену. Сословный всаднический титул *egregius*, перерождается в нарицательное ходовое обращение, вроде «вашего степенства», «вашего почтения» и т. д. Выдвигаются новые титулы — *vir perfectissimus* (ваше совершенство), *vir eminentissimus*, которые отличаются от старого тем, что они не наследственные, но личные, и сопряжены не только с материальным цензом, но следуют за той или иной высокой государственной должностью, которую, по воле императора, несет всадник: префект народного продовольствия, городской полиции и т. д. Марк Аврелий узаконил это дробление всадничества титулами в своеобразную табель о рангах, оставив *egregius*'а для прокураторских должностей, *perfectissimus*'а предоставив префектам, начиная от префекта флота и кончая префектом народного продовольствия, равно как для высших чинов фиска и императорской канцелярии, и, наконец, *eminentissimus*'а — для префекта претории

(Виллемс). Ясно, что все эти *issimus*'ы характеризуют уже не сословие, а бюрократическую лестницу, и, чем выше ступень, тем меньше на ней памяти, откуда пошла лестница. В IV столетии, после Константина, быстро исчезает начальный и общий титул всадников, *egregii*, что можно считать за символ исчезновения и самого сословия. Всадничество, расчлененное и ослабленное, падает на уровень муниципальной корпорации. «Нет больше «всадников» кроме, как в «турмах» римского парада» (Bouche Leclercq). Перенос столицы в Константинополь добил сословие, так как Византийская империя устремилась к созданию единой аристократии — служилой, возникающей бюрократическим путем. *Vir clarissimus* — "его сиятельство", «ваша ясновельможность» — выслуженный в ливреях дворцовой службы, положил конец эволюции сословной знати, объединив в себе все ее оттенки и фракции.

Даже общество «умных людей», стоявших выше подобных светских тем и склонных к философским беседам, все-таки, не избегало разговоров о скачках, потому что эти серьез-

ные умники интересовались ими, если не положительно, то отрицательно, и усиленно громили общественное к ним пристрастие. Дезобри, в своей известной композиции «Rome au siecle d'Auguste», написанной от имени путешествующего галла, весьма искусно свел в такой разговор Антистия Лабеона, Аттика и Кремуция Корда, причем вложил первому в уста следующую характеристику, заимствованную из много позднейшего, конечно, письма Плиния Младшего:

« — Нет, клянусь Геркулесом! давно уже игры Цирка не занимают меня хотя бы сколько-нибудь. Что дают они нового? Разве не довольно одного раза, чтобы пресытить их однообразным разнообразием? Со дня на день я все больше и больше удивляюсь, что столькие тысячи людей охватывает детская страсть опять и опять видеть время от времени лошадей, которые бегут, и мужчин, которые правят колесницами. Еще если бы они, в самом деле, были заинтересованы в быстроте лошадей или в ловкости наездников, тогда их любопытство имело бы хоть какое-нибудь объяснение; но ведь все, что их занимает, —

это одежда: единственно ее они там любят. Пусть в разгаре скачки или бегового состязания противники переменят цвета, и вы увидите, что в ту же минуту изменятся и расположение к ним, и творимые за них обеты, и от этих самых наездников и лошадей отвернутся те самые, которые давно их знают, которые окликают их по именам: столько власти имеет ничтожная туника не только над чернью, которая еще ничтожнее всех этих туник, но даже над людьми серьезными. Что касается меня, то признаюсь: когда я вижу, что такие люди всегда с новым аппетитом, всегда с тем же настойчивым постоянством, льнут к вещам настолько пустым, неувлекательным, так часто повторным, я ощущаю втайне большое удовольствие, что я к ним не чувствителен, и охотно употребляю на научные занятия досуг, который другие тратят на эти легкомысленные забавы». Такие разговоры о цирке, наездниках, лошадях, если приносили мало пользы голове, то, по крайней мере, хоть не вредили нравам. Гораздо менее невинным направлением ума дарили римлян театр и амфитеатр. Там представлялись ино-

гда сцены невероятной дерзости. Картины мифологического разврата — история Пазифаи, суд Париса, Марс и Венера в сети Вулкана — воспроизводились на римских сценах с самой бесцеремонной детальностью. Еще вреднее отзывались в обществе толки о пантомимах — артистах, творивших, судя по описаниям современников, почти невероятные чудеса в области своего, утраченного ныне искусства.

Вне сферы сплетен и театра, римлянин сильно интересовался ходом крупных процессов, слушавшихся на Форуме; любил потолковать о доносах, поданных на то или другое должностное лицо. Беседовал — и не всегда с осторожностью — и о придворной жизни, о поступках императора, об его поведении. Часто разговор касался эпизодов весьма щекотливых, — их принимали с видом полного одобрения, кто истинного, кто притворного. Тон беседы от такого повышения тем, однако, вряд ли становился лучше: августейшие безобразия Нерона, Калигулы, Домициана или Клавдия не могли быть поучительными для общества в ином смысле, кроме примера са-

мой плачевной, безудержной распущенности. Разговора политического, — в точном смысле этого слова, — Рим не знает, или почти не знает. Империя ведет постоянные войны, но все где-то за тридевять земель от своей столицы, на окраинах подвластного ей мира. Войны ее похожи на наши русские войны в Средней Азии и по способу ведения их, и по отношению к ним общества. Когда Черняев взял Ташкент, когда Скобелев взял Геок-Тепе, — эти победы, конечно, вызывали восторг, но весьма далекий от того энтузиазма, каким встречались даже самые маленькие победы русско-турецкой войны. Больше того: можно смело утверждать, что, если сравнить интерес к кровному нашему военному делу в Средней Азии с интересом, например, к чужой нам франко-прусской войне, то перевес интенсивности окажется на стороне второго. Много ли, во время Китайской войны 1901 года, произвели эффекта бой при Таку или занятие Мукдена? А за войною буров и англичан вся Россия, сверху донизу, следила с лихорадочным любопытством. Когда Рим покорил, в авантюрах своих династов-конквистародов,

все берега Средиземного моря, Галлию и Германию, он оказался властелином всего, имевшего претензии на самостоятельную государственность, мира. До этого момента интерес борьбы, несомненно, первенствует в общественном мнении Рима. После этого завоевания следуют уже как бы по инерции: они — в порядке вещей, к ним привыкли, — странно, если бы их не было! Римлянин видит свою историческую судьбу в обладании вселенной, как мы в обладании Азией. Черняев, Скобелев — храбрые генералы, но их дела — дела давно предсказанной судьбы, предвзятого исторического идеала, приобретшего фатальную настойчивость. Подвиги их настолько неизбежны исторически, что нет даже робкого беспокойства в их ожидании, нет и бурных восторгов при их исполнении. Просто, с приятным сознанием совершенной обязанности, нация отмечает день белым камешком: вот, слава Богу, и еще шаг вперед! — и только... Какой-нибудь Корбулон в Риме Клавдия и Нерона весьма напоминает роли Черняева и Скобелева в нашем обществе. Он — превосходный генерал, даже гениальный, но к нему нет

уже того интереса, что к Юлию Цезарю или Германику. Именно потому, что он уже генерал, главнокомандующий, а не династ-конквистадор, как были прежние.

Объединение власти, сравнительная долгосрочность правительств и твердая незыблемость самого образа правления значительно понизили еще один элемент в интересе к войне, прежде весьма важный. «При республике, господствующий класс часто искал в войне способа отвлечь опасность внутренней смуты, частью перемещая аппетиты внутренних захватов к надеждам внешних стяжаний и земельных приобретений, частью рассчитывая на то природное чувство солидарности, которое проявляется пред лицом внешнего врага, даже в населении, разделенном раздором. И, в самом деле, много раз мера эта достигала желанного действия, так как не только гражданское чувство и забота о надвинувшейся опасности требовали временного мира и согласных действий, но, кроме того, счастливые исходы войны позволяли искать в колонизациях, в ассигнациях, в клерухиях (военные колонии) как бы постоянного выпускного

клапана для накоплений местной распри» (Ciccotii). С завоеванием Галлии и Германии, интерес римлян к генералам провинциальных армий значительно упал. Германик — последний страстно волновал общественное мнение, потому что, как выдающийся принц Августова дома, он имел в положении своем во главе действующей армии много черт, двусмысленно схожих со старинными династами-конквистадорами, и любопытство к нему росло больше на почве внутренней политики, чем внешней. Нерон не любил войны. Как ни черна память этого государя, на ней нет пятен от безрассудных авантюр, эгоистически начатых ради личной славы или наживы, — он бережно относился к крови римского народа и, где только было хоть сколько-нибудь возможно, предпочитал дипломата солдату. Настроение государя всегда находит отражение в настроении общественных верхов. Война и военные, при Нероне, были решительно не в моде. Чтобы снова пробудить интерес к ней, нужно было междоусобие 68 года, превратившее всех старших генералов римской армии в претендентов на принципат, напом-

нившее время, когда дрались за власть над Римом аристократы с Помпеем против демократии с Цезарем. Как всякому великому государству, Риму война была важнее всего, как внешнее зеркало существующего в нем внутреннего строя, как урок и возможность к государственному перевороту. Этого элемента не было по смерти Августа уже ни в одной из войн его преемников, — даже в трудных войнах! — почему Рим видел в них не столько войны, сколько цивилизующие экспедиции. Действительно, двигая свои войска на северо-восток Германии, вглубь Азии, на Британские острова, Рим вместе с тем раздвигал и карту цивилизованного мира. Он теперь не воевал с народами, а покорял их и приспособлял к своим требованиям. Он внес к таким-то дикарям топор и связки ликторов, т. е. гражданские права, — в таком роде слагаются обычные отметки Сенеки и его современников о победах в веке Клавдия и Нерона. В каждый новый край римлянин приходил даже не как завоеватель, но как собственник, усмиряющий бунтующих фермеров, что ли, которых он, хотя и не видывал доселе, но тем не менее

считает своим законным достоянием. Таков Германик на Рейне, Корбулон на Востоке, Веспасиан в Иудее. Римлянин воевал, как предвзятый, роковой и неприменный владыка тех, с кем воюет. А.Н. Майков эффектно выразил этот взгляд римских полководцев в энергических стихах своего «Никогда!» — маленькой поэмы о первой встрече славян с римлянами:

Солнце шествует в пути,
И к нему все очи;
От него — вся жизнь и свет,
Без него — мрак ночи;
С ним у твари спора нет,
Ни переговоров;

Для народов солнце — я,
И со мной нет споров!

Как судьба, для всех моя Власть неотразима:

Повелитель мира — Рим,
Я ж — владыка Рима!

Словом Рим теперь — воитель свысока! Он не воюет с соседями, ибо соседей не признает, а лишь укрощает их мятежи против *divinum imperium*. Никогда, может быть, это чванство мировой державы не сказалось с большей яр-

костью, чем в посещение Рима парфянским царем Тиридатом, с которым империя, в сущности, была бессильна справиться и, за невозможностью полной фактической победы, решила удовлетворить свою гордость символическою: за Тиридатом были признаны все его права и искания, с тем лишь, чтобы он прокатился в Рим на поклон императору и публично принял корону из рук Нерона.

Высокомерный взгляд на вселенную, как на свою вотчину, отнимал у римлянина и возможность, и охоту к политиканству; он не боялся соперничества соседних великих держав, ибо их не было, не раскидывал умом и не спорил за чашею вина, как спорит француз в кафе, немец в биргалле, о кознях какого-нибудь парфянского Бисмарка или дакийского Солсбери. Отсюда — полное отсутствие тех болезненных обострений национализма, тех мрачных, и трусливых, и задорных в то же время, порывов воинствующего патриотизма, что являют из себя самый характерный политический недуг нашего времени — века «вооруженного мира», тройственного союза и пр., и пр. Римлянину совершенно чужд

был шовинизм. Бесконечно могучее извне,
прочное устроенное внутри, государство призна-
ет себя благополучным и от добра добра не
ищет.

Рах Романа римлянам Августова государ-
ства всего дороже и нужнее:

Петь войны я хотел, паденье городов,
Но Феб разгневанно ударил вдруг по стру-
нам,

Чтоб доверять не смел тирренским я буру-
нам

Своих ничтожных парусов.

Твой век, о Цезарь, вновь принес обилье
нивам,

Зевесу нашему вернул с надменных стен

От парфян знамена, захваченные в плен

И замыслом миролюбивым

Закрыл святилище Квирина, обуздал

Дух своеволия, опасный для правленья,

От преступлений дал народу избавленье,

Былые доблести воззвал,

Что имя римское прославили далеко

И мощь Италии и славу вознесли;

Ее величие — во всех концах земли

От стран гесперских до востока,
Под сенью Цезаря покоя не пресечь
Ни преступлений с враждой междоусоб-
ной,

Ни войнам, что куют на гибель острый меч
И ссорят грады ссорой злобной.

Эдиктов Августа нарушить не дерзнет
Ни враг, живущий там, где мчит Дунай
глубокий,

Ни серы с гетами, ни парфянин жесто-
кий,

Ни скиф, что влагу Дона пьет.

Запасись Либеры игривыми дарами,

Сбираясь в будние и праздничные дни
С детьми и женами, в кругу своей родни,

Мы, помолясь перед богами,

С лидийской флейтою, как деды песнь спо-
ем

О доблестных вождях и Трое невозврат-
ной,

Анхиза вспомним мы и правнука потом
Венеры благодатной.

(Горацій. Оды. /. 75. Пер. Ф. Порфирова.)

Так пел Августа Горацій, очень хороший и

честный римлянин, в высшей степени чуткий и верный отражатель народных настроений.

В обществе образованном такие веяния сочувственно поддерживала и развивала, вошедшая в моду, стоическая философия. Она приобрела настолько силы, что в лице Сенеки и Бурра была призвана даже править империей. «Стоическая философия, возникшая из краха эллинического государства, в виде блестящей и вдохновенной попытки гения, самобытно строилась в гражданскую общественную систему, очищенную от всякого засилья завоевателей, в государство завидной свободы. По всему тому, она должна была разбить нравственно эллинский партикуляризм, чтобы вернее высвободиться из коварных случайностей и утешений политического строя. Зато эта философия отлично почувствовала себя и успешнее распространилась в государстве, которое стремилось сделаться тождественным вселенной, в котором имя гражданина становилось равносильным имени человека, в котором дух человеческий видел пред собою меньше препятствий к тому, что-

бы выразить свой триумфальный полет возвышенным самосовершенствованием. С другой стороны, содействуя духу стоической философии, гражданское право стремилось расширить область свою, в порядке как бы концентрических кругов, к более обобщающим формулам права международного, а это последнее тянуло в сторону области еще более обширной, права общественного. Так, действительность превращалась в отвлечение, а отвлеченные идеи переводились в действительность.

Таким образом, мир получил от стоической философии, так сказать, свое помазание, — в идее человека, возвысившейся над идеей гражданина, в охвате идеальной сферы действия, освобожденного от житейских случайностей, в невозмутимости, с которою она, издеваясь, отделялась от всех натисков нужды и скорби. А, с другой стороны, в процессе иного помазания, он внедрился в Рим, как своеобразное правовое сознание римского гражданина, получил торжественное имя великого значения — *раx Romana*, «Римский Мир», и, в силу всего того, влиял со всем пре-

стижем и авторитетом положительного института, с силою и священной державностью, как могущественный символ Римского государства.

И, на некоторое время, в самом деле установилось во вселенной перемирие, и мир, казалось, наслаждался неисчислимыми благами мира. Он как бы залечивал свои раны; восстанавливал, в этом сознании безопасности, силы свои, как выздоравливающий, который чувствует, как оживает в нем под теплом вешнего солнца ощущение жизни. Уже не один историк и раньше, и в наше время выразил убеждение, что в первые века новой веры, а в особенности под властью Антонинов, человечеству улыбнулся мираж истинного «счастья» (Ciccotti).

Обратная сторона медали: счастливая сытость свободного, рабовладельческого класса развивает в нем политическое безразличие. Первый век, свершаясь под кровавым скипетром ужасных властителей, не характеризуется, однако, ни серьезным развитием партий, ни революционными попытками. Хотя цезари Юлиева дома почти все погибают насиль-

ственной смертью, однако не только не во всенародных, а даже и не в специально военных революциях, просто — жертвами мелких дворцовых заговоров. Исключением из правила был один Нерон, против которого поднялись солдаты, да и о том народ и буржуазия глубоко сожалеют после его смерти. Лже-Нероны долгое время являются то в том, то в другом краю империи, находят полное сочувствие, охотников защищать их мнимые права, боготворить их статуи и т.п. Ни одно государство, пережив такую беспощадную встряску, как Рим — в год от смерти Нерона до утверждения Веспасиана, не успокаивалось, не входило в обычную политическую колею скорее и легче этой удивительной империи. Идеал римлянина был порядок: стоя под властью, которая гарантировала ему порядок, он становился весьма покладистым насчет своих политических прав и обязанностей. Гастон Буассье очень остроумно доказывает, что пресловутая оппозиция при цезарях, о которой столько красноречивых страниц оставил нам Тацит, была весьма незначительна, — взятая, как процент к обществу довольных. Сдав свои

судьбы всецело в руки императора, римлянин все более и более теряет аппетит к государственной и общественно деятельности. Он бежит из сената, уклоняется от административных назначений: в Риме Нерона тысячи светских людей заражены политическим нигилизмом Овидия, который возбуждал столько негодования еще при Августе и Тиберии, — и во главе безразличных, жаждущих лишь любви, художественных наслаждений и роскошной чувственности — стоит сам цезарь. В ходу государственной машины все больше и больше принимают участия выскочки, вольноотпущенники, рабы: хозяевам же империи, родовитым римлянам, до нее, как будто, все меньше и меньше дела. Они уходят в сторону — живут в свое удовольствие, философствуют по Пирону или Эпиктету, углубляются в историю, в поэзию, в религию, безумствуют на играх амфитеатра и скачках цирка, пьют фалернское, то богословствуют, то сквернословят, развивают огромную общительность, но почти вовсе теряют общественность. Роскошное развитие жизни частной в ущерб жизни гражданской. Светский человек века

Нерона — политический скептик и лентяй до мозга костей. Когда отечество взывает к нему, он, с равнодушной улыбкой, надвигает себе на глаза свой цветочный венок и говорит: *poli me tangere!* Правда, Рим в эту эпоху кишит политическими авантюристами и честолюбцами, но патриотов в нем нет: есть только патриотические риторы; лучшее доказательство — заговор Пизона, участники которого, — при всем желании Тацита сохранить память их потомству в ореоле благородства, — вели себя, говоря знаменитой антиitezой Островского, скорее как мерзавцы своей жизни, чем как патриоты своего отечества. Единственной римлянкой старого закала среди этих римлян — *quasi*-патриотов, оказалась, как известно, совсем не римлянка — вольноотпущенница Эпихарис:

**Под видом праздников Киприды
Пизон друзей собирал к ней в дом.**

Вчера она, под колесом,

В жестоких муках, не вибилась

И никого не предала!...

Трещали кости, кровь текла...

В носилках петлю изловчилась

Связать платком — и удавилась.

Пизон, умирая, оставил льстивое завещание в пользу Нерона; Лукиан, автор мнимо-революционных Фарсалии, в жажде помилования, оговорил сообщниками заговора целую кучу невинных людей, и в том числе даже свою родную мать!.. Да и честолюбцы-авантюристы этой странной эпохи — какие то апатичные, как бы случайные. Тупой сукпец Гальба, фат Отон, обжора Вителлий умирают в последовательных военных революциях с таким равнодушием к потере власти и жизни, точно они до смерти успели им надоесть, точно каждого из них, когда он становился на ступени трона, внезапно осеняла идея напрасно сделанного усилия вроде знаменитого Мольерова: «и кой черт понес меня на эту галеру?» Равнодушные торжества — равнодушное, разочарованное умирание... Муциан, одевший в императорскую порфиру Веспасиана, мог сам ее одеть — и уклонился от этой чести, предпочтя господству над вселенной кабинетный труд географа и натуралиста. Гораздо более политики давали тем для салонной *causerie* поэзия, беллетристика,

изящные искусства, особенно скульптура, — гордость Рима, самое драгоценное из его художеств. Но, сколько бы ни распространялись эстетики в защиту древних статуй, якобы одетых, за неимением другого платья, целомудрием идеала, — нагота их все-таки остается наготою. Идеалистические извинения понадобились нам, как компромисс искусства с христианскою этикою, воспрещающей чувственные экстазы к «сотворенному кумиру». Но римлянин такого воспрещения не знал, чувственность ему была дозволена, и в своих скульптурных *nudites* он видел именно то, что они изображали, т.е. нагих мужчин и женщин, а вовсе не какие-то мраморные абстракты. Римлянин, который не находил ничего дурного в том, чтобы критиковать своего соседа с точки зрения пригодности его к «улучшению природы», разумеется, и скульптурное изображение рассматривал, прежде всего, как точное воплощение физической красоты и мощи; эпоха цезаризма отозвалась в скульптуре настоящим культом телесной силы, богатырских мышц, исполинских форм. Это — пора преклонения пред Лаокооном,

пред гигантами, ныне наполняющими неаполитанский национальный музей, пред Фарнезским быком, Фарнезским Геркулесом, Фарнезскою Флорою. Группы и статуи эти — мраморный апофеоз мускулов, как впоследствии картины Рубенса явились апофеозом жира. Мы услышим, что Нерон повторяет эти мраморы на играх своего амфитеатра, заставляя живых женщин изображать Дирцей, Пазифай и т.п. «Христианская Дирцея» Семирадского — зеркало если не совершенной действительности, то легенды, в которой звучит какая-то основная действительность, засвидетельствованной Светонием, Дионом Кассием, апологетами, хотя бы и в сомнительных интерполированных текстах. Дикая пластика терзаемого тела человеческого идет в строгой параллели с пластикой ваяния, которому мы, потомки, ухитрились насильственно навязать совсем неприсущие ему в то время идеалы, — и одна подает руку другой, одна пополняет другую. Разница лишь в материале, а впечатления — если не одни и те же, то, во всяком случае, одного характера. Довольно примеров можно было бы привести тому, что

римлянин видел в статуе как бы окаменевшее тело и воздавал ей дань восхищения с той же ярко чувственной окраской, что и живому телу. Патологические случаи такого рода сохранили для потомства Лукиан и Плу-тарх. А кто бывал в неаполитанском Национальном музее, тому легко поверить, что половая психопатия I века отражалась в искусстве его не случайно и случайно, но весьма преднамеренно, убежденно и как общее правило. Не только пресловутые группы и фрески секретного кабинета, но и значительная доля мраморов открытых галерей, при всей их чарующей прелести, должны быть отнесены к разряду несомненно порнографического умысла — совсем не потому, конечно, что они наги, а потому, что они подчеркивают какие-либо части этой наготы или ее общую экспрессию, с прозрачным расчетом возбудить в зрителе отнюдь не возвышенную эстетическую идею, но весьма низменное чувственное влечение. Раз была потребность в группах вроде Пана и Ганимеда, либо понадобился апофеоз женских ягодич (очаровательнейшая Венера Каллипига), это достаточно

характеризует и вкус заказчиков, и настроение художников эпохи. А как эти вкус и настроение объяснялись и сталкивались между собою, — и язык, и мысли того сберегли нам Петроний, Лукиан, Марциал, Ювенал, Апулей.

Во времена Овидия дамы читали из поэтов: Каллимаха, Сафо, Проперция, Тибула, Галла, Анакреона. Вскоре затем любимцем их стал сам Овидий. Красавицы большого света знали отрывки из этого поэта на память, щеголяли чтением их наизусть. Предположив даже, что такие гласные цитаты выбирались из наиболее невинных страниц шаловливого автора «*Ars amandi*», нельзя забывать, что рядом с невинными страницами идут в овидиевых поэмах совершенно невозможные, — и вряд ли юная римлянка, читая своего любимого автора, пропускала его недозволенные страницы, впиваясь всем своим вниманием только в дозволенные. При Домициане римские женщины изменили Овидию для Марциала, причем много выиграли в бесстыдстве. Марциал, со свойственным ему цинизмом, сам заявил, что за тем то он и не жалеет

порнографических картин и слов для эпиграмм своих, чтобы быть уверенным, что его дочитают до конца. «Остановись здесь! — лицемерно советует он «целомудренной матроне» (*ad matronam pudicam*), — не читай дальше, — дальше нехорошо: это я писал для себя. Отойди, мы раздеваемся, пощади себя и не смотри на голых мужчин. Здесь, после попойки с венками из роз, уязвленная вином Терпсихора, отложив в сторону всякую стыдливость, сама не знает, что говорить, и откровенно, без всяких обиняков, называет такие вещи, на которые благонравные девицы смотрят не иначе, как заслонив рукою свои глаза». Но, после столь честного предупреждения, шут Марциал снимает с лица нравоучительную маску и пренагло показывает матроне дразнящий язык: «То-то! Я ведь заметил, что толстая книга моя тебе надоела и ты уже собиралась отложить ее в сторону; ну а теперь, — знаю я вкусы твои, сударыня! — дочитаешь ее самым внимательным образом до конца!» «И Саул во пророках». И Марциалу свойственно иногда рядиться в мантию сурового цензора. Но при этом нет новинки изощ-

ренного сладострастия, выдумки утонченного разврата, постыдного обычая или привычки, каких не отметил и не описал бы Марциал. Все его описания великолепны в своем роде: сжаты, энергичны. Он не стесняется с читателем и на каждом шагу называет вещи своими именами, не прикрывая их даже легким вуалем. А чтобы усугубить опасный соблазн своих произведений, он щедрою рукою рассыпает по ним едкую соль своего блестящего остроумия. Эпиграммы Марциала имели огромный успех. Казалось бы, поэзия уже не в состоянии злоупотреблять своими формами больше, ронять свое достоинство ниже, чем развивая сюжеты Марциала. Однако у последнего были собратья по искусству, которыми даже он гнушался, читая которых даже он краснел. Так, он находит чересчур непристойными стихи Сабелла: *Facundos mini de libidinis legisti nimium, Sabelle, versus, quales nec Didymae sciunt puellae nee molles Elephantidos libelli* (Ну, и начитал же ты мне похабных стихов, Сабелл! Подобных не знают ни девки из мимолесских сказок, ни распутные книжки, сочиненные Елефантидою и т.

д.). Прямо невозможно даже догадаться, чем этот Сабелл ухитрился перещегоолять Марциала? Дальше последнего идти, казалось бы, некуда. Возможно лишь, что Марциаловы сальности, — краткие, брошенные как бы мимоходом и скрашенные большим остроумием, — находили в Сабелл повторение плоское, растянутое, без капли таланта, — и порядочным людям, снисходившим к шалостям Марциала, от Сабелла, что называется, претило. Гений и в грязи сверкает. Кто имел в руках книжку запрещенных стихов Пушкина, тому известно, что, несмотря на весь цинизм их содержания, между ними и так называемую «барковщиною» — непроходимая бездна. Там, где Пушкин вызывает лишь улыбку, Барков омерзителен, тошнотворен. Сочинения Сабелла не дошли до нашего времени.

Известна лишь тема одного его произведения, — совершенно невыразимая, по современным условиям. В средние века ее развивал в своих сонетах пресловутый Аретин. Эпиграмма Марциала на Сабелла не переводима ни по общему смыслу, ни по отдельным выражениям: таково хорош был писатель,

что даже обличение не умело характеризовать его иначе, как похабными словами! Книжный рынок Рима был наводнен порнографическими романами. Уцелевшие два-три образчика этой литературы: «Метаморфозы» Апулея, «Лукий» Лукиана или псевдо-Лукиана и «Сатирикон» Петрония, позволяют судить об утраченном. Очень различные между собою по даровитости и остроумию, они однако, имеют одну общую черту: в полном виде все три стали невозможны для публики и должны были быть зачислены в разряд книг сокровенных. Однако женщины Рима не только читали эти романы, но и сами сочиняли в том же духе — если не большие вещи, то маленькие эротические стишки. Что за писательница была вышеупомянутая Елефантида, явствует из аттестации Светония: «Спальни свои он (Тиберий) украсил, в разнообразнейших родах, похабнейшими картинками и барельефами, в коих живопись и скульптура состязались в непристойности, и там же поместили книги Елефантиды, чтобы когда придет время разврата, каждый имел перед глазами руководство к мерзости, которую ему прика-

зано будет совершить, и не мог бы отговориться отсутствием примера» (Тіб. 43). Неизвестно, кто была эта Елефантида и на каком языке она писала свои мерзости, — судя по имени, вероятно эллинизированная египтянка, вольноотпущенница, и, значит, писала по-гречески. Я допускаю даже, что это, может быть, не имя автора, а местности в Египте, прославленной распутством и, следовательно, спросом на непристойнейшую литературу. Но вот — пример римской поэтессы из лучшего общества. Сам Марциал высоко ставит произведения в игровом роде современницы своей Сульпиций, супруги Калена, женщины, по римским понятиям, даже необычайно порядочной: она была *univira*, т. е. не развелась во всю жизнь со своим мужем и оставалась верна ему. Так как эротические вдохновения этой поэтессы вращаются в сфере исключительно законной, супружеской любви, то Марциал характеризует их такой антитезой: «Что может быть добродетельнее ее стихов и, в то же время, есть ли стихи шаловливее?». Сульпиция воспевает разнузданный разврат, но разврат со своим собствен-

ным супругом. Любопытно, что этой же Сульпиций принадлежит одно из лучших политических стихотворений I века, — *Sulpiciae satira, heroicum Sulpiciae carmen*, — направленное против императора Домициана и предрекающее его падение. В застольной беседе, после изрядных возлияний, фантазия, воспитанная и направляемая подобной литературой, несомненно, могла залетать к пределам самой грязной, самой дикой распущенности. Надо опять вспомнить, что римляне — южане. Жаркий климат, как кажется, способствует тому, чтобы и речь человеческая обнажалась от всяких условных прикрытий, как обнажалось у древних тело. Религия, нравы, искусство единодушно учили римлянина принимать жизнь целиком, такой, как она есть, посвящать себя ее счастью во всей ее полноте и выражать ее в мысли и слове, без малейших прикрас и утаек. Итальянцы и сейчас то и дело шокируют северян неожиданными откровенностями по части своих физиологических отправлений (в особенности, пищеварения), которые они, с наивностью детей, считают интересными для других столь-

ко же, сколько все это им самим важно. При этом все вещи называются вслух, если не «своими именами» из уличного жаргона, то во всяком случае, с точностью терминологии, которая привела бы в остолбенелый ужас самую вольноязычную русскую гостиную. Это — после шестнадцати веков католической дисциплины. Язык же римлянина и вообще не был обуздан какими-либо счетами с целомудрием христианской школы. Сфера уважения не ограничивалась в римском обществе достоинствами умственными и душевными; качества физические восхвалялись и в равной с ними степени, и в той же подробности — на наш вкус, конечно, грубой и неприличной, затем следует отметить влияние на язык общества рабской массы. (Ср. в I томе главу «Рабы рабов своих»). Римлянин или римлянка обращались со своими рабами гораздо фамильярнее, чем современные европейцы со своими слугами: изжив свой собственный аристократизм и не усвоив еще уроков совершенного презрения к человеку-вещи ни от дикой аристократии германского севера, ни от деспотического азиатского

востока, они почасту и помногу с рабами беседуют, они в постоянном с рабами общении. Близость этой грубой среды не могла не отразиться на разговоре господ, внося в него рабский, низменный жаргон, словечки, шуточки, анекдоты и сплетни, порожденные в людской. На женщинах рабское влияние, быть может, сказывалось еще вреднее, чем на мужчинах, потому что домохозяйка всегда фамильярнее и ближе к своей девичьей, чем домохозяин ко всей дворне. Вещь изумительная! Подобно тому, как женщина императорского Рима была отнюдь не умерительницею, но скорее сообщницею и подстрекательницею мужского пьянства, так точно мы не видим, чтобы она пыталась обуздать вольность языков мужского общества: напротив, она — сообщница и участница распущенности века. Возлежать за столом, — долгое время было исключительной привилегией мужчин. Вообще, это — обычай поздний и бесцеремонный, радостный, пирушечный. В дни траура, напр., возлежать за столом почиталось вообще неприличным, надо было сидеть. В обществах, смешанных возрастами и положени-

ями сословными, не могли возлежать дети, подростки, мелкие люди. Женщины, по старой, благоразумной традиции, обедали сидя. Обычай возлежания перестает быть исключительно мужским только в конце республики. Сперва стали обедать по-мужски куртизанки; за ними потянулись и порядочные женщины. Разумеется, первые матроны, последовавшие новой моде, очень хорошо знали, кому они подражают: соревнование — весьма характерное, но нелестное для них, а разрешение соревноваться — не менее характерно и еще менее лестно для их мужей...

В общем, было принято, чтобы женщины возлежали одна подле другой. Но обеденное ложе, обыкновенно, не вмещало больше трех человек. Следовательно, если число приглашенных дам не делилось на три без остатка — одно место на каком-либо ложе или оставалось пустым, или на него укладывали мужчину. Разумеется, в таких случаях, старались помещать жену рядом с мужем, но мы знаем, что римские женщины бывали на пирах и без мужей; к тому же, Рим кишел весело-живущими вдовами и разводками. Поэто-

му, даме, приглашенной к обеду, было совсем не в редкость очутиться на одном ложе с мужчиною, совершенно ей посторонним. Размещались в таком порядке: мужчина возлежал на боку, упирая голову на левую руку — спиною к предшествующему сотрапезнику; женщина, следующая за ним, также обращена к нему спиною; она называется «ниже лежащею» — *subjecta*.

Отправляясь на званый обед, женщины декольтировались, — быть может, несколько менее, чем считают это возможным наши дамы, выезжая на бал или спектакль *gala*, однако, отнюдь не приличнее их, — напротив. Безрукавные платья римлянок шились так свободно, что еле держались на плечах, и одного жеста было достаточно, чтобы раздеться чуть не до пояса. Собственно говоря, это — даже не платье, а длинная рубашка; в холодное время женщина одевала таких рубашек три, одну на другую, но так как они делались из материй весьма легких и воздушных, то наряд скромнее не делался. Сверх платья дамы носили плащ — *palla*, с застежкой на груди. Ложась за стол, они расстегивали *palla* и отбрасывали

себе на ноги, как покрывало. Расположить его изящными складками было наукой своего рода — признаком светскости, кокетством самого высшего тона. Римляне, перед обедом, снимали обувь, и — обычай нельзя сказать чтобы изящный! — рабы омывали им ноги. Чулки носили только зимой. Фортуната, жена Тримальхиона, в «Сатириконе» Петрония, хвастается драгоценными подвязками к чулкам. Дорогие вещи делаются обыкновенно не для того, чтобы их скрывать под одеждой. Эта маленькая подробность Петрония характеризует нам, как мало стесняло римскую женщину ее длинное платье, если дамы находили возможность щеголять на пиру, пред мужчинами, своими подвязками. Вообще, античный костюм был, в конце концов, тем чего желала от него сама женщина, сообразно своим вкусам: или самым целомудренным из всех возможных одеяний, или, наоборот, самым вызывающим. Древние оставили нам много статуй и барельефов, свидетельствующих именно о такой «одетой раздетости» их дам. О ней же говорят и помпейские фрески. Таким образом, появляясь на пиру, римлянка уже самым

костюмом своим бросала сотрапезникам вызов на нескромные мысли, речи, и даже — как мы видели ранее из предостережений Овидия — поступки. Наша современная поговорка «в тесноте, да не в обиде», повторяемая, когда гостей оказывается больше, чем мест за столом, была, таким образом, совсем неприменима к римскому обеду, где решительно все соединялось, чтобы развращать мужчин и отравлять воображение женщин: опьянение мужей, притворное «навеселе» ухаживателей, скабрзные темы разговора, безудержная распущенность в их развитии, бесстыдный жаргон, духота атмосферы, напитанной опьяняющими духами, близость полураздетых тел, распутные сцены мимов, пантомимов и актеров, приглашенных потешать почтеннейшую публику. К этим нравственным пряностям, всецело направленным на одну цель — безумное раздражение чувственности, надо отнести и рабов и рабынь, служивших у стола: такой чести удостаивались только первые красавцы и красавицы дворни; рядили их при этом как куколок, но о скромности костюма опять таки заботились меньше

всего.

К концу обеда, когда веселье гостей достигало высшей точки, в столовую вступали кадиксанки. Танец, которым развлекали римлян эти смуглые девы с огромными черными глазами, до сих пор еще танцуют в Алжире альмэи, и в Индии — баядерки. Два момента жизни человеческой нашли себе хореографическое изображение равно у всех народов, не исключая самых диких: война и чувственный экстаз, инстинкт убийства и инстинкт половой любви, продолжения рода человеческого. В соответствии с этим и римляне имели танцы — пиррический и cordax. Последний танец, греческого происхождения, был, по-видимому, чем-то вроде канкана, в соединении с *danse du ventre*. Одна из фигур этого танца сохранилась на одной мраморной вазе Ватиканской: пять фавнов и пять вакханок — в позах, хотя весьма энергических и оживленных, однако совсем не «похабных». По справедливому замечанию Антони Рича, непристойности гораздо больше в неаполитанской тарантелле, которую Рич и считает остатком греческого кордакса. Римская чернь плясала на пирах

своих cordax сама, богачи и вельможи заставляли плясать кадиксанок, но суть пляски, — что на верхах, что в подонках общества, — оставалась одна и та же: разница была лишь в изяществе исполнения. Кадиксанки до сих пор славятся красотой, великолепным телосложением, нервностью породы, каким-то романтизмом чувственности. Их воспевали все путешественники-поэты XIX века от лорда Байрона до Пьера Люиса включительно. Рим бредил ими. Помпейские фрески довольно часто повторяют один живописный мотив: танцовщица, парящая в воздухе, «окрыленная пляской без роздыху», по картинному выражению поэта Мея. Всякий, кто бывал в Неаполе, наверно имеет альбом, портсигар, пресспапье с фигуркою такого типа. Одежда танцовщицы — огромный вуаль, прозрачный, как газ. Фрески изображают нам этих плясуний в двадцати различных па и позах, начиная от самых скромных до самых смелых. То мы видим, как танцовщица, совершенно обнаженная, собрала весь свой вуаль в складки и грациозным жестом подняла его над головою; то она вся закутана в серебристую ткань

и сквозит в ней, как из светлого облака. Весьма возможно, что фигуры эти изображают именно пляски кадиксанок, столь модных в том веке. Влияние их на нравы было огромно, восторг к ним — всеобщий. Марциал, в стихах уже совершенно не для дамского чтения, клянется, что пляски кадиксанок могли бы свратить с пути истинного даже святого.

Не говоря уже о преступных нескромностях, сами супруги, в заразе перечисленных соблазнов, иной раз совсем позабывали приличие. Супружеская жизнь древних, постоянно окруженных всеслышащими и всевидящими рабами, вообще чуждалась в своих нежностях той скрытности, какую воспитало в грядущих веках суровая христианская дисциплина. Не только свидетельство писателей, но и супружеские группы на сохранившихся барельефах многих саркофагов указывают нам, что древние не смотрели на рабов, как на людей, стыдились их не больше, чем домашних животных. Трапеза мужа и жены — обычный мотив барельефа на семейном саркофаге. Супруги возлежат за столом, полуодетые, а муж иногда и вовсе нагой, между тем как кругом

суеются слуги с блюдами, одетые в свои парадные ливреи, — для обедающих они точно невидимки. А для пьяных могли стать невидимками не только слуги, но и соседи-сотрапезники. Об этом подробно рассказывает Овидий, написавший великолепную по яркости красок, по энергии страсти, картину ревности тайного любовника к мужу, который вздумал приласкать жену свою, охмелев на званом обеде. «Перестань удивляться бою, окровавившему свадебный пир прекрасной Гипподамией!» восклицает он, напоминая о знаменитом побоище лапидов с центаврами, разгоревшемся именно из зависти последних к счастью новобрачного Пирифоя. «Отказывай своему мужу в поцелуях! Если ты поцелуешь его, я объявлю себя твоим любовником, — я протяну руку и крикну: отдай! это мое!»

Надо заметить, что откровенные супружеские поцелуи, которые теперь скандализировали бы самое бесшабашное общество, — лишь невиннейшая в ряду ласк, приводящих в отчаяние ревнивого Овидия. Он целую страницу стихов изливает свои жалобные предчувствия — столь нецензурные, что, казалось

бы, они и невероятны. Но... «Увы! объясняет он, — я много боюсь, потому что многие из этих штук я сам проделывал; мой собственный опыт — причина моей пытки!» И рассказывает анекдот из любовных похождениях своих с какою-то дамою, — может быть, с тою же, к которой обращает он теперь свои предостережения и угрозы, — как менялись они на пиру быстрыми ласками, под коварным прикрытием ралла. Возможность и вероятная частая практика подобной фамильярности объясняют нам, почему Светоний с таким негодованием отмечает, что Калигула помещал за обедами на одном ложе с собою сестру свою Друзиллу, как сотрапезницу, возлежащую ниже, т. е., по римской терминологии, как *subjecta*. Для нас нет ничего удивительного, что брат обедает рядом с сестрой, но в глазах Светония, знакомого с нравами римских пиров, такое помещение Друзиллы являлось крайне неприличным: Друзилла занимала место, по праву принадлежащее законной супруге императора, — в то время, как последняя, вопреки обычаю и этикету, возлежала выше мужа; на римский взгляд, Калигула и

Друзилла таким бесчинством, самым наглым образом афишировали свои кровосмесительные отношения.

Подробнейшее и талантливейшее изображение пира в латинской литературе — обед Тримальхиона в «Сатириконе» Петрония. Ученые строили догадки, будто автор хотел написать сатиру на Нерона и его распутства. В Тримальхионе хотели видеть Клавдия, В Фортунате — Агриппину, в Агамемноне — Сенеку и т. д. Открытие весьма хитрое и тонкое, но... еще более нелепое. Его разбил еще в конце XVIII столетия (6-й год французской республики) Де Герль (S. N. M. de Guerle). Буквально, нет ничего общего между аристократом Нероном и грубым буржуа петрониева романа, — кроме того, разве, что оба развратны. Тримальхион — вольноотпущенник, рожденный и воспитанный в рабстве, обогатившийся темными спекуляциями, — изобретен и пущен в свет Петронием просто затем, чтобы, в своем качестве выскочки худородного, но живущего на широкую ногу невежды, играющего роль человека светского, но хама в полном смысле слова и усердного подражателя вель-

мож, явиться яркою пародией на быт и нравы последних. Если уж надо искать исторического оригинала для Тримальхиона, то, по мнению Гастона Буассье, которое когда-то и меня увлекало, больше других людей эпохи годится на эту роль известный Паллант, любимец Клавдия, сообщник Агриппины.

Нерон ненавидел Палланта, зло и весьма удачно острил на его счет и в конце концов отправил его на тот свет при помощи отравы. Не о сатире на Нерона, а угодить Нерону — по мнению Буассье — думал Петроний, рисуя нелепую фигуру отпущенника-миллионера, столь похожую на вечно осмеиваемого Цезарем Палланта. Мы — в лакейской, хотя в ней и пахнет миллионами. Тримальхион — лакей, хотя он владеет чуть ли не целым герцогством и распинает рабов своих на крестах. Пир его — праотец знаменитой оперетки Оффенбаха «Парижская жизнь», в которой добродушный провинциал, мечта познаться с аристократией второй империи, случайно попадает на балик прислуги: лакеи величают себя герцогами и маркизами, горничные графинями и княжнами и... хотя несколь-

ко удивляют наивного провинциала странностью «аристократического» своего тона, но ему превесело.

В настоящее время я совершенно отказался от мысли искать в романе Петрония портретность — по крайней мере, историческую портретность: черты лиц известных нам из летописей и надписей. Это просто типический жанр, в котором разные люди эпохи могли сборно отражаться теми или другими своими особенностями достаточно ярко, чтобы общий жанр мог быть принят за частный портрет. Материала, чтобы «Клим украдкою кивал на Петра», у Петрония предовольно. Но прямых преднамеренных портретов в «Сатириконе» не больше, чем в «Мертвых Душах», «Ревизоре», «Господах Головлевых», либо даже в «Современной идиллии». Петроний — писатель охвата гениального, ему вполне доступен уровень Гоголя и Салтыкова, — и я не понимаю, зачем стольким литературным историкам непременно хотелось свести его на уровень пишущего непременно *ad hominem* Боборыкина? **Типичность**, а не портретность романа лучше всего характеризуется тем фак-

том, что личность Петрония весьма долго оставалась спорною, и хронологию романа определяли старые исследователи на самые разные эпохи, доказывая тем самым, что мнимые портреты годятся для римского общества в любом его веке, что Тримальхион, Фортуната, Абинна, Асцильт бессмертны для Рима так же, как Собакевич, Коробочка, Расплюев, Иудушка бессмертны для России. П. Питу, «французский Варрон XVI века», первый признал «Сатирикон» романом Неронова века: мнение, общепринятое теперь, после трудов в XIX веке Моммсена, Реднера, Штудера, Галея, Бюхеллера, Гастона Буассье, Тейффеля и др. Но взгляд Питу долго оставался одиноким. Из братьев Валуа один относил «Сатирикон» к веку Марка Аврелия, другой — к эпохе Галлиена, Пети (Статилий Марин), Бурдель и Жан Леклерк — к веку Константина, Игуарра — к веку Коммода, Лилио Джиральди — к эпохе Юлиана Отступника, Герль считал Петрония современником Аврелиана, Т. Анри Мартен — Каракаллы, Нибур — Александра Севера, Касито — Домициана. И, наконец, в отличие от всех этих авторов, помещающих Петрония в

века по-неронианские, американец Бек видит в нем автора до-неронианского, писавшего при Тиберии либо даже при Августе. Так как я посвящаю Петронию особое нарочное исследование, то не буду здесь подробно останавливаться на романе его более того, сколько его картины иллюстрируют нашу ближайшую тему.

Бесконечные перемены блюд, рой рабов, многочисленных, как мухи, но еще более надоедливых, бесконечно мелочное дробление между ними их незначительного труда, интермедии, прерывающие обед каждую минуту, — вот черты пира Тримальхиона, общие со всеми пирами того времени. Разница только в том, что рабы Тримальхиона менее скромны, хуже вышколены и не так ловки, как в других домах; что Петроний явно утрирует безобразно пространное и обильное меню обеда; что развлечения компании *parvenus* грубы и дурного вкуса; что сюрпризы хозяина гостям — ряд нелепостей. Обед еще наполовине, а уже «пошла писать губерния»: гости спорят, ругаются, один держит речь, другой голосит песню; тот рассказывает

свои текущие дела, хвастается своим домашним хозяйством, этот, с пьяной откровенностью, посвящает собутыльников в тайны своего прошлого. Сам Тримальхион признается во всеуслышание, что в рабской молодости своей он целые десять лет пользовался благосклонностью своей госпожи и был жертвой противоестественного разврата своего хозяина. Женщины громко обсуждают подобные же наклонности своих мужей, ревнуют их к их любимцам, спорят, утешают одна другую. Ревность приводит к ссоре между Фортунатою и Тримальхионом. С обеих сторон сыпятся словечки из жаргона Субурры, — квартала, имевшего в Риме приблизительно ту же репутацию, что в Петербурге Сенная площадь. Один из гостей, шутки ради, дергает Фортунату за ногу, так что старуха кубарем летит с лужа — ко всеобщему удовольствию, кроме своего собственного. Разгорается страшный скандал. Разгоряченный бранью жены, Тримальхион бросает ей в голову кубок. Шум так велик и безобразен, что городская стража, думая, не пожар ли в доме, выламывает двери и проникает в столовую с топорами, баграми и

воду, чтобы тушить огонь.

Правда, гости Тримальхиона — выскочки низкого происхождения, долго косневшие в черном труде; они — не «общество», не «большой свет». Однако бесспорно, что они все же дают понятие и о последнем, хотя и карикатурное, искаженное, как отражение в выпуклом или вогнутом зеркале.

Всякий выскочка — раздражитель высшего класса своей эпохи. Недостатки аристократии воспроизводятся в классе «буржуа-жантильеров» как бы сквозь увеличительное стекло. Выскочка русских тридцатых, сороковых годов буянил, пьянствовал, жег на свече государственные кредитные билеты, купал в шампанском цыганские таборы, — потому что выпить, швырять деньги, не считая, увезти из театральной школы кордебалетную фею считалось молодечеством среди мужчин настоящего света. Представьте себе, что какой-нибудь откупщик избрал бы своим идеалом воспитанного Денисом Давыдовым Бурцева — «еру, забияку», бреттера Долохова из «Войны и мира» или графа Турбина из «Двух гусаров» Л. Н. Толстого. В желании «блеснуть

очаровательнее», истинно по-долоховски или по-турбински, он всенепременно пересолил бы настолько, что даже сами Долохов и Турбин пришли бы в ужас и отвращение пред подвигами во славу их идеала. Пересол — судьба класса выскочек, почему они всегда являются наиболее яркими рефлекторами особенностей своего времени. Откупщик пересаливал в ухарстве, когда оно было добродетелью Долоховых и Турбиных, а гости Тримальхиона пересаливали в пьянстве, чувственности и распущенности, когда они были добродетелями Неронова дворца. Будь прилично общество императора, приличнее вели бы себя и подражающие ему выскочки-миллионеры высшего полета. Дикости последних — лишь преувеличения дикостей большого света; нет черты, которая, отразясь карикатурою в нравах *parvenus*, не нашлась бы, в той или другой форме, и в нравах дающей веку тон аристократии. Тримальхион удаляется от своих гостей, заботливо объясняя каждый раз физиологические причины, такие уходы вызывающие. Это безобразно; Тримальхион — неотесанный мужлан, без всякого воспита-

ния. Но на «Пиру» Лукиана, не раз уже цитированном, происходят, несмотря на светскость и корректность родовитого домохозяина, вещи не менее странные. Едва сели за стол, как приходит незванный, непрошенный философ-циник. Полоумный, нищий, он сам пригласил себя на пир. Так как на ложах нет более мест, он ложится на полу, среди столовой. Одет он только в плащ и не конфузится своей наготы; напротив, гордится ею. Любуйтесь, мужи и жены! вот какие могучие руки и ноги, какой крепкий торс.

Женщина теряла уважение к себе, как к предмету пьяной чувственности, и переставала уважать мужчину, которого только и видела, что обжорой, питухом, да грязным волокитой. При Калигуле, Клавдии, Нероне Рим управляется не умом мужчин, но интригами женщин: они направляют ход государственного корабля, с презрением, прикрытым кощачьими ласками, вынимая руль из рук спившихся с круга правителей сената, царедворцев. Огромное, ожирелое, свирепое и изнеженное животное, — именуемое римлянином в описуемую эпоху, — взнуздано и осед-

лано развратными амазонками века. Отравленный вином, Рим, — с нервами, разбитыми вечным похмельем, — огромная клавиатура страстей и похотей, диктуемых алкоголической неврастенией. Направлять эти страсти и похоти к своим выгодам — дело женщин: какая из них направляла более смелой и искусной рукой, та и властвовала.

ПАДЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ ПАРТИИ

I

Поворот от восьмилетней игры в конституционный принципат к деспотической реакции был ускорен тяжелой общественной потерей: скончался Афраний Бурр. Его задушило дифтеритом. Быстрое развитие болезни на смертный исход дало повод к сплетням об отравлении. Утверждали, будто, по приказанию Нерона, врач смазал Бурру горло, под видом лекарства, раствором ядовитого снадобья. Цезарь навестил умирающего. Бурр, — потому ли, что верил в отравление, потому ли, что ужасная борьба с потерей дыхания уже сделала его базразличным ко всем земным почестям, — принял милостливый визит очень холодно. На вопрос императора о здоровье он сухо ответил: «Мне хорошо», — отвернулся к стене, и больше Нерон не получил от него ни одного слова.

Предсмертная холодность больного воспитателя к державному ученику, конечно, еще не доказывает, что Бурр, умирая, сознавал себя жертвою Неронова преступления. Кто испытал дифтерит, знает, что удрученное бессилие духа и равнодушие, даже отвращение к окружающей действительности, не исключая самых близких людей, — постоянные спутники его рокового удушья. Но, с другой стороны, нет ничего невероятного, если Бурра действительно отравили. Сомнительно лишь, чтобы — по приказанию Нерона. В это безусловно верят Светоний и Дион Кассий, но мало верит Тацит, несравненно более тонкий психолог и умный судья событий, чем первые двое. Желать смерти Бурра было кому и без Нерона, император же не имел решительно никаких причин убивать верного, исполнительного слугу, — при том же, совершенно исключительного по талантливости и глубоким сведениям в военном деле, которого сам Нерон не любил, не понимал, заниматься которым не хотел, и свалить заботы о котором на плечи надежные и верные было для него очень важно. В главах военной истории Неронова прав-

ления мы увидим, что армия Рима в золотом пятилетии находилась в руках блестящих командиров, и уже говорено было, что последние —

Светоний Павлин, Домиций Корбулон — назначались на посты свои Нероном лично (т. е. под влиянием Бурра и Сенеки), вопреки интригам дворцовой камарильи, руководимой Паллантом и Агриппиною. Нерону не было никакого расчета прекратить смертью Бурра превосходное военное управление, успехами которого он пользовался, пальцем о палец для них не ударяя и очень хорошо зная, что другого Бурра ни при дворе, ни в Риме он с огнем не сыщет. Потеря Бурра оставила незаполнимую пустоту в строе римской государственной машины. Занимая пост преторианского префекта, он один совмещал в себе военного министра и главнокомандующего гвардией. Для такого совмещения Нерон, конечно, не нашел Бурру достойного преемника, — вот уже первое затруднение! — и пришлось снова разделить префектуру надвое, как в старое клавдианское время, до реформы единоначалия, проведенной Агриппи-

НОЮ.

Из двух министров-воспитателей Нерона потомство очень много знает о Сенеке, но очень мало о Бурре. Любопытно, что имя Бурра всего однажды встречается в сочинениях Сенеки (*Declementia*, 7) и Светония (*Nero*, 35) и ни разу у обоих Плиниев. Мы имеем сведения о Бурре только от Тацита и притом весьма отрывочные и несовершенные (*Duguy*). Дружба и согласие обоих государственных людей ни разу не были омрачены хотя бы тенью раздора или взаимной ревности к власти: отношения не только редкие, но даже почти небывалые между двумя могущественными министрами одного государя! Если Сенека был умом, гением-вдохновителем их властного союза, то Бурр — его характер, гений-исполнитель. Мы видели, что служба Нерону заставила этого угрюмого солдата принять на душу не мало грехов и подлостей. Однако он умер не только с репутацией честнейшего человека, но и дружно оплаканный всем Римом, как излюбленный и незаменимый образец порядочности на вершинах власти. «В то время, как общественные бедствия с каждым днем

становились более тяжкими, облегчения от них уменьшались», такими словами начинает Тацит некролог Бурра (*Gravecsentibus in dies publicis malis, subsidia minuebantur*). Итак, Бурр считался облегчением общественных бедствий. Чем же облегчал он их, этот участник отравления Клавдия, предводитель *pronunciamento*, отдавшего принципат в руки узурпатора, попуститель, если не сообщник, убийств Британика и Агриппины, потатчик разврату и сценическим увлечениям цезаря, которые римское общественное мнение ставило Нерону в вину едва ли еще не с большею настойчивостью, чем убийство матери? Почему даже взыскательный Тацит питает к Бурру самую теплую симпатию и относится к нему с гораздо большим уважением, чем к блестящему товарищу его, Л. Аннею Сенеке?

Разгадку, мне кажется, надо искать в том, что Рим ценил в Бурре умного и твердого «человека с планом». Это — выдержанный, стойкий политик: гвоздем забив себе в голову одну важную государственную цель, он — лишь бы достичь ее — мирился с самыми невозможными условиями мрачной дворцовой

жизни. Я слышу Бурра, когда в «Макбете» честный и смелый патриот Макдуфф, призывая на престол Малькольма, разрешает молодому государю быть сладострастным, корыстолюбивым, кровожадным, лишь бы он избавил Шотландию от тирании и восстановил в ней правовой порядок. Для хромого Бурра цель оправдывала средства. Со стыдом за свое нравственное унижение, с раздирающею болью на сердце, полный угрызений совести, Бурр, все же считает долгом и фанатически принуждает себя барахтаться в крови и грязи Неронова Палатина. Потому что — пусть, по дороге, пришлось запачкаться прикосновенностью к братоубийству и матереубийству, быть свидетелем и попустителем всяких развратных и глупых неистовств: зато, что касается государственной деятельности, Нерон был всецело в его, Бурра, руках и, как послушное орудие, часто сам того не замечая, осуществлял заветную цель солдата-гражданина.

Еще в недавнее время держался исторический предрассудок, до сих пор кочующий по школьным учебникам, что в эпоху цезаризма в Риме за империю стоял порок, а добродетель жила идеалами древней аристократической республики и жаждала ее возрождения. После трудов Моммсена, Герцога, Шиллера, Ренана, Гастона Буассье, а из русских Гримма, Зелинского, Виппера надо проститься с обветшалым предрассудком. Если бы и были в Риме пятидесятых—шестидесятых годов первого века политиканы-староверы, чавявшие вернуться к республиканским формам назад, за Фарсальскую битву, то число их и деятельность были ничтожны и незаметны. И это — далеко не передовые люди эпохи. Напротив, повторяю: это — римское подобие роялистов или наших крепостников, маленькая горсточка обнищалых аристократов, беззубо мечтающих об *ancien regime*. Нет, порядочные люди (*boni*) Неронова Рима — Бурр с Сенекою, Тразеа Пет со стоической оппозицией и бывшие империалисты, вроде Вестина,

утомленные безобразиями дома Юлиев — Клавдиев, — искали совсем не давно и безнадежно отживший век свой мнимо республиканской олигархии династов-феодалов, но лишь упроченной конституции: единовластия, упорядоченного и ограниченного народовластием, в представительстве сената. Уничтожить принципат было немислимо: его желали войска, народ, провинции. Даже Тацит, несмотря на всю свою ненависть к цезарям, не отрицает, что для провинций превращение республики в империю было истинным благодеянием. Самые худшие из императоров оказывались для провинции лучшими правителями, чем республиканская олигархия, из года в год подносящая своим подвластным народам вместо губернаторов—кровопийцев и вымогателей, вместо закона и суда — кормление, правез и взятку, вместо обложения — денной грабеж какого-нибудь Берреса. Ампер, который оспаривает это мнение, находит себе опору лишь в Ювенале, что так же мало доказательно, как если бы, выбрав из сочинений Салтыкова страницы, где великий сатирик высмеивает

злоупотребления разных негодяев, приклеившихся к новым судам, к земству, к адвокату-ре, вывести заключение, будто русское общество было недовольно земской и судебной реформами Александра II.

Обвинения в республиканизме, которым повергалась передовая сенатская интеллигенция-оппозиция, опровергнуты никем иным, как самим ее вдохновителем, Сенекой, в 73-м письме к Люцилию, знаменитом письме, обширно развивающем теорию сервилистических компромиссов между философией и державной властью. Подозрения на философов в революционном свободолюбии совершенно напрасны и несправедливы. У государей нет подданных более верных и преданных, чем философы. «Из путешественников, переплывающих гладь морскую, выигрывает всех больше от спокойствия волн и всех больше благодарны за то Нептуну те, чей перевозимый груз всего дороже». Так точно и государственный мир является особенно высокой ценностью для тех, кто им пользуется, чтобы искать мудрости, так как они делают из него благодеяния и особенно признательны тому,

кто его дарует. Лично Сенека десятки раз высказывал себя убежденным монархистом (смотри во II томе 1-ю главу). Идеал правления для него — монархия с монархом, правящим закономерно: *optimus Status civitatis sub rege justo* (*De benef.*, II.). Восстановление древней республики, гордой, узко-националистической олигархии аристократов, ему, этому испанцу, провинциальному выскочке, которого империя демократическим и космополитическим духом своим превратила в римского вельможу, казалось совершенно невысказанным — по отсутствию угасших древних нравов, дипломатически объясняет он. Сенека осуждал Брута за убиение Юлия Цезаря. Империю он считал совершенно необходимой для благополучия Рима. Мы уже слышали от него фразу: «Рим перестанет повелевать в тот день, когда перестанет повиноваться (*idemque huic Urbi dominandi finis erit, qui parendi fuerit*)». Правда, — замечает Гастон Буассье, — что у Сенеки всегда на устах имя Катона, что дает как бы намек, будто мило ему и дело, которому Катон служил с таким благородством. Но хвалы, воздаваемые Като-

ну Сенекой, обыкновенно ложатся вне политической области. Он видит в Катоне только философа и порицает, зачем он был патриотом и республиканцем; находит, что вмешательством в государственные дела Катон себя унижил. «Что тебе делать, — восклицает он, — в этой каше? Дело в ней идет вовсе не о свободе, она давно утеряна. Вопрос сводится к тому, кто из двух соперников овладеет республикой: что тебе до их спора? Ни одна из партий не достойна тебя». Таким образом, Катон Сенеки — Катон цензурованный: он возвеличен, как мудрец, но перестал быть гражданином. Он слишком высоко парит над человечеством, чтобы заниматься нашими мелкими делишками и совершенно удален из сферы политических интересов. Такой Катон не мог бросить тени на Цезарей, и его можно было восхвалять без опасности прослыть мятежником. И, действительно хвалы Катону мы встречаем в веке Нерономом не только у писателей- философов, как Сенека и Лукиан, но и у совершенного цезариста и придворного — Петрония (Gaston Boissier).

Мечтою благонамеренных и здравомысля-

щих людей было не разрушение, но укрепление и упорядочение принципата. Его хотели спасти от него самого, от тяготения, влекущего его в пропасть, от печального наследства трех предшествовавших правлений: Тиберия, Кая Цезаря, Клавдия. Одичание принципсов, — то, что Якоби определяет специфической «болезнью власти», а Видемейстер и Айрлэнд считали просто наследственным душевным недугом дома Цезарей, водворило в империи столь невоображаемый хаос, такую полоумную неопределенность власти, то трусливой, безвольной и бессильной, то до ужаса тиранической, грабительской, кровавой, что дольше под нею жить было невозможно. Дружеский союз Бурра и Сенеки, счастливым случаем поставленный во главе государства на время молодости Нерона, пытается извлечь из наследованного ими правительственного хаоса правильную и закономерную систему, которая, сохраняя престиж принципата, возвратила бы жизнь и деятельность конституционным органам, принятым от республики. Слагается как бы тайный министерский заговор для ограничения власти

принципса через самостоятельность сената, через соблюдение, исправление и прогрессивное развитие в либеральном духе старой Августовой конституции. Создание прочно конституционного принципата — вот цель четырнадцатилетней совместной работы над Нероном, которой головою был Сенека, а рукою — Бурр. Они знали, что сын Агриппины и Домиция Аэнобарба не может быть совершенно порядочным человеком, и в какую-нибудь сторону до прорвется его прирожденное негодование. И вот — пока юные страсти Нерона бродили, как горячий пар в котле, они покорно открывали какие угодно, хотя бы и самые гнусные клапаны в частном быту его, лишь бы бешеный пар не взорвал крышки государственной порядочности, которой хитро прикрыли они его через воспитание и философскую опеку. Перед лицом своей философии эти люди извинялись, без сомнения, повторяя что-нибудь вроде слов, которые вкладывает в уста Сенеки старый схолиаст Ювенала: «— Главное — воспрепятствовать, чтобы этот бурный лев не попробовал однажды человеческой крови и не вернулся к природной сви-

репости (Non fore savo illi leoni quin, gustato semel homiinis cruore, ingenita redeat saevitia).» (Duruu).

Юный цезарь — чересчур артист, кроме того он гуляка, мот, буян, развратник, пьяница, зато свято блюдет уважение к правительственному строю и старается помочь ему воскреснуть из развалин, в какие превратили его безумный произвол Калигулы и вольноотпущенники Клавдия. Смотрели сквозь пальцы, как цезарь истреблял свою семью: ведь зато, с первых дней Неронова правления по 815 а. и. с. — 62 по Р. X. год, не подвергались посягновениям произвола жизнь и состояние частных граждан, исчезли политические процессы, упорядочились суды. Бессловесное холопство сената, дрессированное Тиберием, Каем и Клавдием, начало было перевоспитываться в былую авторитетную самостоятельность.

Что сенат ободрился под лаской молодого государя и поднял голову, достаточно ясно явствует из истории суда над Антистием Созианом за оскорбление величества. А мирная картина государственной жизни, которую на-

бросал Траезя в своей защите Антистия, свидетельствует, что император Траян не преувеличивал, когда считал *Quinquennium* золотой эпохой законности и правового порядка, наиболее замечательной за все существование империи. Уже одно то обстоятельство, что сенат осмелился упорствовать в своем постановлении в виду открыто выраженного недовольствия государя — дело, неслыханное с первых лет правления Тиберия. Мы видим, как сенат своей властью отменил, вопреки противодействию Агриппины, два Клавдиева постановления, то есть поставил свою волю выше санкции принцепса. Мы видим сенат Нерона обсуждающим, независимо от государя, общественно-политические вопросы первой важности — «о войне или мире, о налогах и законах и о других вещах, на которых стоит римское государство». В заботе о возвышении сената Нерон уравнивал значение судебной апелляции по гражданским делам в сенат с апелляцией на высочайшее имя, а Светоний даже утверждает, что Нерон сделал сенат вообще последней инстанцией гражданского процесса. Сенатскому суду были

преданы некоторые наместники императорских провинций, обвиненные в злоупотреблениях по должности. Любопытно, что еще при Нероне продолжается исконная борьба сената с трибунской властью. В 709 году а. и. с. — 56 по Р. X., придравшись к ссоре между претором Вибуллием и народным трибуном Антистием Созианом, превысившим в одном полицейском случае власть свою, сенат частью ограничил, часть вовсе уничтожил целый ряд вековых трибунских полномочий.

«Кстати отняли у трибунов право мешаться в дела преторов и консулов и вызывать из Италии тех, с кем можно поступать по закону. Луций Пизон, назначенный в консулы, прибавил, что они не должны решать дела у себя дома, а пени, к которым они присуждают виновных, должны быть публично объявляемы квесторами не прежде, как по прошествии четырех месяцев, в продолжение которых можно протестовать и отдавать приговор на рассмотрение консулам».

Что реформа эта не только юридическая, но и политическая, доказывает замечательная фраза, которую Тацит предпосылает рас-

скажу своему о столкновении претора с трибуном и серьезных его последствиях: «А все еще оставался призрак республики! (*Manebat nihilominus quaedam imago reipublicae*)».

В эту пору, по соседству с трибуналом, императорское правительство наложило руку на другие (низшие) республиканские магистраты:

Уменьшили также власть эдильей и определили меру залога, или наказания, налагаемого курульным и народным эдильем. Трибун народный, Гильвидий Приск, воспользовался этим случаем, чтобы удовлетворить свою личную вражду против квестора казначейства, Обультрия Сабина, и обвинил его в беспощадной описи бедняков. Нерон отнял ведение государственной казны у квесторов и отдал его префектам. Эта отрасль администрации часто изменялась; Август дозволил сенату избрать префектов, потом оказались подкупы голосов, и стали бросать жребий между преторами; но и это не удержалось, потому что жребий выпадал иногда людям во все неспособным. Тогда Клавдий снова отдал эту должность квесторам, и чтобы они, боясь

всех вооружить против себя, не стали нерадиво исправлять ее, обеспечить их вперед почестями. Но так как служба начинается с квесторства, то они были слишком молоды. Вот почему Нерон предпочел преторов, уже доказавших свою неопытность. (Ср. во II томе главу «Министр финансов».)

III

К сожалению, бодрость, смелость и самодеятельность Неронова сената не успели потерять случайного характера и выработаться в принципиальную силу, как вели к тому дело Сенека и Бурр. Сенату следовало воспользоваться добрым настроением беспечного, еще свободомыслящего государя, чтобы закрепить за собой свое воскресшее положение и, прежде всего, сделать независимым от перемен в характере цезаря, его фантазий и прихотей. Этого сенат не сумел. Упиваясь давно невиданной свободой, он как будто позабыл и думать о том, что она, капризом данная, может капризом же превратиться в рабство, и в конце концов разменял свой успех на внешние мелочи, не умев завоевать ниче-

го серьезного по существу. Что либерализм принципа, взлелеянный уроками Сенеки, был непрочен, сенаторы могли видеть по бесцеремонности, с какой Нерон расправлялся с неприятными ему членами своего семейства. Юноша, способный сегодня, не задумавшись, послать Аникета со взводом матросов убить родную мать, завтра еще менее задумается двинуть две-три роты солдат, чтобы перерезать сенаторов, осмелившихся ему противоречить. Раз такой зверенок продолжал еще быть ручным, надо было улучшить момент, чтобы его обессилить. Ласковым, но чересчур бойким бычком, покуда они еще телята, продевают кольцо в носовой хрящ. Когда бычок вырастет в буйного, злого быка, его оставляют на свободе, и никто его не боится, кроме нервных дам и прирожденных трусов, которым страшна сама «идея быка». Потому что, если бык взбесится и задурит, достаточно малейшего прикосновения к кольцу, чтобы он опустил хвост, склонил рога и сделался прежним смиренным теленком, тише воды, ниже травы. Увлеченный ласковостью Нерона, сенат извинил ему бойкость и не ввернул управляюще-

го кольца. А когда спохватился ввертывать, было уже поздно: зверь стал себе на уме и не дался. Мы слышали, как он рыкнул в процессе Антистия. Сенаторы, не имея ни достаточную единства, ни энергичных вожаков, не воспользовались своими льготными годами, чтобы стать популярными в народе и армии, и когда, впоследствии, на смену милостей наступила година гнева и настал кровавый террор, остались одинокими и беззащитными лицом к лицу с разъяренным государем. Тогда начались крайние попытки: заговоры, покушения, революционная агитация. Но Нерон сидел у власти крепко. Нечего и думать было его свергнуть. Для его гвардии, сформированной из германцев, допустить падение цезаря — значило потерять все. Верная на жизнь и смерть, она сомкнулась вокруг престола свирепым строем. «Зверь укрылся в берлогу и огрызался оттуда, скаля клыки» (Ренан.)

Раз не удалось обуздать Нерона общими мерами, оставалось лишь положиться на его прирученность к своим вожакам, то есть к Бурру и Сенеке, и на умение последних направлять его к пользе, а не во вред консти-

туции. Быть может, что - - проживи Бурр несколькими годами более — Нерон, на его ловкой и твердой узде, ублажаемый в своих излюбленных прихотях и влечениях, покупал бы их, сам того не замечая, ценою уступок власти, и конституция Августа перешла бы, наконец, из красивого обещания в насущное прочное дело. В биографии Нерона очень ясно заметно, что, в первые годы правления, после каждого слишком распутного или кровавого проступка он трусил и спешил замаслить общественное мнение и, в частности, сенат. Узурпацию власти он искупил либеральной тронною речью, увлечение красивою вольноотпущенницею Актэ — отставкой всем ненавистного министра Палланта, и т. п. Непостоянной, капризной, одновременно и в равной степени и взыскательной и робкой — словом, что по-русски называется «бабьей», натуре Нерона нужен был безотлучный, умный и твердый советник, который не раздражая его крутым противоречием и противодействием, как имела вредный талант раздражать Агриппина, в то же время успевал бы твердо и кстати напомнить заносчивому

юноше: ты не бог, надо и тебе считаться с условиями человеческого общежития, тебе позволено больше, чем другим, но не «все позволено».

Но Бурр умер — и на смертном одре, конечно, не мог не сознавать, что вместе с ним гибнет и его задача. На гениального теоретика, но бесхарактерного практика Сенеку была плохая надежда. Нерон, быть может, уважал, в нем великого ученого и оратора, но понимал, что мысль в Сенеке выше воли, и умел вить веревки из старого, тщеславного мудреца. Философию Сенеки, хотя последний посвятил ему несколько лучших своих трактатов, цезарь вряд ли высоко ставил, как и вообще философию. Отвращение к возвышенной науке мышления внушала ему еще в детстве мать Агрипина, твердя, что — не государственное это дело. Юношей, он забавлялся тем, что, пригласив к интимному ужину во дворце профессоров разных философских сект, заводил принципиальный спор и, стравив между собой враждебных ученых, хохотал над их азартом и не уменьем владеть собой в обществе. (См. предыдущую главу). Любопытно:

присутствовал ли при подобных издевательствах над своей наукой Сенека? Но — если присутствовал, вряд ли ему бывало весело! Разоблачение ложной мудрости, столь глубокомысленной в отвлеченной теории и столь жалко оправдываемой ее носителями в практической жизни, попадало ведь не в бровь, но прямо в глаз и ему — суровому проповеднику аскетизма, с миллионами в кармане.

Уже в последние два года, с тех пор, как содалась августинская опричнина-клака, Нерон, окруженный повсечасной лестью, растя и раздуваясь в своем собственном мнении, начал выбиваться из под влияния своих министров-воспитателей. Вокруг него возник, на почве художественного дилетантизма, кружок новых друзей и советчиков, из людей «хуже которых не распложалось ни при одном дворе». Он предался бы им совсем, но такт и энергия Бурра еще умели сдерживать молодого человека. Вероятно, Нерон не раз негодовал на старого ворчуна, однако, в конце концов смирился и делал, как Бурр указывал нужным. Что между Бурром и Нероном не было любви, но имелось со стороны Неро-

на уважение, граничившее с боязнью, доказывают частые политические доносы на Бурра. Нерон принимал их, готов был даже им верить, но — стоило Бурру начать защиту, чтобы донос превратился в бессмыслицу, и произнести суд над ней сконфуженный цезарь спешил поручить самому же Бурру. Так что, отвернувшись от Нерона пред последним издыханием своим, Афраний Бурр, быть может, отвернулся не столько от самой личности императора, которую он давно изучил и знал насквозь, сколько от своих разбитых надежд, воплощенных в лице Нерона. Отвернулся от зверя, которого дрессировал четырнадцать лет, а теперь зверь остается без укротителя, и вся дрессировка пропала даром, и зверь, одичав, «воротится к природной свирепости», чтобы стать страшилищем и мучителем вселенной.

Кому, если не цезарю, нужна была смерть Бурра? Конечно тем, в чьих выгодах было, чтобы зверь остался без укротителя. И, прежде всех, любовнице императора, Пoppее Сабине. Когда возникала связь Нерона с Пoppеей, конституционалисты и неронианская

золотая молодежь заодно покровительствовали этим шашням, движимые общим страхом и ненавистью к Агриппине. В пору такого братанья Поппея вызывается говорить перед Нероном против Агриппины от имени сената и народа. Сенека спасает Отону, мужу Поппеи, жизнь, угрожаемую ревностью цезаря. Отон — на случай одной попытки убить Агриппину, чтобы отвлечь подозрение от двора, устаивает у себя во дворце пир, на который приглашена была вся палатинская знать. Словом, замечается значительная общность интересов и действия. Но когда Агриппина погибла, союзники быстро разошлись по разным дорогам. Ни Бурр, ни Сенека вовсе не желали, чтобы на Палатине воцарилась новая Агриппина. Насколько они были податливы, проводя Поппею в фаворитки государя, насколько же дружным противодействием встретили стремление Поппеи стать императрицей, законной женой Нерона. То обстоятельство, что Поппея на целые три года как бы исчезает из «Летописи» Тацита, надо, по всей вероятности, приписать временной победе Бурра и Сенеки над чарами прелестни-

цы. Не раз уже упоминалось, что Нерон дважды советовался с министром о разводе с Октавией и женитьбе на Попее. В первый раз Бурр ответил зловещей шуткой, что развестись-то не трудно, да придется ведь возвратить Октавии приданое, то есть империю. Когда цезарь возобновил разговор, Бурр возразил еще суровее:

— Я уже однажды высказал свое мнение, — следовательно, незачем и спрашивать меня вторично.

Чтобы отвлечь Нерона от мыслей о разводе и новой свадьбе, пришлось, без сомнения, подкупить его потворством некоторым новым прихотям и эксцентриčnostям. Быть может, здесь надо искать причину быстрой уступчивости Бурра и Сенеки в вопросе о публичном появлении цезаря наездником и кифарэдом. Спорт и сцена оторвали воображение Нерона от любовных дел. Красавица ничуть не утратила цезаревой привязанности, но отошла как бы на второй план интересов державного дилетанта, заслоненная приманками цирка, кулис, лавровыми венками, вызовами и аплодисментами августанцев.

Огромная сила Поппеи, как интригантки, заключалась в умении ждать. Проиграв партию, рассчитанную на смерть Агриппины, она не пришла в отчаяние, но хладнокровно принялась плести новые сети, копая свою подпольную мину тем легче и безопаснее, что недавние союзники, ставшие теперь врагами, полагали ее побежденной и обезоруженной. Нерону было ясно доказано, что отделаться от Октавии невозможно: будь благодарен и за то, что государство извинило тебе Агриппину с Британиком! Но — «женщина во зле идет шагов на тысячу вперед» ("Фауст"). Невозможное для Нерона продолжает казаться очень возможным для Поппеи. Если она ошиблась в расчете, убив Агриппину, это для нее вовсе не знак, что лучше отступить от затеи, не удовлетворенной даже такой огромной жертвой. Нет, — Поппея лишь спокойно говорит себе: значит, смерти одной Агриппины мало, — надо убрать с дороги еще несколько досадных помех. И первого — разумеется — того, кто больше всех влияет на Нерона, кого Нерон боится: Афрания Бурра.

Судя по тому, что впоследствии, став импе-

ратрицей, Поппея действует в тесном и неразрывном союзе и единомыслии с группой весьма подлых людишек, вышедших из августанской опричнины, она повела теперь свою игру именно через эту компанию, в которой не было ровно ничего политического, но которая была близка цезарю, как неизменная участница его артистических успехов, кутежей и ночных походов. В среду эту многие замешивались вовсе не для того, чтобы только сладко есть, пьяно пить, целовать красивых палатинских женщин и рукоплескать цезарю. Ловкие люди делали таким путем карьеру, выходили в чины, получали отличия и выгодные назначения. В числе подобных пролазов замечен был некто Софоний Тигеллин, сицилианец из Агригента. Вопреки Гамерлингу, которому в знаменитой поэме «Агасфер в Риме» пришла странная фантазия изобразить Тигеллина безобразным негром, он был очень хорош собой. В ранней юности Тигеллин даже прельстил свою наружностью Агрипину, мать Нерона, и был сослан цезарем Каем как один из ее мимолетных любовников. Возвращенный в Рим, он, повидимо-

му, вел жизнь частного человека. До появления Тигеллина почти что во главе государства историки не упоминают его имени. Он выскакивает из ничтожества в вершителя судеб империи сразу, как вооруженная Минерва — из головы Юпитера. В первой книге «Истории» Тацита, а также у Плутарха в жизнеописании Отона имеются некрологи Тигеллина, довольно подробные, как характеристики. О прошлом же его мы узнаем лишь, что он человек темного происхождения, детство его было постыдно, а в люди он вышел «пороками». Пред быстрым возвышением своим Тигеллин занимал пост начальника полиции (*praefectus vigilum*), который затем он передал Л. Аннэю Серену, притворному содержателю Актэ.

Кто хорошо знает последующую деятельность и хорьковый характер Тигеллина, тот, перечитывая внимательно четырнадцатую книгу Тацитовой «Летописи», начинает чувствовать хищный запах его издалека, задолго пред тем, как появляется на историческую сцену сам Тигеллин, во плоти и крови. Вы чувствуете его безобразное присутствие на

праздник Ювеналий, в роще при Августовой навмахии, где «было выставлено на продажу все, что могло раздражать чувственность; раздавали и деньги, которые хорошие люди издерживали здесь по необходимости, а невоздержные еще с похвальбой; от этого размножались постыдные дела и гнусности, и никакое скопище людей не сообщало испорченным нравам больше распутства, как это». Впоследствии Тигеллин повторил безобразия Ювеналий на пруду Агриппы, много превзойдя первоначальный образец. Вы знакомитесь с тестем Тигеллина, Капитоном Коссутианом, старым негодяем, выгнанным из сената за взятки. Тигеллин выхлопотал Капитону прощение, и — тесть немедленно пишет донос на претора Антистия, между тем, как зять по всей вероятности, разжигает бешенство Нерона против злосчастного памфлетиста. Дальнейшая биография Тигеллина — история самого цельного хама и негодяя, какого может представить себе человеческое воображение. За всю жизнь он лишь однажды ошибся порядочным поступком: спас жизнь дочери Тита Виния, временщика императора Гальбы, да и

то — «не по милосердию, а чтобы иметь убежище на будущее время, так как дурные люди, не доверяя настоящему и боясь перемены, запасаются против общественной ненависти частным расположением к себе».

V

Такого-то смелого, наглого, беспредельно бесовестного и жестокого человека взяла союзником Поппея Сабина. До благоденствия государства им обоим, разумеется, не было никакого дела. Одной власть была нужна, чтобы красоваться первой женщиной подлунного мира, другому — чтобы выдоить из республики все соки и, разливая золото реками, барахтаться в неслыханном разврате. Должность преторианского префекта — первая в государстве после самого принцепса; взобравшись на нее, Тигеллин потрянет богатой знатью, да и всей империей — нечета этому старому чудаку Бурру с его конституционными идеалами. Чем шире и распутнее разовьется деспотизм государя, тем выгоднее ближайшим его холопам, льстецам и приспешникам. Тацит прямо обвиняет Тигелли-

на, что это он окончательно развратил Нерона и втянул его в злодеяния.

Чем мог этот грубый, цинический разбойник понравиться такому артисту, как Нерон, с его изящными вкусами, идеалистическим тяготением к стихам, музыке, пению, пластическому искусству? Первый повод к сближению дало мастерство Тигеллина выезжать беговых лошадей: недаром ходила о нем римская сплетня, будто в самой ранней юности он был погонщиком мулов!

Главным же двигателем возвышения Тигеллина явилось его умение играть на той сентиментальной струнке Нерона, которую верно угадал в нем Ренан: цезарь любил, чтобы его любили, чтобы его личность была драгоценна для окружающих не только как воплощение величия государства, но и по человеческой симпатии. Именно роль такого «безлестного преданного» весьма ловко разыгрывал Тигеллин. Тацит сохранил потомству пример, как хитрый авантюрист изъяснял однажды пред императором, в чем заключается суть должности преторианского префекта — по его «простецкому» пониманию. Критикуя дея-

тельность Бурра, он упрекал покойного министра, зачем тот тратил время и труд на лавировку между политическими партиями и, вообще, совал сой нос в государственные интересы: разве это дело главы военного ведомства? Нет, его прямая задача — личная безопасность цезаря, охрана священной особы государя. Какие там партии, какие государственные интересы? Был бы здрав и невредим Нерон, а прочее все устроится его великим разумом и священной волею: нам не рассуждать с ним, а повиноваться ему надлежит. Прикажет плясать, — и пляши; прикажет умереть, — и умри! Вот как думаем мы, люди темные, неученые, у которых от книжек не зашел ум за разум... И — пусть цезарь только слово скажет: всех этих либеральных умников мы скрутим в бараний рог. В таком приблизительно аракчеевском духе Тигеллин разглагольствовал, уже будучи преторианским префектом, и легко предположить, что не впервые, — что именно столь лестное всякому деспоту, *profession de foi*, став известным Нерону чрез Поппею или из личных разговоров с Тигеллином, и наметило его в пре-

емники Бурру, еще при жизни последнего. Повторяю: очень сомнительно, чтобы сам Нерон содействовал прекращению дней своего старого министра; но не вовсе невероятно, что яд, умертвивший Бурра, если вообще был яд, был изготовлен, действительно, в палатинской лаборатории, по заказу Тигеллина и Поппеи. А затем они оба позаботились, чтобы, убаюканный их льстивыми попечениями, Нерон не имел личного повода пожалеть о покойнике. Замечательно, что Бурр, если он в самом деле был отравлен через помазыванье горла ядом, умер той же самой смертью, как добит был врачом Ксенофонтом Косским принцепс Клавдий, против которого Бурр воздвиг заговор с Агриппиной и Сенекой, и чьего сына, Британика, он отстранил от верховной власти ради Нерона.

Итак, власть преторианского префекта снова раздвоилась. Хотя Нерону, и был приятен «без лести преданный» Тигеллин, однако, он все же не решился облечь столь темного проходимца всем огромным значением покойного Бурра. Товарищем Тигеллину — и, кажется, номинально старшим по службе —

назначен был Фений Руф, бывший агриппианец, участник министерства соединенных партий цезаря и императрицы-матери, созданного кратковременным примирением их в 808 году а.у.с. — 55 по Р. Х., после неудачного доноса Силаны и Домиции. Тогда Фений Руф получил префектуру аннонае, то есть министерство народного продовольствия. Назначение Руфа на пост префекта претории было принято Римом с удовольствием. Он не хватал звезд с неба, не мог похвастаться энергией и твердым характером, но слыл за человека честного и бескорыстного. Возвышение Тигеллина всех привело в недоумение и ужас. Видели в нем какой-то вызов общественному мнению, циническую награду за распутство, ибо иных заслуг за Тигеллином не имелось. Специально военная часть префектуры, то есть управление министерством и инспекция гвардии, была, надо полагать, возложена на Руфа. Тигеллин же, как и хвалился, становится бессменно дежурным генерал-адъютантом императора и главой его тайной канцелярии по политическим делам.

Министерство народного продовольствия, префектура анноны, занимала в жизни римского государства такое важное место, и деятельность его оказывала столь могущественное влияние на общественную психологию и нравы, что я позволю себе воспользоваться встречей с Фением Руфом, как префектом анноны, для того, чтобы ввести в фон своей картины историю и характеристику огромного ведомства, которого он был популярным управителем, оставив след свой и у историков, и в похвальных надписях. Значение ведомства анноны (*cura annonae*) в империи можно характеризовать коротким замечанием: оно было фактическим ответом государства на пресловутый вопль царственного народа — «*panem et circenses!* хлеба и зрелищ!» — в первой и самой необходимой половине. А, хотя мы увидим, что размеры и силы этого вопля значительно преувеличены романтическими представлениями Возрождения и, впоследствии, XVIII века, приучившими науку оглядываться на императорский

Рим не иначе, как большими глазами, тем не менее нельзя отрицать, что римское правительство дало своему государственному пансионату весьма значительное развитие, которое мало-помалу, действительно, сделалось управляющей силой имперского бюджета.

Слово *annona* употреблялось римлянами в пяти разных значениях:

1) В прямом, по этимологии от *annus*, год; годовой результат урожая.

2) Запас питательных продуктов и, в особенности, злаковых. Отсюда: запасные склады съестных припасов, как в частных, так и государственных амбарах, в особенности же, зерновые, предназначенные к продовольствию города Рима.

3) Прямой десятинный налог натурой (*decuma*), платимый некоторыми провинциями и обращенный, главным образом, на продовольствие армии, независимо от обязательных платных поставок на государство и преимущественного государством приобретения, в порядке реквизиции.

4) Хлебные цены на общественном рынке.

5) Порция зерна или печеного хлеба, выда-

ваемого чиновникам и военным, в счет жалования натурой. (Humbert.)

Компетенция префектуры *anninae* охватила ее четыре последние значения прямым распорядительством, т.е. делало ее полной хозяйкой урожая в стране и всех продовольственных мер, производств и поставок.

Я уже имел случай указывать (см. том I, гл. III), что население Рима исчислялось разными учеными, в разные эпохи, и для разных эпох империи, в весьма разных цифрах. Вот таблица, показывающая колебания нескольких таких мнений, высказанных историческими авторитетами XVI—XIX века.

Каково бы ни было население Рима в имперскую эпоху, мы имеем ключ к его приблизительному вычислению в показании Дионисия Галикарнасского, что в 276 году своего бытия (476 до Р. Х.) Рим имел уже 440,000 жителей, из них 110,000 мужчин в возрасте от 17 до 60 лет.

Среднее потребление зерна в день Дюро де ля Малль предполагает в 2 ливра = 1 килограмму.

Следовательно, уже на заре своей респуб-

лики Рим ежедневно поедал 440,000 килограммов, т.е. 27,500 пудов. А ежегодно свыше 10 миллионов пудов.

Этот древний римский рынок был достаточно обслужен хлебами и вином из соседних и весьма плодоносных деревенских округов Лациума, Этрурии, Умбрии. Лишь иногда приходилось прикупать хлеб из Сицилии.

В III, IV и V веках Рима Италия производила много сырых продуктов, благодаря мелкому хозяйству, в котором находило средства к существованию большинство свободных людей. В 529 году Рима (225 до Р. Х.) свободное мужское население Италии, подданной или союзной Риму, равнялось 750,000 человек в возрасте воинской повинности, т.е. от 17 до 60 лет, а все население — почти пяти миллионам, из которых немного менее половины (2.312,677) составляли рыбы, вольноотпущенники и неполноправные граждане. Валлон считает больше: немного свыше восьми миллионов.

Это население размещалось на площади пространством в 15.356,109 гектаров.

В том числе земли, годной к обработке, бы-

ло, по вычислению Дюро де ла Малль, немного меньше половины.

Из них, по его расчету, 35% лежало под паром.

Засевалось, значит, около 5 миллионов гектаров. Сеяли по преимуществу полбу (*far*) и пшеницу (*frumentum*).

Размер пшеничного посева был 5 модиев на югер (*jugerum*). Полбяного вдвое.

Югер равен немецкому моргену, русской упряжке: около четверти десятины, 0,25182 гектара. Прямоугольник 240 футов в длину, 120 в ширину. После долгих полемик, защищавших малые размеры римских земельных участков, Моммсен установил и Гревс принимает даже для древнейшего времени, что римская крестьянская семья обеспечивала свою жизнь, работая на собственном наделе, лишь тогда, когда он занимал, по крайней мере, приблизительно 20 югеров, около 5 десятин (Гревс). Модий равен 8,671 литру, при весе 6,503 килограммов.

Исходя из этих цифр, Дюро де ла Малль вычислил среднюю производительность римского поля при продукте сам пять, в 33 пуда

(1050 ливров) на гектар, а весь годовой уро- жай римской Италии приблизительно в 127 1/2 миллионов пудов.

В обычное время местные хлеботорговцы обслуживали хлебный рынок Рима удовле- творительно. Но время от времени перерыв путей сообщения по случаю войны, либо неурожая, засухи, градобития и т.п. вызывали на рынке оскудение. Помочь беде было делом сената или консулов, а в особенности эдилов: этих, как определяет их Цицерон, — «блюсти- телей града, его продовольствия и торже- ственных игр» (*curatores urbis, annonae ludorumque sollennium*). Они заботились не только о ввозе хлеба и о продаже его по низ- кой цене, но имели также общий надзор за рынком: за качеством товаров, скота, рабов, весами и мерами, барышничеством, лихоим- ством и пр. (Виллеме). Рим не признавал частной конкуренции в продаже предметов первой необходимости по вольной цене. На- сильственное, по нужде, отчуждение частных хлебных запасов, либо максимальная такси- ровка продажных цен объявлялись указом; маклаков, скупщиков, спекуляторов на повы-

шение хлебных цен эдилы преследовали суровыми карами. Весьма рано Рим завел государственные магазины в Риме и в Остии — на случай голода либо осады города неприятелем. Хлеб покупали эдилы либо нарочные *curatores* и *praefecti annonae*, а для заведывания его перевозом уже 487 году Рима (267 до Р. Х.) учрежден был квесторский пост.

Эти запасные мероприятия стали общим правилом, когда сельское хозяйство в Италии пало, а класс свободных земледельцев уменьшился в результате гражданских войн. После второй Пунической войны земледелие было заброшено; между тем население Рима увеличивалось не только нормальным приростом, но и притоком множества землевладельцев, утративших свои участки. Таким образом, производительность окрестностей Рима падала, а потребление росло (Марквардт). К этому времени Рим имел уже провинции, и хлеб италийский встретился на рынке с конкуренцией хлеба сицилийскою, сардинскою и африканскою, что повлекло преобразование сельскою хозяйства в Италии и концентрацию недвижимой собственности, выражен-

ную в пресловутых «латифундиях». Со времени второй Македонской войны римские войска сплошь продовольствовались привозным из-за моря хлебом (Моммсен). И, сверх тою, хлебный вывоз Сицилии и Сардинии употреблялся теперь не только для содержания армии, но и для обыкновенного продовольствия Рима. На этот предмет была обращена сицилийская десятина, откупщики которой обязаны были выплачивать ее натурой, доставляя в столицу известное количество зерна. Рим так ревниво охранял сицилийский рынок для своею пользования, что сицилийцам было запрещено вывозить свои продукты куда бы то ни было кроме Италии, без нарочного на то разрешения сената. Цицерон свидетельствует, что в его время Сицилия ввозила в Рим, за государственный счет, в качестве десятины или реквизиции, 6.800,000 модиев ежегодно (2.762,500 пудов). По всей вероятности, не меньше того, если не больше, поступало из Сардинии. Конкуренция колоссального ввоза, уронившего хлебные цены ниже стоимости местного производства, принудила итальянских земледельцев, нап. образцового сельско-

го хозяина Катона, обратиться к луговому хозяйству и скотоводству, к огородничеству, а в особенности к винограду и маслине, поставленным под охрану специальных законов. Пашня в хозяйстве Катона отошла, по расчетам доходности с первого места на шестое. Уже 134 году до Р. Х. в Этрурии не оставалось ни одного свободного пахаря (Моммсен). После падения Карфагена привоз еще увеличился хлебами Африки и Испании. Уже первый посыл хлебов Сципионом Африканским установил цену в 2 асса за модий (асс в эту пору стоил около 10 сантимов — 3,6 копейки), значит 18 копеек за пуд. «Хлеб в тот год был дешевле дешевого! — говорит Тит Ливий! *annona quoque eo anno pervilis fuit*». Африканское зерно ссыпалось в Путеолах (Поццуоли), где сдача внаймы лабазов (*granaria*) сделалась выгодным промыслом. В Путеоланском порту заморский хлеб грузили на Остию, и принятое здесь квестором (*quaestor ostiensis*), оно доставлялось в Рим Тибрской транспортной флотилией (*naves caudicariae*). До хлебных законов (*leges frumentariae*) привозное зерно продавалось эдилами по умеренной це-

не, имевшей целью только регулировать рынок и сдерживать аппетиты частных маклаков. Государство еще не шло в уступках ниже своей цены, — разве лишь в случаях больших голодовок либо, наоборот, чрезмерного урожая, когда уборка хлеба не окупала рабочих рук. Но с введением хлебного закона К. Гракха (123 до Р.Х.) и с постройкой государственных магазинов (*horrea Semproniana*) зерно стало продаваться всякому желающему по 6 $\frac{1}{3}$ асса за модий, т.е. по цене, едва превышавшей половину рыночной цены. Асс в это время стоил около 5 $\frac{1}{2}$ сантимов, значит, две копейки; следовательно, государство продавало гражданам зерно менее, чем по 2 копейки за кило, около 30 копеек за пуд. Это была уже не регуляция рынка, но государственное самопожертвование, «тароватость» (Любкер-Зелинский), щедрота, дарение. На продаже льготного зерна государство убыточилось почти в половину стоимости и на одном лишь сицилийском хлебе, как вычисляет Марквардт, пользуясь данными Верресова процесса, теряло свыше миллиона рублей в год. Естественно, что пользование дешевым казенным хлебом

вскоре вызвало злоупотребления. Сколько ни было пролетариев в Италии, все повалили в Рим, как в место, где нельзя умереть с голоду, даже не работая. Класс нуждающихся растет непрерывно. Уже в 650 году Рима (104), девятнадцать лет спустя после первого Гракхова *lex frumentaria*, трибун Марций Филипп жаловался, хотя и преувеличивая, будто в Риме не наберется и двух тысяч человек, которые бы жили на свой счет. Сенат, испуганный ростом расходов, не смел, однако, наложить сокращающую руку на число льготников и потому пытался регулировать самую льготу. Октави-ев закон неизвестного года и Теренция и Кас-сия (73 г. до Р. Х.) ограничили удешевленную продажу пятью модиями в месяц на каждого гражданина. Но возможность к этой мере да-ло лишь то обстоятельство, что Сулла, всегда крутой к черни, пробовал уничтожить льго-ту совсем, и возврат к ней по его смерти, Ле-пидовым предложением (78 г.), был либераль-ным и, следовательно, популярным шагом, хотя и внес некоторое ограничение сравни-тельно с порядком до-сулланским. Клодиев закон (696—658), вводя, вместо дешевой про-

дажи, уже начисто даровую раздачу хлеба, имел в виду только самую нуждающуюся часть гражданства. Но нуждающимися стали объявляться все, за исключением, может быть, сенаторов и всадников. Несмотря на ограничительные меры Помпея, при котором был составлен список получателей (accipientes) и который все-таки сам прокормил на них 40 миллионов сестерциев (4 миллиона рублей), диктатура Цезаря застала в Риме 320,000 человек, питающихся на казенный счет, то есть ровно столько, сколько Гракхова реформа, семьдесят лет тому назад, застала в Риме граждан, способных носить оружие. Притом, по переписи, производственной поквартально (recensus populi vicatim), оказалось, что более чем половина пользовалась государственными кормами бесправно. Цезарь низвел число акципиентов до 150,000 с тем, чтобы оно осталось недвижимым, и новые льготники принимались только на убылые места за смертью старых. Но роковое число сейчас же опять начало расти, и уже Август должен был возвысить его до 200,000.

Раздача дарового хлеба всегда была мерой

политической. Поэтому ее щедрота, largito, распространялась исключительно на граждан, имеющих право голоса (Гиршфельд). Чтобы получить ее, надо было удовлетворять двум условиям: 1) быть полноправным гражданином; 2) иметь постоянное местожительство в Риме (plebs urbana). Женщины, как гражданки бесправные, никогда не включались в состав жалуемых. Humbert полагает, что в число последних могли входить и несовершеннолетние, и даже дети 3—4 лет от роду, но Марквардт считает это позднейшим нововведением, после Траяна. Что даровая раздача до известной степени была наградой, если не по закону, то по обычаю, за политическую благонадежность и верность династии, ясно из позднейшего искажения слова «фурментарий»: на перевал от республики к империи оно значило — льготник, государственный пенсионер, в конце II и в III веке по Р. X. — сыщик, агент тайной императорской полиции.

Что касается сословных прав на даровой хлеб, то в этом отношении предполагалось совершенное равенство. От вельможи до нище-

го, каждый при желании мог воспользоваться правом кормежки на государственный счет. И в эпоху Цицерона, повидимому, некоторые большие бары, вроде консулятора Л. Пизона Фруги, щеголяя демократизмом, подчеркнута замешивались в ряды *plebis frumentariae*. Нравственный ценз тут тоже не принимался в расчет: «Общественный хлеб выдается — хоть вору, клятвопреступнику, прелюбодею, лишь бы был внесен (*incisus*) в списки выдачи. Все что дается человеку в силу признания его гражданского звания, а не в отличие его добрых качеств, все это получают в равной степени как добрые, так и злые». (Сенека) Всесловность фрументариев подтверждается Аппианом и Плутархом, но Моммсен. Гришфельд и Марквардт полагают, что Цезарева реформа даровой раздачи, заключив число льготников в определенные рамки, тем самым устранила из них лиц сенаторского и всаднического звания. Самые имена льготников у авторов — *plebs frumentaria*, *dcloz* (чернь), *plhzoz* (толпа), *apooi* (бедняки) — показывают, что обычное право исключило сенаторов и всадников, т.е. крупных цензови-

ков, из привилегии, в которой не отказывал им закон. Зачисление в получатели производилось по жребию (*sortitio*), который тянули преторы. Система даровой раздачи хлеба влекла за собой огромные потери для государственной казны. Цицерон считает, что уже тем, что отказалось взимать с прежних льготных покупателей $6 \frac{1}{3}$ асса за модий, государство потерпело убытки в размере пятой доли всех своих доходов от косвенных налогов (*vectigalia*). Плутарх вычисляет ежегодную потерю в 1250 талантов, около 7 миллионов франков, $2 \frac{1}{2}$ миллиона рублей. В 691 году (63) Катон довел расход по выдачам до 30 миллионов сестерциев (Моммсен). По таблице роста экстренных ссуд, которыми государство время от времени поддерживало институт даровой раздачи, легко заметить огромный рост нуждающегося населения в Риме, равно как и его возвращение привычкой в казенной подачке.

73 г. до Р. Х.	lex Terentia Cassia:	10 миллионов сестерц.
62 г. до Р. Х.	сенатусконсульт:	30 миллионов сестерц.
56 г. до Р. Х.	эдикт Помпея:	40 миллионов сестерц.
46 г. до Р. Х.	эдикт Юлия Цезаря:	57 мил. 6,000 сестерц. (Humbert).

Вольноотпущенники ловко мошенничали, чтобы примазаться к этой льготе свободных нищих. Все это именно и заставило Юлия Цезаря предпринять вышеупомянутую по-квартальную (*vicatim*) перепись населения, выяснившую число получателей (*percipientes*) в 150,000 человек.

Империя ничего не переменила в этой статье бюджета принципиально, — частичные изменения зависят лишь от щедрости и доброй воли государей. К 5 году до Р. Х. число акципиентов опять успело дорасти до 320,000, сокращенных в 2 году, после Августовой переписи, до 200,000: в этой цифре, повидимому, и осталось оно отныне, — по крайней мере, до правления Септимия Севера, от эпохи которого мы имеем ту же цифру.

Организация ведомства создавалась обычным путем передоверия императорами принятой на себя старо-республиканской должности в бюрократическом порядке. Еще К. Гракх заставил назначить себя блюстителем (*curator*) своих хлебных законов. Помпей и Цезарь получали чрезвычайные полномочия для обеспечения подвоза припасов; Цезарь

учредил для этой функции особых чиновников, *aediles Ceriales* (710—744). Август, обремененный обязанностями по *cura annonae* уже пожизненно, сначала переложил их на хлебных смотрителей (*curatores frumento*, или главнозаведующих хлебной раздачей (*praefecti frumenti dandi*), возведенных на уровень магистратов и назначаемых ежегодно по жребию из числа наиболее выдающихся членов сенаторского сословия. В конце своего правления (между 8 и 14 годом по Р. Х.) он преобразовал этот пост в специальную префектуру (*praefectum annonae*), которую, по мнению Буше Леклерка, не столько учредил, сколько воскресил из давней старины, сделав постоянным институтом ту «хлебную диктатуру» на случай голодовки, в виде которой префектура анноны упоминается Титом Ливием (IV, 12) еще в 410 году до христианской эры. Де Санктис относится к возможности этой первобытной префектуры весьма скептически, почитая ее легендарной, сложившейся из впечатлений после Гракховой реформы. Префект анноны назначался из всаднического сословия и, как все другие импера-

торские чиновники, на неограниченный срок. Герцог полагает, что перемещение Августом забот о народном продовольствии из сенаторского сословия во всадническое должно быть поставлено в

связь с первоначальным намерением привлечь к участию в расходах государственную казну (*aerarium Saturni*). Однако, действительность не замедлила обнаружить в графе расхода такой значительный перевес затрат со стороны фиска и такое преобладание поставок из императорских земель (Египта), что принцепсу оказалось совершенно невыгодным делиться с сенаторским сословием распорядительством по собственной политической филантропии. Поэтому он ввел *сага аннонае* в свою систему бюрократического единства и создал новое министерство — не государства, но его величества, — захватив в нем самую популярную и необходимую из правительствующих функций: заботу о сытости поданных. Тщательное личное наблюдение за анноною почитали своею обязанностью даже беспечнейшие императоры. Нерон, вопреки своим артистическим пристрастиям,

уделял своему министерству «общественной сытости» столько внимания, что «в случае отсутствия Нерона народ боялся — а это была его забота — недостатка в хлебе» (Тацит). Как Нерон дорожил именно этой связью с народом, показывает значительное количество монет, на которых его изображение сопровождается аллегорической фигурой Анноны, а также ревностью, с которой он присваивал себе меры и планы своего предшественника Клавдия, касавшиеся этого института, — в особенности же перестройку хлебных пристаней Остии и упорядочение нижнего течения Тибра (Preller). И это не случайное хвастовство по тщеславию легкомысленного и заносчивого державца-юноши. Тиберий, который не был ни хвастлив, ни тщеславен, ни легкомыслен, ни заносчив, ни юноша, но был в высокой степени державец, — вышел из себя, когда в 32 году по Р. Х. нераспорядительность магистров и сената довела рынок до резкого поднятия цен, и народ заволновался. Встревоженный Тиберий поспешил опубликовать оправдательное письмо, в котором он давал сенату понять, что совсем не намерен стра-

дать за его провинности, и излагал, «из каких провинций и насколько больше, чем Август, он привозил запасы хлебного зерна» (Тацит. VI, 13). «Нет ничего веселее, как народ римский, когда он сыт!» — говаривал два века спустя император Аврелиан. Но не было ничего мрачнее и опаснее народа римского, когда он бывал голоден. В этих случаях он сразу терял всякую дисциплину и гневно требовал к ответу — мимо всех инстанций — самого принцепса, как чиновника, манкирующего своими обязанностями. Оправдательное письмо Тиберия было вызвано прямо тем, что «вследствие дороговизны хлеба едва дело не дошло до возмущения: в течение несколько дней народ в театре заявлял много требований с такой вольностью, какая не была обычна по отношению к императору». Если голодный народ не стеснялся высказать гнев свой таким крутым властителям, как Тиберий (любопытно, что расправу за это свое оскорбление он предоставил консулам и сенату, а сам подчеркнуто остался в стороне), то еще менее церемоний соблюдалось с теми цезарями, которые не пользовались уважением народа,

напр, с Клавдием. Ему однажды (в 51 году) просто напросто задали трепку. «Недостаток в хлебе и происшедший из этого голод также принимались за чудесное знамение. Жалобы на голод раздавались не втихомолку только. в то время, когда Клавдий отправлял суд, его обступили с буйными криками, он был прогнан на край форума и там был сильно тесним, пока кучка солдат не прорвала толпы, сделавшей нападение. »Перепуганный Клавдий, после этого случая, стал усерден в отношении анноны именно, как прошедший через дисциплинарное взыскание чиновник: «urbis annonaeque curam sollicitissime semper egit» (Sueton), — так что даже успел оставить заметный след в законодательстве по продовольственному делу (Dureau de la Malle). Вот почему Герман Шиллер, быть может прав, когда не доверяет Светонию и Диону Кассию в показании, будто в последние свои годы Нерон сделался небрежен к народному продовольствию и заботился лишь о грабеже богатых. Второе весьма вероятно и возможно, но что касается первого — это значило бы сознательно накладывать на себя руки, к чему

Нерон не имел решительно никакой склонности. Да вдобавок еще: если бы не в силах был дать народу хлеба Нерон, — дали бы Пизон, Сенека, богатые претенденты, и — кто дал, тот и стал бы императором. Ибо, если наш век выработал, как *riim desiderium*, формулу: «кто работает, тот и хозяин» (М. Горький в «Мещанах»), то для того римского века глубоко властна и наглядно реальна была формула — «кто кормит, тот и хозяин». Я несколько раз уже указывал на ревность, с которой цезари уступали даже ближайшим и вернейшим людям право покормить народ и потешить играми. Твердый национальный взгляд на то, что даровая раздача, *annona gratuita* — государево дело, сказалось еще в старых легендах о богатом плебее Спурии Мелии, будто бы убитом в 440 или 439 году до Р. Х. по приговору сената за то, что он, в тогдашнюю голодовку, начал даром раздавать народу свои хлебные запасы, а филантропический подвиг его был истолкован сенатом, как акт демагогического заигрывания и стремления к царской власти (*De Sanetis*). Префект анноны был облечен большой властью. Герман Шиллер вырази-

тельно подчеркивает на примере вышеупомянутого Фения Руфа огромную популярность, которую мог стяжать на этом посту добросовестный человек. Обязанный блюсти за удовлетворительным снабжением продовольственных рынков предметами первой необходимости, он был главным инспектором всех видов промышленности, соприкасавшихся с поставкой съестных припасов, и это не только в Риме, но и в провинциях, откуда поступали в столицу продовольственные продукты. Префект анноны в случае необходимости, имел право требовать на помощь себе военную силу, а в самом Риме часть гарнизона была даже предоставлена ему в постоянное распоряжение. Сложный бюрократический организм ведомства обслуживался громадным персоналом чиновников. Помимо собственно департамента (*fiscus frumentarius, officium, statio annonae*), с его субпрефектами, адъютантами и канцелярией (*tabularii*), действительную службу несли:

Смотрители складов (*horrearii*), а складов в одном Риме было 291!

Приемщики и раздаватели зерна (*actores et*

dispensatores a frumento).

Заведующие мерой (*mensores frumentarii*).

Кулевая артель (*saccarii*).

Чиновники портика Минуция с прокуратором (*procurator Minuciae*) во главе.

Многочисленная коллегия лодочников, каботажных и транспортных судовщиков и т.д.

Это в Риме. Не менее многолюдная бюрократическая организация сложились в портах-приемниках Тирренского моря — в Путеолах и Остии. В провинции ведомство как будто не имело собственных органов, что объясняется тем обстоятельством, что, в сфере их компетенции, им непосредственно подчинены были губернаторы, с которыми непосредственно, значит, префект анноны и сносился.

Первоначально ведомство, повидимому, не имело собственной юрисдикции, и его процессы и спорные претензии поступали на разбирательство в обыкновенные суды или в канцелярию римского префекта (обер-полицеймейстера). Но в эпоху Северов префект анноны выступает сам судьей как по гражданским, так и по уголовным делам, касающимся продовольственного рынка, напр, по злоупо-

треблениям скупщиков-маклаков, по тяжбам между арматорами и судовладельцами хлебного флота и т.п. Важные дела, в особенности уголовные, обыкновенно все-таки передавались римскому префекту; однако, он не мог отменить решения, постановленного префектом анноны, апелляционной инстанцией для последнего был суд императора, в лице префекта претории. При Диоклетиане и Константине префект анноны получил титул «ясновельможного» (*vir clarissimus*), а судебная власть его расширилась до права казнить смертью (*jus gladii*). Но, — замечает Буше Леклерк, — это возвышение держателей власти мало скрывает упадок самого института, который не смог пустить корней в Константинополе.

В качестве типически императорского института, ведомство народного продовольствия оплачивалось, конечно, из государева фиска и управлялось как один из его департаментов (*fiscus annonae*). Марквардт, впрочем, полагает, что в расходах участвовала и государственная казна, *aerarium Saturni*, как хозяйка сенатской провинции Африки, с которой она тоже получала подати натурой. Но

вероятнее, что эти получения она сбывала в фиске же, за наличные деньги, или погашала ими свои кредиты, в которых постоянно нуждалась. (См. том II, главу II).

Учреждение даровых раздач помещалось в портике Минуция (*porticus Minucia*); здание с 45 кассами выдач (*ostia*, двери, окна, *guichets*). Отсюда производились как даровая выдача, так и дешевая продажа. Имена граждан, попавших в список государственных пенсионеров, вырезывались для справок контроля на медных досках (*incisi*). Как уже сказано, они получали однажды навсегда удостоверение, которое должны были представлять чиновникам анноны: медный жетон, на котором, кроме аллегорического изображения Анноны, в виде женщины, опирающейся правой рукой на рало плуга, тогда как левой она держит рог изобилия, обозначались день и касса выдачи (*ostium*). Для даровых раздач служил хлебный жетон (*tessera frumentaria*), для дешевых продаж — денежный жетон (*tessera nummaria*). Важная роль античных жетонов давно занимает ученых (в XVIII веке — Фикорони, в XIX — Гаруччи, Морчелли, Эккель, — в

семидесятих годах — Отто Бендорф). На русском языке вопросу о римских тессерах посвящено превосходное исследование М.Н. Ростовцева.

Уже из вышеприведенного описания аллегорической фигуры Анноны на жетонах ясно, что это важное явление народной жизни не избегло того демонического олицетворения, которое было главным фактором римской религии в позднейший ее период. Вера в богиню Аннону родилась вместе с империей, как скоро существование и спокойствие вечного города стали зависеть от правильности и достаточного накопления заморских зерновых ввозов. Надо было выдумать божество, которого воля сливает воедино эти неизмеримые запасы Африки и Египта, блюдет за их безопасным плаванием через море, ссыпает их целыми горами в римские амбары и из года в год дает хлеб насущный сотням тысяч людей. «Святая Аннона», конечно, частенько призывалась в жарких молитвах, особенно людьми, так или иначе прикосновенными к гигантскому кругу хлебного обращения и сопряженных с ними должностей, промыслов и заня-

тий, в провинциях же — поставщиками хлеба на Рим, местными сельскими хозяевами (Фридлендер). Равным образом обратился в миф и Минуций, строитель портика, в котором производилась хлебная выдача. Исторический консул 110 года до Р. Х. М. Минуций Руф смешался в народном представлении с полуисторическим демократом Минуцием, будто бы префектом анноны в 439 году до Р. Х., и мало-помалу эта Минуцианская легенда создала героический культ. Минуций стал гением-покровителем одноименных ему портика и ворот, имел свое святилище, статую, медали (Preller, De Sanctis).

Египет, при Августе, ввозил в Рим 20 миллионов модиев (8,750,000 пудов) пшеницы, чего, по свидетельству Иосифа Флавия, достаточно было для пропитания города в течение четырех месяцев. Значит, годовое потребление было не менее 60 миллионов модиев (26 1/4 миллионов пудов). Но хлеба, поступавшего из Африки, Сицилии, Сардинии, Испании, оказывалось в казне гораздо больше. Некоторые запасливые императоры собирали его громадные экономии. О размерах хлебных за-

пасов Нерона, щедрого на раздачи более всех своих предшественников и многих преемников, можно судить по таким *tours de force* его министерства, как возможность удержать хлебный рынок от повышения цен после страшного пожара 818—64 года. Либо еще выразительнее: в 62 году, после позорного поражения легионов Пета, неудачнейшего генерала из любимцев дворцовой камарильи, парфянским царем Вологезом, — «Нерон, с целью замаскирования беспокойства о внешних делах, даже выбросил в Тибр назначенный для народа хлеб, испортившийся от времени, чтобы тем выставить на вид обеспеченность продовольствия; к цене на хлебное зерно не было сделано никакой надбавки, несмотря на то, что страшная буря погубила почти двести кораблей в самом порте, а сто других, уже приплывших по Тибру, были истреблены случившимся вдруг пожаром» (Тацит).

По смерти Септимия Севера в ведомстве анноны остались сбережения, достаточные для даровой раздачи в течение семи лет (*canon frumentarium septem annorum*) по 75,000 модиев ежедневно, что слагает эконо-

мию около 63 миллионов пудов: количество, которым можно прокормить не 200,000 фураментариев, как их считалось при этом государе, но 450,000. Однако государство не находило возможным увеличить число их, а накопившиеся остатки предпочитало пускать в дешевую продажу по самым низким рыночным ценам, хотя бы даже иногда в убыток против собственных затрат. Таким образом, создавался новый вид государственной щедрости (*largitio*). Можно было прямо купить хлеб, можно было приобрести абонемент на хлеб, платную квитанцию (*tessera nummaria*), которая давала право на регулярное получение из правительственных магазинов определенного количества зерна по дешевой цене. Эти «тессеры» могли быть употребляемы или продаваемы в другие руки. Патроны имели обыкновение приобретать их для своих вольноотпущенников. Нуждаясь в перевозных из-за моря средствах, государство, в поощрение судостроительных и транспортных предприятий, часто жаловало новым компаниям такого рода право раздать известное количество хлебных тессер своим клиентам, из чего фир-

мы эти извлекали либо прямую денежную выгоду, либо широкую коммерческую рекламу.

Даровая аннопа требовала 12 миллионов модиев в год, составляя таким образом 1/5 всего римского потребления. Ограждением ее в этих размерах, по мнению Эмбера, старались одновременно соблюсти интересы свободной торговли и земледелия и держать рынок под влиянием постоянного регулятора, который не допускал бы искусственного повышения хлебных цен. Однако, регулятор действовал плохо, и хлеб бывал иногда дорог не только в случае стихийных несчастий, вроде неурожая в Египте, но и долгими периодами. Так, высокие цены на хлеб овладевали рынком несколько раз в правление Августа (напр, в 759 г.) и держались в течение почти всего правления Тиберия. В 772 году (19 по Р. Х.) пришлось назначить государственную премию за продажу дешевого хлеба: установлена была принудительная такса (2 сестерция за модий), сверх которой правительство приплачивало торговцам по 2 сестерция за каждый модий, то есть 40% то-

гдашней действительной стоимости. Была голодовка при Клавдии. Что римское правительство умело в острых случаях организовать помощь быструю и решительную, показывает пример страшных дней великого римского пожара при Нероне (818 г.), когда, при всей внезапности нужды, хлебу не позволили подняться выше 3 сестерий за модий, т.е. менее 2 копеек за фунт. Достигалось это специальными мерами: открытием в общее пользование государственных запасов, а также привилегиями и льготами, щедро жалуемыми негодциантам хлебной торговли и судопромышленникам хлебного транспорта. Последние стали играть чрезвычайно крупную роль в римском государственном хозяйстве, так как земледелие в Италии продолжало падать, и существование римского народа все более зависело от флота и заморских провинций. Еще Август понимал тесную связь между дешевой заморского хлеба и упадком италийского земледелия и, мечтая поднять последнее, хотел прекратить даровые раздачи (*frumentationes*), но власть хлеба оказалась сильнее его власти, и он сам признал проект

свой неисполнимым. Фрументации продолжались еще и в III и в IV веке с той разницей, что вместо зерна стали выдавать печеный хлеб, в размере $\frac{2}{3}$ прежнего зернового веса, из самой лучшей муки. Замену эту приписывают Аврелиану (270 г.). Получатели в ней выиграли, а не проиграли. Месячина зерновой раздачи, 5 модиев, т.е. более двух пудов на человека, представляется несомненно крупной. Однако, ее едва доставало для пропитания плебея, узника, раба. Причиной тому был плохой помол, в котором терялась половина веса. В эпоху Плиния Старшего, т.е. при Клавдии, Нероне, Веспасиане, модий пшеницы давал $\frac{1}{2}$ модия муки, а модий крупчатки — пять сестерциев ($\frac{5}{8}$ модия). Поэтому разница между ценами на муку и зерно была громадная. В то время, как модий зерна стоил 3 сестерция, модий муки стоил 10 сестерциев, муки сеяной — 12, крупчатки — 24 сестерция, то есть 30 коп. за кило, $12\frac{1}{2}$ коп. за фунт. Это нынешние петербургские цены. Дюро де ла Малль и Джекоб в первой половине XIX века сравнивали их с Лондонскими. В императорскую эпоху правительство стало бороться с

дороговизной организацией общественных хлебопекарен, которые возникали еще при республиках (первая в 171 г. до Р. Х.), порученных корпорации булочников (*corpus pistorum*), под контролем правительственных нарядчигоов (*manicipes*). Пекарни эти получали зерно, которое сами же мололи, из фрументального запаса (*canon frumentarius*), по самой низкой цене, с обязательством готовить хлеб второго сорта, продаваемый также очень дешево. В константинопольский период империи образован был особый кредитный фонд, чтобы снабжать пекарей оборотным капиталом для повышенных затрат в неурожайные годы.

В поздние годы империи стали разнообразиться и предметы даровой съестной выдачи.

Обычной пищей римского народа, солдат и рабов, как мы видели, была полба и пшеница, потребляемая либо в вареном виде кашицы-болтушки (*puls*), либо в виде печеного хлеба. Кроме пшеницы, из злаков питательным для человека признавался только ячмень, да и то в виде суррогата: провинившихся солдат переводили, в наказание, с пшеничного на

ячменный паек. Овес (avena) считался исключительным скотским кормом. Рожь (secale) Плиний называет пищей «отвратительнейшей, которую употреблять можно только по голодной нужде, да и для желудка она вредна очень», но рекомендует ее для выкормки убойного скота. Древнейший римлянин был почти что вегетарианцем и мяса употреблял мало. Цезарь и Тацит одинаково оставили свидетельство, что войска почитали большим лишением для себя, когда недостаток хлеба вынуждал их к мясному питанию, — «прогонять голод бараниной» (carne residua propulsare famem coacti). Что касается говядины, то вкушать ее почитали грехом даже в довольно поздние времена республики. Бык и корова рассматривались римлянином как трудовые товарищи и друзья человека (Марквардт).

Но как скоро ведение мяса и, в особенности и прежде всего, свинины вошло во всеобщее употребление, к даровой раздаче хлеба прибавили и удушевленную или даровую свинину. Учреждена была особая корпорация свиная (suarii), на обязанности которых ле-

жало добывать мясное продовольствие из провинции и распределять его между пенсионерами. Поступало оно главным образом из равнины реки По, где свиноводство развили хлебные урожаи при отсутствии хлебного рынка, на который бы их сбывать. Насколько были сбиты цены конкуренцией заморского хлеба, достаточно свидетельствует то обстоятельство, что в плодородных италийских местностях урожай иногда превращался чуть не в бедствие, совершенно обесценивая не только хлеб, но и убойный скот. Так, в 504 году Рима (250 до Р. Х.) свинина таксировалась на рынке дешевле 10 коп. за пуд (Моммсен). Разумеется, таких цен не могло уже быть после междоусобных войн, — в особенности же они пошли вверх после битвы при Акциуме. Но, собственно говоря, на съестном рынке Рима дороги были — и иногда безумно дороги — только прихоти и роскошь, в особенности привозного происхождения; хлеб и мясо всегда были по карману даже беднейшей части свободного населения. За этим правительство строго следило.

Начиная с шестого века римской эры (вто-

рого до Р. Х.), Италия обогащается виноградом и маслиной и быстро преуспевает в производствах вина и оливкового масла. Настолько, что уже в последнем веке республики государство начинает делать народу праздничные подарки этими продуктами (*congiaria*), а в позднюю эпоху империи (после Марка Аврелия, в особенности же при Аврелиане) масло и вино входят в ведомство анноны к постоянной даровой раздаче. За сто лет, начиная Конгиарием Ю. Цезаря в 46 году до Р. Х. и кончая кончиной Клавдия (54 г. по Р. Х.), фамилия Цезарей истратила на конгиарии 216.950,000 сестерциев, т.е. 21 1/2 миллионов рублей, да Нерон, за 13 лет своего правления, прибавил еще 20 миллионов сестерциев — 2 миллиона рублей.

Мы видели, что, как только родилась на свет государственная хлебная льгота, немедленным близнецом родились злоупотребления государственным доверием. В предупреждение их императоры издавали суровые указы против профессиональных нищих (*mendicantes non invalidi*) и жуликов, присосавшихся к даровой раздаче. Но необходи-

мость злоупотреблений обуславливалась уже самым характером института — была роковым последствием демагогических заигрываний, которыми цезаризм перерабатывал в свою пользу республиканские традиции, и развития в столице этого ленивого и безнравственного подсословного слоя, который в наше время получил немецкое название Lumpenproletariat'a. Annona civica образовала бюджет профессионального лентяйства и в известных случаях продолжала его наследственно, — некоторые фамилии жили государственной подачкой из поколения в поколение, видя в ней как бы свое родовое право. Так, — говорит Эмбер, — вопреки всем основам здоровой политической экономии, в то время, положим неизвестной, государство разорялось, само отвлекая население от труда, единственного источника к накоплению общественных богатств и поощряя беспечность и лень.

VII

Смерть Бурра дала сигнал к паденью Сенеки. Он сдался без боя. Мысль, почуяв, что воля, переводившая ее в действие, отлетела, сознала себя разбитой наголову и, в совершенном бессилии против надвигающегося зла, спешила — хоть самой-то — уйти прочь от торжествующих победителей, поскорее, покуда не запачкана их сообществом. Интрига поппеянской шайки работала против Сенеки с гораздо большей откровенностью, чем против Бурра: этого она боялась, Сенеки — ничуть. Нерону шептали в уши о несметном богатстве министра, превосходящем размеры самых крупных частных состояний. Упреки, которые четыре года назад бросил Сенеке в глаза пред судом наглый плут Суиллий, теперь повторяет придворное наушничество. Издеваются над философией и правилами нестяжаний, позволяющими человеку иметь капитал в триста миллионов сестерциев, т.е. тридцать миллионов рублей. Однако, и того еще мало этому ненасытному проповеднику бедности, он старается нажать, прикопнуть

еще и еще. В Риме он закидывает тенета на бездетных завещателей. Италию и провинции истощает ростовщичеством. Его виллы спорят великолепием с летними резиденциями государя. Он весьма подозрительно заискивает в гражданах, как будто формируя свою партию.

Вряд ли, однако, подобные нашептывания возымели бы влияние на Нерона, если бы не прибавилось к ним личного неудовольствия. Цезаря уверили, будто Сенека считает его весьма плохим наездником, смеется над его пением, не признает иных ораторов, кроме себя самого, и, следовательно, отрицает значение наград, полученных императором за красноречие. Кроме того, он стал чаще писать стихи для сцены с того времени, как Нерон открыл в себе призвание к поэзии, так что, очевидно, мечтает затмить авторскую славу цезаря.

— Что это за монополия ума и таланта? — негодовали куртизаны. — Неужели у республики только и света в окне, что Сенека? Что бы славного ни случилось в государстве, сейчас же все кричат: это дело Сенеки, это придумано

мал Сенека.

Или язвительно удивлялись: какую, собственно, роль философ играет при дворе? Ведь, строго рассуждая, он не более как гувернер цезаря. Но цезарь, хвала богам, вырос из детства, находится в цвете юности и не нуждается в иных уроках, кроме тех, что завещаны ему великими предками. К чему же гувернер? Учителей держат при государях, покуда они дети, а затем этих господ рассчитывают и отсылают.

Затронутый за самые чувствительные струнки своего самолюбия, Нерон стал заметно холоднее к Сенеке.

Весьма возможно, что в это время между Нероном и Сенекой, питомцев и учителем, в самом деле происходили сцены вроде той, которую сохранил нам диалог памфлетической «Октавии».

Нерон. Советы мягкосердечных стариков годятся для мальчишек.

Сенека. Тем более должна себя держать руках пылкая юность.

Нерон. В этом возрасте, я полагаю, довольно человеку и собственного ума. Сенека. Да

будут дела твои всегда угодны богам.

Нерон. Глупо бояться богов: я в деле, я и в ответе (Stulte verebor, ipse cum faciam, deos{1}).

Сенека. Тем паче надо тебе уважать сознание, что вручено тебе столько власти.

Нерон. Э! С нашей удачей мне все позволено.

Сенека. Осторожнее вверяйся ласкам Фортуны, обманчива эта богиня.

Нерон. Болваном надо быть, чтобы не знать, до каких пор ты дерзнуть в силах.

Сенека. Похвально делать то, что следует, а не то, на что ты дерзнуть в силах.

Нерон. Кто упал, — чернь того топчет.

Сенека. А кого ненавидит, — того низлагает.

Нерон. Меч — защита государю.

Сенека. Вернее защита — любящая верность.

Нерон. Прилично Цезарю быть страшным.

Сенека. Гораздо приличнее — любимым.

Нерон. Необходимо, чтобы меня боялись...

Сенека. Ах, что ни говоришь ты, — тяжело слышать!{2}

Нерон. И повиновались нашим повелени-

ЯМ.

Сенека. Так приказывай справедливое.

Нерон. Что хочу, то и укажу. (*Statuam ipse*).

Сенека. А кто согласится исполнять?

Нерон. Мечом заставлю себя уважать.

Сенека. Да хранит тебя судьба от этого нечестия.

Разумеется, раз между наставником и воспитанником начали вспыхивать подобные споры, то в один плачевный день не мудрено им было и оборваться такой высочайшею фразой из того же диалога:

— Перестань приставать, ты уже и без того слишком надоел мне: это будет сделано уже потому, что Сенеке это не по вкусу! (*Liceat facere quod Seneca improbat*).

Стесняясь открыто высказать свое неудовольствие, цезарь повел, обычную ему при тайных немилостях, тактику: сохраняя внешнюю любезность, ледяную, явно притворную, ловко уклонялся от всяких встреч и бесед со своим министром, кроме официальных. Чувствуя недоброе, хорошо осведомленный о придворных клеветах, памятуя такое же поведение Нерона, когда он возненавидел

Агриппину, Сенека, однако, никак не мог вызвать государя на прямодушное объяснение. У старика хватило мужества не дожидаться, пока выгонят, и самому пойти навстречу опале. Потеряв надежду объясниться с Нероном частным образом, Сенека испросил официальную аудиенцию и торжественно подал в отставку. Речи, которыми обменялись при этом удобном случае министр и государь, весьма примечательны.

Сенека говорил:

— Вот уже четырнадцатый год, цезарь, истекает с тех пор, как твоя многообещающая юность была поручена моему попечению, и восьмой год, как ты — император.

В эти сроки ты осыпал меня столькими почестями и таким богатством, что для полноты счастья мне не хватает теперь разве лишь уверенности, что оно не чрезмерно, и дозволения приостановить его щедроты. Соболаволи, в пояснение слов моих, выслушать два примера, взятых не из моего темного быта, но из жизни твоих великих предков. Твой дед Август разрешил Марку Агриппе удалиться на покой от дел в Митилену, а К. Меценату —

окружить себя в самом Риме столь тихим одиночеством, словно бы он уехал за границу. Первый из этих главных людей — боевой товарищ Августа. Второй — человек, с еще большей пользой трудившийся для государства в недрах самого Рима. Награды, ими полученные, хотя и велики, однако, достойны огромных заслуг их. Но я? Что могу я противопоставить твоим щедротам с своей стороны? Мои научные работы? Но так ли велика их важность? Взлелеянные, так сказать, в глуши, во мраке неизвестности, они вышли из тени, стяжав некоторую популярность, лишь благодаря тому, что меня считают сотрудником первых литературных опытов твоей юности. Такая честь, уже одна, сама по себе, — вполне достаточная мне награда. Ты же окружил меня безмерной милостью, неисчислимым богатством, так что не знаю, как говорят о том другие — но мне самому неловко за свое счастье пред судом собственной совести. Мне ли, простому всаднику, провинциалу происхождения, стоять в первом ряду государственных сановников? Мне ли, человеку вчерашнего дня, блистать среди родовой знати, слав-

ной отличиями предков во многих поколениях? Да — нечего сказать: хорош я и как философ, служитель мудрости, которая велит нам довольствоваться собой немногим. Проповеднику ли воздержания разбивать великолепные парки? об умеренности ли говорят мои подгородные виллы? о бескорыстии ли свидетельствуют огромные доходы? Только в одном я нахожу себе извинение: я не считал себя в праве сопротивляться твоей благодеющей воле.

Но мы оба дошли до пределов: ты дал мне все, чем государь может одарить друга, я принял все, что друг может получить от государя. Продолжать в том же духе далее — значило бы только выращивать зависть. Конечно, зависть, как и все смертное, остается ниже твоего величия; но меня она тяжело давит, мне она не в подъем без подмоги. Солдату-инвалиду или страннику, переутомленному дорогой, не стыдно взывать о поддержке: так точно и я ослабел теперь на своем житейском пути; я уже старик, мне не под силу и самые малые хлопоты, а не то, что хозяйственный распорядок столь громадным состоянием, — прошу: защиты меня от собственного моего из-

бытка. Повели взять мое имущество в ведомство твоих уделов, прими его обратно в свое достояние. Я оттого не разорюсь и не впаду в нищету, а только выиграю: сбыв с рук праздный блеск, что теперь меня кругом вяжет, я высвобожу из времени, которое трачу на пустые хлопоты о парках и виллах, досуг позаботиться о пользах души своей. Что касается тебя, ты — богатырь силами, а столько лет правления уже достаточно ознакомили тебя с техникой государственной власти. Следовательно, нам, старикам, первым твоим приверженцам, не грех удалиться и на покой. И — даже и это, цезарь, послужит к твоей славе: ты покажешь свету, что возносил на вершину почета не честолюбцев, но людей, способных довольствоваться умеренной долей.

Нерон отвечал почти следующими словами:

— Ты обдумал речь свою заранее. Я готов отвечать тебе немедленно. Вот уже сразу и сказались твои заслуги, потому что это ты научил меня говорить не только на предвиденные, но и на внезапные темы. Мой прадед Август дозволил Агриппе и Меценату удалиться

на покой по трудам их. Но вспомни: сам он к тому времени был уже в пожилых летах, которые оправдательно говорили за рассудительность и авторитет его решения, в каком бы смысле оно ни состоялось. И все-таки, отпуская друзей-сотрудников, он ни у того, ни у другого не отобрал наград и пожалований. Что они заслужили милости военными трудами и доля опасности государя, зависело не от них: так сложилась молодость Августа. Ведь и ты не отказал бы мне в помощи вооруженной рукой, случись мне воевать. Но условия моего правления сложились иначе и требовали иной службы, и ты исполнил все, чего они требовали. Ты руководствовал мое отрочество, потом юность разумными доводами своей опытности, советами, наставлениями; не могу я забыть заслуг твоих, покуда жив! Мои же пожалования тебе — сады, ренты, виллы — все это подвержено случайностям. Хотя на вид их и много, но мало ли людей превосходят тебя достатком, хотя не в силах сравниться с тобой в достоинствах? Стыдно сказать: есть вольноотпущенники, которые богаче тебя! Так что, право, мне еще приходится

краснеть за себя: почему ты, занимая первое место в моем сердце, еще не первый между всеми по богатству? Будем откровенны: и ты еще вовсе не так стар, чтобы отречься от деятельности и пользования плодами своей работы, да и я еще только вступаю в труд государев. Неужели ты считаешь себя хуже Вителлия, который три раза был консулом, а меня ставишь ниже Клавдия? Неужели я не в состоянии одарить тебя такими же богатствами, какая собрала Волузию его долговременная бережливость? Я молод. Если возраст увлечет меня на скользкий путь пороков, кому, как не тебе, остановить меня? чье, как не твое дело, с удвоенной энергией поддержать и направить советами мою, тобой же воспитанную, юность? Ты хочешь покинуть меня. Но разве общество поверит, будто ты устал и запросился на покой? Нет, сложится сплетня о моей жестокости. Ты хочешь возратить мне пожалованное. Но разве люди припишут это твоей умеренности? Нет, заговорят о моей алчности. Пусть даже, наконец, и поймут тебя, и превознесут за бескорыстие! — но вряд ли прилично мудрецу стяжать славу тем са-

мым деянием, которое неминуемо бросит бесславное пятно на его преданного друга.

VIII

В обмене изложенных речей Кудрявцев видел риторический турнир, в котором оба — и учитель, и ученик — немилосердно фальшивили чувствами и старались блеснуть друг пред другом красивыми словами, по всем правилам красноречия. Аудиенция завершилась объятиями и поцелуями со стороны Нерона и выражениями глубочайшей благодарности со стороны Сенеки: «Обычный конец всех объяснений с государями!» иронизирует Тацит. По его мнению, цезарь в это время уже ненавидел Сенеку: такова была природа Нерона, говорит историк, а еще более наловчился он к тому практикой двора, чтобы скрывать злобу под коварными ласками. Однако, хорошие личные отношения между императором и бывшим министром не только не прервались, но даже как будто улучшились. Правда, Сенека настоял на своем: удалился от дел, затворился в своем доме, прекратил приемы обычных официальных визи-

теров, стал показываться в городе как частный человек, без свиты и при том очень редко, объясняя свое удаление от света то нездоровьем, то научными занятиями. Тем не менее, еще в следующем году (53) мы видим Нерона в гостях у Сенеки. Незадолго до этого посещения император проявил было немилость к Тразее Пету. Гостя у Сенеки, цезарь похвастал, будто вновь примирился с Тразеей, а Сенека радостно его с тем поздравил. Очевидна цель Нерона сказать приятное хозяину дома, чье уважение к главе оппозиции было ему, конечно, не безызвестно. Несомненно, что Сенека не пугал Нерона своею отставкой, а просился в нее совершенно серьезно; несомненно, что ответная речь цезаря — особый вид благодарственного рескрипта, который вежливо сожалеет о потере для государства столь заслуженного деятеля, но отнюдь не может побудить человека, поседевшего при дворе, принять условную форму этикета за чистосердечное приглашение взять просьбу об увольнении обратно. Ведь все рескрипты, отпускающие министров от постов их, всегда вежливы и всегда даются «с

сожалением»; однако, кажется, еще ни в одном государстве не было министра достаточно наивного, чтобы, получив рескрипт «с сожалением», заявить своему государю:

— Ваше величество! если вы уж так сожалеете о моей отставке, так я, пожалуй, и останусь.

Но, обыкновенно, государи не посещают павших министров, отставленных по взаимному неудовольствию, с полу-опалой, и не стараются им льстить и нравиться. Так что ненависти, предполагаемой Тицитом, тогда еще, кажется, не было. Но, как человек необычайного ума и редких способностей к психологическому анализу, Сенека чувствовал, что она неизбежно должна народиться, и бежал, рассчитывая отдалить ее приближение. Он отстранялся не столько от самого Нерона, сколько от нового двора, в возрастающих мерзостях которого — он знал — Нерон должен выродиться в безобразного тирана, а правление его превратиться в омут жестокостей и разврата. Кто стоит близко к тирану, тот должен, не рассуждая и даже с видимым удовольствием, разделять его пороки и при-

хоти, — оставил грустное признание сам Сенека. Стать на старости лет жестоким и распутным он не имел ни сил, ни воли: он, и в самом деле, уже сознавал близость смерти и заботился о душе. Стало быть, он, оставаясь исключением, являлся бы при дворе неммым упреком, страдальцем поруганной морали, а упреки надоедают, и, когда надоели, их ненавидят, моралистов же либо казнят, либо отправляют в государственную тюрьму, что в Риме считалось едва ли не страшнее казни. Та же смерть, только долгая и мучительная. Вместо минут, — неделями, месяцами... Вот какую будущность провидел и бежал от нее Сенека. Бурр не ушел бы, стал бы бороться. Сенека махнул рукой.

Для некоторых государственных людей в Риме удалиться от официальных должностей, сохраняя хорошие личные отношения к принцепсу, значило только возвысить свое действительное, закулисное, так сказать, могущество, — тут-то и становились они главными пружинами правительственной машины, не принимая притом ответственности за ходом ее. Пример — Меценат, помянутый Се-

некой в просьбе об отставке, якобы праздный вельможа, личный друг Августа. Быть может, Сенека, уходя от дел при сохраненной еще приязни Нерона, лелеял втайне и такой расчет? Вышеупомянутый разговор о Тразее цезаря в гостях у Сенеки напоминает именно приятельство Августа и Мецената. Что Сенека не вовсе утратил влияние на дела, живо явствует из волнения, какое он обнаружил, когда, после великого римского пожара, Нерон стал строить «Золотой дворец» и для украшения его грабить сокровища искусств из храмов. Старик испугался, что почин святотатства будет общественным мнением приписан ему, как философу и, следовательно, «безбожнику». Эта история случилась два года спустя после отставки Сенеки, и вот лишь когда между ним и Нероном произошла, действительно, серьезная размолвка.

Игра в историческое повторение великих предков, если она и была затеяна, не могла долго продолжаться. И Нерон не годился в Августы, и Сенека — не Меценат. Да и времена стояли не те. Вокруг Нерона толпились слишком много хищников, ревнивых к своей, позо-

ром завоеванной, власти над цезарем. Как скоро громко заявленные в прощальном рескрипте симпатии стали переходить из области эффектных фраз в действительное осуществление, придворные негодяи, конечно, сумели положить им конец. Мы знаем, что в уединении своем Сенека опасался яда — настолько, что питался исключительно плодами, собственноручно сорванными в своем саду, и пил воду из фонтана, который отравить можно было, лишь испортив воду всех римских акведуков. Тацит сообщает это известие в связи со ссорой философа с императором из-за грабежа храмов. Опасаясь нареканий, Сенека снова просил Нерона отпустить его от двора в отдаленную деревню, снова предложил в распоряжение государя свои богатства, — Нерон не отпустил и не принял. Тогда Сенека — извиняясь сильным нервным расстройством — безвыходно заперся в своем кабинете и, вероятно, нашел средства довести до общественного сведения, что в насилиях святотатцев он не при чем: всем руководит личная воля цезаря. Ходили сплетни, будто Нерон, недовольный прорицаниями Сенеки, пытал-

ся отравить старика чрез вольноотпущенника, по имени Клеоника, и вот именно это-то покушение заставило Сенеку принять чрезвычайные меры осторожности. Но, как допускает и Тацит, философ вряд ли нуждался в случайных поводах, чтобы беречь свою жизнь, — довольно было и общих опасений. Ему приходилось бояться не только самого Нерона, но и, пожалуй, даже больше, таких врагов, как Тигеллин, который «совратив Нерона на всякие злодеяния, позволял себе многое без его ведома», и которому старый мудрец, с его, хотя гибкой, но все же искренне-красноречивой этикой был — как терн в глазу. Однажды начав преступление, Нерон непременно доводил его до конца. Если бы покушение Клеоника было приказано цезарем, оно бы удалось во что бы то ни стало. Больше: раз убедясь, что оно приказано цезарем, Сенека сам не посмел бы сохранять далее бесполезную и тревожную жизнь, осужденную на истребление высшей властью. Самоубийство в императорском Риме — обычный спутник бесповоротной государевой опалы.

Если бы Нерон, увольняя Сенеку, питал к нему, как уверяет Тацит, ярую ненависть, кто помешал бы ему отделаться от эксминистра немедленно? Предлог был: в конце того же года вольноотпущенник Роман сделал ряд тайных доносов, обвиняя Сенеку в заговоре против государя с К. Пизоном, знаменитым богачом и вельможей, знатным, как сами цезари. Однако, философ не только блистательно оправдал себя, но еще и доносчика упек под законную кару, обратив против него то же самое обвинение, — вероятно, ироническим приемом: доказав, что, если ставить в вину общение с таким популярным человеком, как Пизон, то любого римского гражданина можно подозревать с ним в заговоре.

РУБЕЛЛИЙ ПЛАВТ

I

Смерть Бурра и падение Сенеки развязали поппеянцам руки. Значение старшего префекта претории, Фения Руфа, человека слабого и, повидимому неумного, оказалось легко подорвать: стоило лишь напомнить Нерону о дружбе и, может быть, даже любовной связи Руфа с покойной Агриппиной, — имя матери неизменно приводило цезаря в тоску и содрогание. «Без лести преданный» Тигеллин со дня на день забирал все больше и больше силы при дворе, продолжая играть все на той же слабой струнке Нерона: — Все государственные заботы, кроме твоего личного благополучия, — второстепенные мелочи; никого и ничего не бойся, покуда я близ тебя! — я твой верный пес, готовый грызть, как собственного врага, всякого кого ты прикажешь.

Чтобы закрепить свое влияние на государя и всецело забрать его волю в свои когти, такому опричнику, естественное дело, нужно

окончательно поссорить его с знатью и республиканскими правительственными учреждениями; нужно доказывать делом беспрестанные разглагольствия, что один лишь он, Софоний Тигеллин, опора цезаря, а без его усердия Нерона изведут в трое суток; нужно пугать воображение императора злоумышлениями, заговорами, покушениями, — словом, отравить ему жизнь страхом всех, кроме доверенного, без лести преданного временщика. Нерон, вообще подозрительный от природы, был в это время настроен особенно робко. Обвинители Сенеки были отчасти правы: получив с удалением от дел достаточный досуг для философских и литературных занятий, бывший министр, в самом деле, вернулся к стихотворным упражнениям своей молодости, принялся за сочинительство с усиленной энергией и писал трагедию за трагедией. Ученые много спорили о значении трагедии Сенеки. Гастону Буассье удалось доказать, что эти длинные стихосложные очень умные, красноречивого (даже слишком!) и образованнейшего ритора предназначались отнюдь не для театра, но для чтения в избранном кру-

гу таких же интеллигентов, как сам автор, способных тонко рассматривать его философские афоризмы и политические намеки. Недаром впоследствии, в веках Возрождения, этот, лишенный всякого драматического дарования, Сенека, которого чудовищные монологи едва одолеваешь без того, чтобы не заснуть, даже когда борешься с ними по обязанности, пришелся так по вкусу утонченным книжникам, вроде Скалигера. Этот последний ставил Сенеку выше великих греческих трагиков. Гастон Буассье справедливо указывает, что, благодаря поклонению интеллигентных педантов, сквозь Сенеку были профильтрованы и первые французские обработки греческой трагедии, что внесло в них, совсем несвойственную грекам, фразистость и, таким образом, подготовило путь к будущим злоупотреблениям псевдоклассической школы. Отсутствие действия в трагедиях Сенеки делает их похожими на литературный вечер, риторический турнир или философско-этический диспут в костюмах. Их можно сравнить в нашей современности с философскими драмами Ренана, причем, однако, за последним

останется преимущество литературного вкуса, остроумия и решительности, с которой автор преследует, в программе фантастического замысла, публицистические цели жгучей современной мысли. Подобно тому, как Ренан вложил свои памфлеты в уста героев Шекспира, Сенека вызывал тени, освященные Софоклом, иногда даже буквально переводя последнего. Если философские драмы Ренана — попытки обратить Шекспира в современного публициста, то трагедии Сенеки — совершенно такой же опыт по отношению к традициям великой трагической троицы эллинского мира. В них, как в поэтической исповеди «поконченного человека», доживающего недолгую отсрочку между отставкой и смертью, бесконечно звучит, за мифологическими темами, самое живое и современное содержание, и между прочим разбросано множество намеков на невеселое сознание цезарями угроз революции, вечно над ними висящей. Кто пасет народы железным посохом, — говорит Сенека в «Эдипе», — сам дрожит перед теми, кого заставляет трепетать; ужас, брошенный в мир, возвращается обратно к тому, кто

его внушит. И в «Тиэсте: — Владыка, раздающий короны по своему произволу, повелитель, окруженный коленапреклонением трепещущих народов, полубог, одно мгновение чьей головы заставляет слагать оружие мидян, индусов и дагов, столь страшных для самих парфян, — ведь он тоже не свободен от боязни за себя на своем престоле; он содрагается, помышляя, как капризна судьба, как внезапные удары рока опрокидывают троны... «Финикиянки»: — Не хочет царствовать тот, кто боится быть ненавистным. В неразрывность соединил творец мира два эти понятия: царскую власть и ненависть... Кто хочет быть любимым, куда тому быть царем!.. «Агамемнон»: — Верность никогда не переступает порога дворцов (*Non intrat umquam regium limen fides*). Из этих выразительных отрывков ясно, что былая жизнерадостная доверчивость и великодушие, именем которых Нерон отказывался подписывать смертные приговоры и слышать не хотел о политических процессах за оскорбление величества, отлетели от убийцы Британика и Агриппины навсегда.

С другой стороны, эти же трагедии необычайно показательны, как проявители революционного духа, которым была пропитана эпоха. Нельзя быть большим скептиком по отношению к самому существованию верховной власти, чем Сенека, этот, между тем, как не раз уже мы видели, убежденный монархист и проповедник монархии, этот воспитатель государя, дворцовый политикан-теоретик и практик, всемогущий министр. — Если у государя не найдется другого учителя, чтобы показать ему путь коварства и преступления, их покажет ему власть (*Ut nemo doceat fraudis et sceleris vias, regnum docebit*), — говорит его Атрей, упреждая почти на две тысячи лет теорию Якоби о безумии, порождаемом величием власти. В ужасе пред этим безумием, Сенека очень часто выражает взгляды — мало сказать, революционные, но прямо таки террористические.

Utinam cruore capitis invisī deīs libare possem: gration nullus liquor tinxisset aras; victima haut ulla amplior potest magisque opima mactari Jovi, quam rex iniquus.

В таких недвусмысленных стихах выража-

ет свою ненависть к политической тирании «Неистовый Геркулес». (О культе его, как истребителя тиранов и насадителя свободной гражданственности, я уже имел случай говорить в I томе «Зверя из бездны».) Известно, что стоицизм отверг школьный идеал античного мира, Александра Великого, гения войны и победы, и противопоставил ему, как свой идеал, — Геркулеса, бога силы, творящей добро (Havet).

Iniqua numquam regna perpetuo manent!

(Никогда не бывают прочны неправые царства!), — грозит «Медея».

Virtutis est domare quae cuncti pavent, —

(Доблесть заключается в том, чтобы смирять тех, пред кем все трепещут), —

учит Мегара, верная жена Неистового Геркулеса.

Быть может, Гастон Буассье уж слишком старается придать подобным общим местам частное и специальное значение. Притом же этот ученый, в два разные периода жизни своей, в двух своих сочинениях, высказал диаметрально противоположные взгляды на хронологию трагедий Сенеки. В статье своей

«Были ли трагедии Сенеки поставлены на сцену?» он относил их к раннему творчеству писателя, почитая их плодами ненависти Сенеки к Клавдию. В знаменитом же труде своем «Оппозиция при Цезарях» он почитает трагедии Сенеки написанными после того, как философ отошел от государственных дел. В первом труде он считал вышеприведенные стихи из «Тиэста» относящимися к Клавдию, во втором видит в одном монологе того же «Тиэста» намеки Сенеки на особенную свою судьбу после отставки:

— Поверь мне, возвышенные положения прельщают людей только обманными титулами (*nominibus*), и напрасно люди боятся нужды. Покуда я стоял на высоте, я никогда не переставал бояться меча — даже того, который висит на собственном моем боку. Ах, как хорошо быть на низах общества — никому не внушать ни зависти, ни страха! Преступный умысел проходит мимо бедной хижины, и нищий безопасно ест обед свой на колченогом столе, тогда как в золотом кубке, того гляди, выпьешь яд, — это я тебе по опыту говорю! Повторяю тебе: жить в скудной доле

лучше, чем в богатой!

В этой тираде несомненно возможно найти совпадение тона и даже некоторых выражений с изложенными выше главами Тацита об уходе Сенеки в отставку и жизни его в отставке. Но никто не гарантирует нам, что главы-то эти не написаны человеком, который очень хорошо знал «Тиэста» Сенеки и по психологии героя вообразил и создал психологию автора.

Но, как бы то ни было, если Сенека даже не метил стрелами слов своих в частные цели, а только рассыпал общие места, — густо должен быть насыщен воздух политическим электричеством для того, чтобы подобные общие места стали общим правилом, которое побеждает себе, как стихийная зараза, даже творческую мысль такого монархического оппортунизма. А их столько, что совершенно очевидно: без них Сенеке нельзя, как без основного тона, — чуть он, как трагик, берется за перо, дидактические апофемы противоцезаристской политики льются произвольно, сами собою. Достаточно Сенеке на минуту оторваться от своего царедворства и разбу-

дить в себе мыслителя и моралиста, чтобы с уст его срывалась либо террористическая угроза, либо вопль мучительного покаяния смятенной гражданской совести:

Trepidamus? haud est facile mandatum scelus audere, verum jussa qui regis timet, deponat omne et pellat ex animo decus: malus est minister regil imperri pudor.

(Нам ли робеть? Хотя не легко отважиться на приказанное преступление, однако кто истинно почитает царскую волю, тот должен отложить в сторону и изгнать из души своей всякую порядочность (*decus*) : стыд решительно не годится в слуги царской власти.)

Таким образом, невозможно отрицать, что римская политическая атмосфера, к первым шестидесятым годам I христианского века, была насыщена революционным электричеством, которое подчиняло своему давлению мысль современной интеллигенции, включая сюда даже либеральных царедворцев и бюрократов высшего полета. Угол падения революционных молний всегда равен углу отражения. Там, где зреют тучи революции, немедленно являются силы, предлагающие и орга-

низующие контр-революцию. Если первая начинает стягивать к себе «порядочных людей» (boni), которые в конце концов потянут за собою и Сенеку, то во главе контр-революционной расправы, с такою же естественностью, станет совершенно-непорядочная придворная камарилья-авантюра: Поппея и Тигеллин.

Первыми жертвами Тигеллина стали давно заподозренные, мнимые претенденты на принципат — масилианский изгнанник, Корнелий Сулла, и азиатский, Рубеллий Плавт. Тигеллин нашептал Нерону, что ссылка этих двух его соперников — еще отнюдь не ручательство за их политическую обезвреженность. Напротив. На злоумышления, коренящиеся в Риме, могучею уздою является уже самое присутствие цезаря в столице, возможность непосредственного воздействия. Но совсем иное дело, если Сулла взволнует Галлию памятью о предке-диктаторе, или народы Азии ухватятся, как за вождя, за человека с громким именем, Рубеллия Плавта: ведь он приходится внуком великому Друзу. Зная, как разное относится Нерон к обоим изгнанникам, хотя равно обоих ненавидит, Тигеллин харак-

теризует претендентов совершенно в духе и в тоне самого цезаря:

— Сулла кажется дурачком, но это маска; он притворяется беззаботным и лентяем, пока обстоятельства не сложатся для него в удобный случай пуститься в авантюру, а тогда он бросится в смуту, очертя голову. Правда он беден, но это-то и подстрекнет его на риск: терять ему нечего, а взять на шальную ставку можно — целую вселенную. Рубеллий, наоборот, очень богат; но этот даже не трудится скрывать своего разлада с существующим порядком вещей: открыто выказывает себя подражателем старинных римлян, связался со стойками и заразился их высокомерием. С этую сектою тоже не худо бы сосчитаться: она неблагонадежна, — внушает ученикам своим мятеж и дерзкую предприимчивость к переворотам.

Нерон — сам ученик стойков — слушает и не возражает: значит, соглашается и доволен. Век Лагарпа прошел — у кормила власти становится Аракчеев, имеющий искреннейшую тенденцию упрятать всех Лагарпов в надежный каземат.

Я не могу здесь рассмотреть с тою подробностью, как хотелось бы, вопрос о значении и учении, истории и философии этой стоической школы, против которой с такою злобою ополчилось теперь римское бюрократическое мракобесие. Это значило бы написать новый том. Но не могу и пойти дальше, не обозначив внутренних причин, которые так резко поссорили с существующим строем группу, по видимости столь мирную и преданную идее либерального, закономерного единовластия. Мне еще придется много говорить о стойках в главах IV тома, посвященных Сенеке и «Римским декабристам». Поэтому сейчас я ограничусь немногими замечаниями о мотивах, сложивших их «политическую неблагонадежность».

Политика стойков, — говорит Navet, — одновременно и политика покорности, и политика революции. С одной стороны, ей даже в мысли не приходит идея стряхнуть иго порабощения, которое стало для мира как бы условием его существования, и она уступает ему,

как всякому злу, которое сильнее человеческой воли. Этот уступчивый компромисс, по силе одного из догматов секты, обращается даже в безразличие: коль скоро мудрец останется свободным внутри себя, что за важность, если он будет рабом во внешней жизни? Хуже того: философская диалектика иногда подсказывала стоикам мотивы не только к безразличию, но и к удовлетворению действительностью. Мы уже видели, как Сенека, смешивая политическое порабощение с государственным порядком и миром, дошел до косвенного осуждения республиканских форм чрез провозглашение признательности государям, которые открывают ученым досуг философствовать в собственное удовольствие и без помех. Стоики искренно благодарны цезаризму за то, что он снял с них другие заботы и обязанности, кроме интересов духовной жизни. Замирение империи избавило их от воинских тягостей. Философия делается самодевлеющей профессией, которая избегает гражданской суеты мира сего: сорока годами позже, при Траяне, некий Архип торжественно потребует избавить его от судейской очереди,

так как он - - философ и не может согласовать судебной должности со своими моральными правилами. Вот — античный предшественник Льва Николаевича Толстого, выступившего в Крапивненском окружном суде с подобным же отказом от обязанностей присяжного заседателя. При Адриане было повторно постановление, существовавшее уже ранее Веспасиана и им тоже подтверждено, что «magistri civiliū munerum vacationem habent»: преподаватели грамматики, риторики и философии избавляются от отбывания гражданских повинностей. Varbagallo, исследовав это постановление, пришел к убеждению, что оно не могло явиться в другое время и войти в силу, как в эпоху Нерона. Havet остроумно указывает, что этот, очутившийся вне гражданства, стоицизм образовал в государстве нечто вроде вольно-практикующего духовенства, церкви, обращенной в свободную профессию. Впрочем, не он первый: уже Юст Липсий сравнивал их с капуцинами и миссионерами. Это «духовенство» платило государству свой долг своим собственным подчинением и пропагандою подчинения среди наро-

дов. Оно приняло от Платона политический идеал единовластителя, лишь бы единовластитель этот правил согласно мудрости: церковь со временем скажет, — замечает Navet, — согласно религии. Государь для стойка — «представитель богов на земле». В то же время, чрез самое величие свое, он становится зависимым: так что, собственно говоря, его величие на самом-то деле служение, рабство. Вот уже и почти готовая будущая формула папства: раб рабов Божиих, *servus servorum Dei*. Государь для стойка не только верховный повелитель. Ему принадлежат все богатства земли, хотя бы каждое из них и имело своего владельца: *jure civili omnia regis sunt*, «по гражданскому праву все вещи — собственность государя», настоящий собственник, значит, не более как временно ими пользующийся владелец. «Боссюэт думал, — насмешливо замечает Navet, — что свою политическую доктрину он заимствовал из Писания; в действительности он взял ее из греческих хитро-сплетений в смеси с правом римским и цезаристическим».

Но — с другой стороны — вопреки всем

своим авансам в сторону власти, стоическая философия — эта, воистину, «оппозиция не против его величества, но оппозиция его величества» — оставалась в подозрении. И не могло быть иначе, так как она учила человека думать и желать. Она находила превосходные доводы в пользу повиновения власти, но власть не любит, чтобы ей повиновались по логике доводов. Она осуждала несправедливости и соблазны, — следовательно, она осуждала правящие силы и те средства, которыми обусловлены их популярность и мощь. Таким образом, стоическая школа все-таки была школою оппозиции. Мы видели взгляд цезаристов: «Эта секта только и делает, что смуту и беспорядки». Быть может, слишком уж напряженная защита стоической философии Сенекою в сторону ее цезаристической благонадежности вызвана необходимостью отстранить это властное предупреждение. Во всяком случае, вопль свободы, — притом, иногда свободы, купленной страданиями и даже смертью (Тразеа, Сенека), звучит во всех памятниках красноречия, которые оставила нам эта школа (Navet).

Посмотрим теперь, что именно в ее учении должно было возмущать цезаристическую бюрократию и камарилью, чего не могли искупить в их глазах стоики даже теми сервилистическими компромиссами, которыми они согласились скрасить свое учение о верховной власти.

Здесь мы видим поразительно типическую картину столкновения старого мировоззрения грубособственнического, эгоистического, капиталистического, крепостнического с мировоззрением новым, уравнительно человеческим, а следовательно, политически освободительным, в какие бы маски ни прятать его основную тенденцию.

Вокруг государева дворца стеною стоят рабовладельцы. Государственный капитал и частные богатства зиждятся силою и накоплением рабского труда, а рабский труд выгоден только тогда, когда человек купленный рассматривается человеком купившим как рабочая скотина, — менее того: как вещь хозяйственного инвентаря. И вдруг в твердую цитадель такого-то прямолинейного крепостничества врывается буквально, как некое ко-

щунство гражданского строя, уравнивательная стоическая теория, громозвучно провозглашающая — в потрясение всех основ и устоев — безапелляционные афоризмы:

— Вы зовете рабов рабами, скажите лучше: соробы! (*Servi sunt, imo conservi!*)

— Тебе ли жаловаться, что умерла свобода в республике: ведь ты же убил свободу в своем собственном доме!

— Все мы рабы: один раб разврата, другой — корысти, третий — честолюбия, решительно все — страха.

— Это рабы? нет, это люди, нет, это твои меньшие братья.

— Тот, кого ты называешь рабом, создан из такого же семени, как ты, он видит то же самое небо, дышит тем же воздухом, он живет, как ты, он умрет, как ты.

— Как! так господам уже не довольно того чем сам Бог довольствуется, — чтобы их почитали и любили?

Уж и не знаю, как хвалить тебя за то, что ты избегаешь телесных наказаний: удары годятся только для бессмысленного скота.

— Все позволено против раба! Но не все

позволено против человека: тут возмущается и протестует закон природы.

— Как печально, когда тебе служат люди, которые от тебя плачут и тебя ненавидят!

— Всюду, где есть человек, есть поприще для доброго дела.

— Добродетель никому не запретна, всем доступна; все у нее приняты, все к ней позваны: свободные, вольноотступники, рабы, вельможи, изгнанники; она не смотрит ни на породу, ни на состояние; для нее довольно уже того, чтобы был человек.

— Ошибочно думать, будто рабство закрепощает всего человека, лучшая часть человеческого существа от него ускользает. Все, что касается души, остается свободным. Господин тут не всегда имеет право приказывать, раб не всегда обязан повиноваться.

— У нас у всех — один отец: это — Небо. Лактанций, характеризуя стоиков, отмечает, что они открывали область философии также для женщин и рабов.

От этих беспокойных людей рабовладельцам «житья не стало». У крепостника заболел раб. Хозяин, чтобы не возиться с ним, безжа-

лостно бросает его, как собаку, околевать в смертном приюте на Тибрском острове: стоик протестует. Крепостник уродует раба, чтобы отдать его на прибыльный оброк в артель нищих: стоик протестует (Aubertin). Уже в «Контroversиях» Сенеки-отца, от имени Ауфидия Басса и Альбуция, звучит демократическая проповедь чистейшего аболиционизма:

— Пред лицом природы нет ни свободных людей, ни рабов. Это все имена, изобретенные житейским укладом (*fortuna*) и им названные. В конце концов разве все мы — не бывшие рабы? Позвольте вас спросить: кто был царь Сервий?.. Если бы люди могли выбирать свой жребий, то не было бы ни плебеев, ни бедных; каждый постарался бы родиться в семье богачей. Но, — до рождения нашего — случай наш хозяин и располагает нашими судьбами. Мы получаем некоторую цену только с того момента, когда начинаем быть самими собою.

Сославшись на имена Мария и Помпея, великих людей, обязанных своей исторической славой только самим себе, без знатности предков, автор продолжает: «Возьми какого

удобно нобилия, кто бы он ни был, испытай-ка его родословную, поверти ее, доскребись до корней, то всегда найдешь в них происхождение из низкого звания».

Это значило — неприятнейшим образом напоминать крепостнической аристократии как раз то, что именно она, почти сплошь составленная из новых родов, — часть даже с дедом-вольноотпущенником, а с прадедом-то — сплошь да рядом, — хотела забыть. И, конечно, какие-нибудь Вителлий, Ватинии, Сенеционы читали подобные ссылки на свои родословные не с большим удовольствием, чем, например, бюрократический двор Николая I, служилая аристократия временщиков и производства от табели о рангах, читала «Мою родословную» Пушкина:

Не торговал мой дед блинами,
В князя не прыгал из хохлов,
Не пел на крылосе с дьячками,
Не ваксил царских сапогов,
И не был беглым он солдатом
Немецких пудренных дружин;
Куда ж мне быть аристократом, —
Я мещанин, я мещанин!

Всем известно и памятно какой переполох в русской аристократии произвели стихи Лермонтова:

А вы, надменные потомки

Известной подлостью прославленных отцов,

Пятою рабской поправшие обломки

Игрою счастья обиженных родов!

Когда в 1843 г. русский эмигрант князь Петр Долгоруков издал, под псевдонимом графа Д'Альмагро, весьма слабую брошюру свою «Notice sur its principales familles de la Russie», невинное генеалогическое исследование это вызвало, однако, в русских аристократических кругах волнение, какого не вызвала бы злейшая обличительная сатира. Последовали возражения, полемики, чуть ли не дуэли, судебный процесс и т. д. Ибо никакому Вителлию не лестно вспоминать о дедушке-башмачнике и бабушке публичной девке и заноса ногу на высшую ступень власти, встретиться с человеком, который может напомнить, как, дескать, мой дед твоего деда держал в привратницкой на цепи, вместо собаки. Из всех видов стыда этот наиболее ложный

стыд — в известной среде — наиболее сильный.

Крепостники тем более должны были смущаться освободительными идеями стоиков, что они не оставались без влияния на верховную власть. Уже Август пытается сделать кое-что для облегчения участи рабов, хотя и робкими паллиативами. Клавдий издал закон, по которому господин, если не лечит больного раба, — как раз случай, возмущавший стоическую совесть, — терял на него право свое, а раб получал свободу. Что же касается общества, то — если считать литературу его голосом, — в эпоху Сенеки решительно нельзя найти ни одного писателя, от самых суровых, как Персий, до самых распутных, как Петроний, кто продолжал бы видеть в рабе только рабочий двуногий скот, кто не признавал бы в рабе человеческого достоинства, кто относился бы к несвободной доле раба иначе, как с совестливым состраданием, кто не усвоил бы себе основной стоической морали:

— *Homo homini res sacra est.* (человек для человека должен быть святыней.)

Выше мы видели, что стоики признавали

идею самодержавия во всей полноте ее, почти теократически, до сходства с папской властью, как отметил Havet. Но это полное предание себя и государства на волю государя обусловлено предположением, что государь «справедлив» (*optimus civitatis status sub rege justo*). Это уже близко к известной немецкой формуле:

**Ist der Kaiser absolut,
Wenn er unser Willen thut.**

Цезаризм не мог не смущаться людьми, которые, равнодушно отрекаясь от практической критики феноменов, сохраняют за собою общую категорическую критику самого существования власти, и, когда эта критика приводит их к отрицательным выводам, спокойно рекомендуют террористические исходы. Ибо это понимание власти опять таки слишком уж откровенно вливается в формулу «автократии, ограниченной правом революции», с которою принципат тщетно боролся всеми усилиями деспотических своих напряжений. Ему так и не удалось установить наследственной династии, а потому в каждой династической смене оставался последним решителем *fait*

ассомплі мирного или насильственного действия. К тому же надо вспомнить напуганность власти в ту эпоху, когда стоическая философия овладевает умами римского общества и начинает в нем повелительно преобладать.

Августова реформа, закабалившая Рим обману диархии, дала ему продолжительный отдых от страшного переутомления вековым смутным временем, но — уж слишком продолжительный. Народы отдыхают быстро. Уже в конце Августова правления этот «полный гордого доверия покой» больше походит на тяжелую летаргию. В том же самом омертвлении общественных сил проходит правление Тиберия за исключением резкого и мало исследованного кризиса, сопровождавшего падение Сеяна. Рабствуют, даже не показывая вида, что им тяжело. Дух этого века выразился в низменных писаниях Веллея Патеркула и Валерия Максима. Единственный литератор, осмелившийся высказаться с некоторой свободой, историк Кремуций Корд, был за то убит. Тиберий даже не показывается народу, который он душит, и, из дальнего убежища своего, все держит крепким кулаком своим в

трепете и безмолвии. Не слышно ни государя, ни подданных, — какое-то мертвое царство. Но Тиберию наследует Кай Цезарь Калигула, молодой человек, сумасшедший от природы или сошедший с ума от восторга власти. (Якоби). Он колобродит недолго; удар кинжала казнит его в разгаре величайших безобразий, какие когда-либо терпели государства от государя. В этот день Рим всколыхнуло могучею волною. Люди поверили в свободу, вообразили, что возвращается республика. Иллюзия продолжалась всего два дня, послезавтра люди опять уже тянули лямку рабства, но все-таки кое-что осталось от этой недоношенной революции (*revolution avortee*), как характеризует ее Havet. Отпало унижение поклоняться Калигуле как живому богу; явилась возможность проклинать и осуждать павшего тирана, а это значит, в его лице, проклинать и осуждать тиранию вообще; явилось убеждение, подкрепленное наглядным примером, в праве протестов против несправедливости и безумия, — и голоса философов крепко взялись именно за это право. Уже ранее, тем самым, что они разрабатывали вопросы мора-

ли, им случалось оказываться в роли «цензоров верховной власти» (*censuram agere regnantium*). «Он говорил, что он царь, — характеризует Сенека своего учителя стоика Атала, — но я ставил его выше царей, потому что он вызывал их на суд своей грозной морали». (*Epist. CVIII*). Но, начиная с ненавистного и нелепого правления Калигулы и всеобщего возмущения, которое оно пробудило, философская цензура стала ближе к жизни и смелее. Школьная кафедра обращается в трибуну — под условием, конечно, что с нее будут провозглашаться только общие «взгляды и нечто». «Надо говорить, — учит Сенека, — с величием против богатства, с силою против пороков, с жаром против сомнений и страхов, с презрением против честолюбия; надо обуздывать роскошь и изнеженность, обличать разврат, громить злобу; пусть язык философа вооружится огнем оратора, величием трагика, простотою комика; пусть он умеет также, в случае надобности, снизойти на уровень прочувствованной фамильярности» (*Epist. C*). Чем строже высказывается стоическая мораль, тем она популярнее. *Navet* сравнивает

стоиков в этом фазисе с янсенистами при Людовике XIV, — я прибавлю к этому русскую параллель: Новикова и первое масонство в веке Екатерины II. Все, что они говорят, принимается как иносказание. Громить порок — значит громить скандалы Палатина.

Дворцовый переворот, произведенный Агриппиною, дал философскому красноречию пищи не меньше, чем кинжал Кассия Хереи. И вот философия уже признанная сила — настолько, что за нее хватается, в ней заискивает и добивается ее союза политический авантюризм. Почему Нерону не верить, когда Тигеллин нашептывает ему о подозрительности дружбы Рубеллия Плавта с философами стоической секты? Он помнит, что когда величайшей палатинской интриганке, его матери, надо было подкупить общественное мнение, чтобы оно спокойно проглотило отстранение Британика от наследия власти, Агриппина переломила свою ненависть к философии и притворилась сочувственницею «порядочных людей» сенатской левой (*boni*), — что она нарочно и спешно вызвала Сенеку из ссылки и вверила ему воспитание Нерона; что только

содействием стоиков, Сенеки и Бурра, осуществился переворот, давший Нерону принципат; что, наконец, как скоро Агриппина поссорилась с философами, она потеряла всякую популярность и силу; и, наконец, что ему, Нерону, за союз с Сенекою и Бурром, за речи и меры, ими внушенные, за государственную программу, изложенную в трактате Сенеки «De clementia» (см. II том, I главу). — Рим простил и прощал все личные недостатки, самодурства и скандалы, включительно до страшных семейных преступлений. Что удивительного для Нерона, если сын Рубеллия Бланда, задумав пройти ко власти мимо Нерона, изберет те же испытанные верные средства и сильные союзы, которыми сын Кн. Домиция Аэнобарба прошел к власти мимо сына Клавдия? Продолжали эти средства и союзы быть практически сильными? Несомненно, да. Философия, — говорит Havet, — в это время такая же «великая держава», как в будущее наши времена — пресса. И недаром характеризуется эта моральная держава выразительным прозванием «цензуры верховной власти» (*censura regnantium*): слова лестные,

но жуткие и опасные, так как, значит, сталкивают в общественном сознании философскую цензуру в неперемennую прямую враждебность с другой мощной цензурой, о которой говорит Плиний Младший в своем «Панегирике Траяну»: «Быт государя — вот наша истинная цензура, цензура постоянная, которая для нас и правило, и цель. Мы сгибаемся в ту сторону, куда тянет нас воля государя, мы, словом, его подражатели. Мы желаем быть ему приятными, мы стремимся к его одобрению, которого напрасно было бы ждать, если бы мы были каждый сам по себе. И вот достигли мы такой постоянной и почтительной подражательности, что почти все живем по правилам и обычаям одного». До тех пор, пока Нерону нравилось изображать из себя интеллигента, две цензуры — дворцовая и философская — не грызлись между собою слишком люто. Напротив, первая поддерживала рост второй: государь был ученик двух стоиков, любил философские послеобеденные споры, литературу, искусства, — это, значит, давало и римской аристократии толчок к моде на философское образование, причем из школ

предпочиталась, конечно, та, к которой принадлежал государь: стоическая (Barbagallo). Правда, смерть Бурра нанесла ей тяжелый удар, так как его преемником явился Тигеллин, а Сенека впал в немилость. Но, по-видимому, она ничуть не чувствует себя побежденною и стоит наготове с лихвою покрыть свой проигрыш. В конце Неронова правления участники Пизонова заговора мечтают о стоическом императоре и думают предложить власть именно Сенеке или, по крайней мере, находят политичным пускать в публику молву и веру, что они предложат ему власть (Havet).

Итак, вот уже две силы, имеющие все основания питать политическое недоверие к стоикам, как даже не тайным своим принципиальным разномышленникам, а, следовательно, лишь по слабосилию, не врагам: 1) рабовладельцы, 2) придворная камарилья, серальное царедворство, которому всего выгоднее понимать автократию как деспотическое самовластие и воспитывать принцепса в надменной ненависти ко всякому хотя бы призраку договорной власти и естественного ра-

венства людей.

Далее следуют охранители религии зрелиц (Iudogum religio), против которых философы, как мы уже слышали, подняли голос даже в наиболее невинной их отрасли — в цирке, а уж с особенною резкостью и силою атаковал стоицизм, в лице Сенеки, кровавые представления, спектакли человекоубийства амфитеатра. В этом отношении стоицизм значительно прогрессировал за сто лет даже по сравнению с отцами собственной секты. Цицерон еще одобрял и хвалил гладиаторские бои, с единственным ограничением, чтобы участвовали в них только преступники. Сенека объявляет им решительную войну:

— Ну, хорошо, этот человек разбойник, — поделом ему быть повешенным. Этот — убийца: раз он убил, то заслуживает, чтобы его убили. Но ты-то, несчастный зритель, ты-то какое преступление совершил, что осуждают тебя смотреть на подобные ужасы?

— Смерть! Огонь! Бичи! Почему это вон тот идет так вяло навстречу мечу? зачем он убивает без подъема? зачем умирает без всякого удовольствия? Бич гонит отступивших назад

навстречу ранам, и вот, с обеих сторон, они вновь идут голою грудью на мечи.

Если мы вспомним религиозное происхождение и характер римских зрелищ, то ясно будет, что подобные речи не должны были нравиться не только тем стародумам, которые видели в гладиаторских боях нечто вроде национальной школы мужества и сурового духа, своеобразной кузницы, выковывающей человеку стальное сердце с закалом испанского клинка. Таким стародумам речи Сенеки могли казаться только достойными презрения, как «бабьи нежности». Но в ушах людей религиозных они звучали и непростительным вольнодумством. При государе более религиозном и консервативном, чем воспитанный им Нерон, напр. при Августе или Клавдии, которых обоих искренно ненавидел, Сенека вряд ли осмелился бы говорить с такою силою против священного учреждения игр. Резкость его в данном случае, как и в выпадах против войны, в значительной степени обусловлена уверенностью встретить сочувствие и поддержку единомыслящего принцепса. Усерднейший театрал и сам актер, любитель

скачек, бегов и сам наездник, Нерон не любил игр амфитеатра и, в особенности, гладиаторских боев, отдавая им внимания не более, чем требовалось, чтобы не оскорбить охочий до них народ. Все, что Нерон делал для игр амфитеатра, говорит больше о роскоши и желании показать публике богатый и красивый балет, чем о страсти к кровопролитию, которую историки отметили, например, за императором Каем Цезарем, Титом (утехою рода человеческого), за сыном Тиберия — Друзом, за дедом Нерона Л. Доминицием Аэнобарбом и многими другими государственными людьми. Светоний свидетельствует, что Нерон запретил, чтобы в гладиаторских боях люди дрались насмерть, хотя бы то были осужденные преступники. От Светония же знаем о другом указе Нерона, которым он заменял осужденным преступникам казнь принудительными работами по государственным постройкам. Эта мера отнимала у игр главный источник их человеческого материала (Hermann Schiller). Wallon пытается объяснить невнимание Нерона к амфитеатру аристократическою ревностью, которую он, как артист трагедии

и оперы, питал к успеху гладиаторов. Но натянутость этого предположения очевидна. В тех условиях, в которых Нерон выступал певцом, актером и наездником, он мог выступить и на арену, в каком ему угодно было бою. Да, если верить анекдотам, собранным у Светония и Ксифилина, незадолго до падения своего он уже и собирался (см. I том, главу «Кто пришел к власти?»). Все это значительно противоречит сложившемуся представлению о Нероне, как о кровопийце из жажды крови, и, в особенности, легенд о Нероновом гонении. Но в настоящее время трудно сомневаться в том, что пресловутого гонения этого вообще не было; если же и были какие-то репрессии, давшие легенде вырасти, как огромному дереву из горчичного зернышка, то, во всяком случае, были они и не тех размеров, и не того характера, как утвердили их устные предания и письменные романы III — IV веков, в особенности же, христианские интерполяции в книгах Тацита и Светония. Но, в свое время, нам предстоит так много заниматься этим вопросом, что будет бесполезно отвлекаться к нему мельком сейчас.

Нелюбовь Нерона к войне и военщине, в конце концов стоившая ему гибели в военной революции, было всосана им, конечно, из стоических наставлений. И, опять-таки, лишь в условиях этой нелюбви первый министр военной империи мог публично раздражаться в философских трактатах своих тирадами против войны, как массового помешательства, высочайшей степени гневной ярости и буйства:

— Если бы человечество слушало, что говорят мудрецы, оно бы поняло, что только у него и дела — мастерить солдат.

— Уж не отдельные лица, целые народы охватывает безумие... ужасы совершаются не как-нибудь случайно, а по силе сенатус-консультов и плебисцитов, и всем повелевают то, что запрещают каждому в отдельности... Столь повелительное и всесторонне разливающееся бешенство дает много работы мудрости и заставляет ее собрать все свои силы... В среде такой извращенности для того, чтобы исцелить застарелое зло, нужны энергичные меры; только власть догмы в силах выполоть порок, так глубоко вкоренившийся...

В подкрепление догмы приводятся примеры святых стоицизма. Воинственный Александр принижается пред гражданином-культурноносцем Геркулесом, — как в наших русских былинах впоследствии народное самосознание принизило бродячего завоевателя Вольгу Святославича пред богатырем землевладельческой оседлости Микулою Селяновичем. Указывается, как пример отвращения к кровопролитию, величайший угодник стоицизма Катон, который, когда осуждено было ему пасть от собственной руки, употребил для самоубийства меч, никогда ранее не обогранный человеческою кровью (Navel). Стоики поклоняются памяти и могиле Сципиона Африканского и почитают его святым — не за то, что он командовал большими армиями, а за то, что уважал он и благоговейно любил свое отечество (Martha).

Стоический антимиитаризм, проповедуемый Сенекой, Музонием Руфом и другими стоиками, несомненно захватил поколение общества, при том на весьма высокопоставленных его кругах. Не любит войны сам Нерон. Двое из его соперников, Рубеллий

Плавт и Кальпурний Пизон, погибли, буквально, по отвращению взяться за оружие, которое, почти наверное можно утверждать, было бы для них благоприятно. Преемник и товарищ Нерона, Отон, после того как был свидетелем страшного сражения при Бедрике, предпочел покончить жизнь самоубийством, чем оставаться предлогом к междоусобию и вождем гражданской войны. Дюрюи с презрением говорит о стоических влияниях в неронском обществе; это де малая и бессильная кучка изолированных умников. Нельзя, к сожалению, отрицать в ней преднамеренной, «сверхчеловеческой» изоляции от прочего мира, но позволительно сомневаться, точно ли она была так мала и бессильна. С чего-нибудь да бесновались же против нее крепостники и мракобесы века. Да и было где размножиться ее контингенту. Сенека-отец рассказывает, что класс ритора, которого он слушал, посещало по меньшей мере 200 человек. Класс Аттала всегда был осажден слушателями. Сенека, шестидесятилетним стариком, находил время, между государственными и научными трудами, бывать на лекциях филосо-

фа Метронакса (Aubertin). Имело ли красноречие стоических кафедр непосредственное влияние, заражало ли оно аудиторию фанатизмом убеждения? Сам же Дюрюи с почтительным изумлением приводит пример одного из таких аристократических учеников, большого барина, Плавтия Латерана, который, будучи арестован по прикосновенности к Пизонову заговору, отвечал своему следователю на допросе в таком тоне:

— Когда я захочу что-нибудь сказать, то буду говорить с твоим барином, а не с тобою, холоп.

— Я брошу тебя в тюрьму.

— А разве идя в тюрьму необходимо плакать?

— Тебя отправят в изгнание.

— Кто помешает мне и в изгнание унести бодрость духа?

— Ты будешь казнен.

— И это не причина, чтобы хныкать.

— Закуйте его в кандалы.

— Я и в них останусь свободным.

— Я велю отрубить тебе голову.

— А я разве говорил тебе, что моя голова

застрахована от меча?

Следователь тем более мог оценить стоические ответы, что был человек образованный: Эпафродит, библиотекарь Нерона, в дворне которого уже воспитывался в это время — мальчиком рабом — величайший апостол и утвердитель стоицизма, автор «христианства без Христа», — хромой Эпиктет. Он сохранил эту страшную сцену в своих «Рассуждениях».

Разумеется, таких, как Латеран, было меньшинство. «Я знал, — пишет Сенека (Epist. LVIII) таких, которые многими годами усиживали скамьи аудиторий и однако не воспринимали ни малейшей философской окраски... Как мало таких, которые доносят до дому благие решения, что сложились в них под очарованием лекций профессора!» Однако, такие не только были, но и день со дня увеличивались в числе, образуя при кафедрах нечто вроде философской кандидатуры (proficientes). Они вели записки лекций, составляли конспекты и руководства (commentarii, summaria, breviarum, indices), организовали рефераты с дискуссиями (litterata

colloquia), работали в специальных семинариях. Словом, относились к избранной науке так же усердно, постоянно и внимательно, как всякий серьезно занимающийся студент высших учебных заведений. Хорошие профессора шли к ним навстречу. Философ Тавр, по окончании лекций, предлагал аудитории — требовать от него объяснений темных или непонятных мест (Авл Геллий, I). Да и из того-то большинства слушателей, которое Сенека презирает, как нефилософское, мало равнодушных и посещающих лекции без всякого интереса, просто по моде. То, что пишет Сенека, говорит больше о неспособности и легковесности этой неуспешной массы, чем об отсутствии в ней внимания и желания учиться, а тем более, как теперь у нас говорится, «направления». Напротив: «Эти пожалуй, даже самые усидчивые и упрямые. Об иных просто подумать можно, что они не ученики, а арендаторы какие-то своего профессора. Другие приходят слушать, а не учиться; кафедра для них театр, лекция — представление. Сколько видишь таких, для которых школа — публичное учреждение для развлечения и удоволь-

ствия. Их цель — не избавиться чрез нее от некоторых пороков, не извлечь из нее те или иные правила поведения, но доставить известное удовольствие ушам своим. Некоторые из таких являются на лекции с записными книжками, чтобы заносить в них — что? Мысли? Нет, словечки, которые они потом повторяют бесплодно для других и самих себя. Рядом с ними надо отметить энтузиастов, их воспламененные лица отражают их внутреннее волнение, они похожи на фригийских евнухов, жрецов Кибелы, которые входят в неистовство при звуке флейты».

Жили эти люди не всегда достойно своего учения, но умели красиво умирать, и учили тому же хорошо. Сенека, очень много писавший о смерти и сам сумевший встретить ее с благородством, скрасившим всю его, не весьма благородную, биографию, провозглашал смерть величайшим благодеянием природы:

— Это она освобождает раба вопреки воле господина, разбивает оковы пленников и вырывает из тюрем тех, кого томит в них произвол тирании. Это она объясняет изгнаннику, которого мысли и взгляды всегда обращены в

сторону отечества, что, право же, неважно, погребут его с тамошними или здешними покойниками. Если судьба так несправедливо разделила общие блага и подчиняет одного человека другому, хотя родились они в жизнь с одинаковыми правами, — это она, которая всех равняет. Это она никогда не сгибается под велением чужой воли, в ее присутствии человек не чувствует низости своего положения, ей — нельзя приказывать... Да, лишь благодаря ей, жить не значит терпеть муку, лишь благодаря ей могу я сохранить душу мою в безопасности от чужих посягновений и хозяйкой самой себя. Она мне — как убежище от кораблекрушения. Я вижу пред собой всевозможные виды орудия пытки... но я вижу также смерть. Вот враги варвары, либо хоть и сограждане, но тираны: но рядом с ними — вот она и смерть. Не так тяжело даже самое рабство, когда знаешь, что, если опостыл тебе хозяин, то одним прыжком можно достигнуть свободы; против всех обид жизни есть у меня великая подмога: смерть!

И еще: — убедись же ты, что тот, кто уже не существует, не может и страдать, что все

ужасы ада не более как сказки, что нет для мертвых ни мрака, ни темниц, ни огненных потоков, ни реки забвения, ни суда, ни обвинения, и, что всего главное в этой возвышенной свободе, — ты не найдешь там тиранов!

Navet рекомендует сравнить эту тираду с известными стихами «Книги Иова»:

«Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах.

«Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника.

«малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего» (III, 17—19).

Должен сознаться, что всякий раз, когда я читаю вышеприведенные строки Сенеки, в которых искреннее чувство возвысило слова на уровень настоящего поэтического пафоса, — в памяти моей невольно начинают звенеть стихи поэта, — из всех поэтов, воспевавших радость смерти, — наиболее тягостно ползшего к ней чрез страшные страдания души и тела, да и схожего несколько с Сенекой двойным путем невеселой жизни своей...

Не страшен гроб, я с ним знакома;

Не бойся молнии и грома,
Не бойся цепи и бича,
Не бойся яда и меча,
Ни беззаконья, ни закона,
Ни урагана, ни грозы,
Ни человеческого стога,
Ни человеческой слезы.

(Некрасову «Баюшки-баю».)

Если смерть кончает жизнь, как заключительная точка после слова «Конец» на последней странице рукописи, то главной целью жизни становится выдержать свою рукопись в такой благородной цельности, чтобы смертная точка явилась в ней не стихийною случайностью, но логическим результатом всей житейской эволюции мудреца.

Посмотрим, что пишет о Сенеке критик, переживший террор Французской революции и потому понимающий философа, писавшего под террором Цезарей, практическим сочувствием человека, опытно знающего, что значит жить под режимом, который никому не дает уверенности ни в одной минуте жизни, что эта его минута — не последняя. «Сенека, — говорит Гара (1749—1833), — действи-

тельно, очень часто подолгу топчется на месте вокруг одной и той же истины, но подумайте, что ведь в его писаниях вопрос идет вовсе не о том только, чтобы установить понятие, что есть смерть, и как о ней надлежит мыслить; нет, тут приходится готовиться к моменту, когда войдет к вам Сильван и скажет от имени Нерона:

«— Извольте умирать».

По собственному сознанию, Гара, до террора, скучал, читая Сенеку, а, под прессом террора, наоборот, досадовал, от него отрываясь.

«Раньше философия Сенеки казалась мне, в своей возвышенности, непосильною природою человеческой; теперь она явилась мне как раз в уровень с нашими обстоятельствами и нуждами. Нам нужна была философия, которая учила бы отказываться от всех благ раньше, чем их у вас отнимут, которая отделяла бы вас от рода человеческого, бессильного более что-либо сделать для вас, равно как и вы для него то же не в состоянии уже ни что-либо сделать, ни на что либо надеяться; которая, наконец, перерабатывала бы вас в такое величие и силу личности, что тираны и палачи

могут разбить ее, но бессильны заставить дрожать. Нам тогда, пред лицом гильотины, не оставалось ничего более как выучиться одной науке: умирать. В этом почти вся философия Сенеки. Он, так сказать, создал философию на случай длящихся агоний, на которые время от времени народы осуждаются своими тиранами». (Havet).

Если проповедью человеческого равенства стоики раздражали рабовладельцев, если проповедью милосердия (*res sacra est miser*), человеколюбия и братства людей они казались опасными военным государственным и представителям культа, если их двусмысленная подчиненность власти не удовлетворяла ее подозрительности, а смертолюбивые речи развивали в обществе тот пассивный героизм, который, в смутные эпохи государств, могущественно разрешается безграничными самопожертвованиями личности на общее благо, — то не лучше всех исчисленных недовольных должны были относиться к стоической секте собственники и семье старого закала. В этом, господствующем численно, мещанстве проповеди Сенеки или Музония

Руффа должны были вызывать не меньшее бешенство, чем в наши дни вызывали в соответственной среде соответственные, только что умолкшие, речи Л. Н. Толстого. Сходство и различия между моралью обоих этиков мы разберем в специальной главе IV тома. Сейчас же достаточно отметить, что в мир, который, в языке своем, определял одним корнем богатого (dives) и святого (divus), вошли люди вроде Деметрия Циника, сознательно и последовательно доводившие опрощение и отречение от собственности до крайностей, которые в подъем разве юродивому, выставлявшие своим девизом: — Я не знаю большего несчастья, как не иметь никакого несчастья.

И когда Деметрий лежит в лохмотьях на соломе и, питаясь брошенным ему (сам он никогда не просил) подаванием, изрекает свои блестящие афоризмы, — Сенека рукоплещет:

— Провидение послало в Рим этого человека с его красноречием, чтобы дать веку одновременно и цензора, и пример нравов.

Сыплются афоризмы, предупреждающие вскоре грядущую евангельскую проповедь.

— Дели свой хлеб со всяким, кто голоден!

В день смерти у тебя не окажется ничего кроме того, что ты роздал людям.

— Вот верное богатство, которое не уйдет от тебя, каково бы ни было непостоянство судеб человеческих... А на что тебе беречь эти деньги, как будто они твои? Ты не более как их временный управитель. (Ср. Луки XVI, 9: притча об управителе.)

В недрах семьи стоики быстро эмансипируют и просвещают женщину. Еще отец Сенеки находил неприличным, чтобы жена его занималась философией, — Сенека-сын уже посвящает ей свои сочинения. До нас не дошла книга Сенеки о браке, но от Бл. Августина мы знаем, что в ней были такие, например, дерзкие строки:

— Бесчестно со стороны мужчины требовать от женщины, чтобы она сохранила целомудрие в то время, как ты соблазняешь чужих жен. Тебе не более позволено иметь любовницу, чем ей — взять любовника.

В веке, когда отцы еще время от времени засекали до смерти своих непослушных сыновей (см. во II томе, I глава случай всадника Эриксона), стоики становятся на защиту де-

тей, которых колотят их родители или наставники. Где есть жертва, где сила тиранит слабость, там стоик уже на страже, с предостерегающим перстом:

— Res est sacra miser!...

Выше я упомянул стихи Некрасова. Если хотите, его «Рыцарь на час» — тоже, в своем роде, стоическая поэма, и по теоретическому подъему покаянного духа, и по результату практического бессилия, в которое подъем этот разрешался. (Ср. во II томе моего «Зверья из Бездны» в главе «Актэ» характеристику Аннэ Серена.) Но, во всяком случае, с тех пор, как римским обществом овладела стоическая гегемония, Вечный город уже никогда не оставался без авторитетного голоса, шептавшего во дворце или кричавшего во всеуслышание на улицах и площадях призывы, однородные тому, который сорок лет назад потрясал души отцов наших и заливал краскою взволнованные их лица:

**От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви...**

И было от этого дворцового шепота и уличного стопа римскому стану «обагряющих руки в крови» беспокойно. И, при всей своей политической зыбкости и податливости, пришлось стоикам, с их так сказать «культурною пропагандою», очутиться на положении неблагонадежности и на линии уничтожения.

Прибавьте ко всему этому ту идейную гордость и даже надменность, которая, действительно, составляла слабую сторону стоической секты и на которой именно так легко и другие философские секты ее ловили, и впоследствии наголову разбило ее христианство, принявшее в Риме, как превосходно доказал Navet, почти мораль стоиков, но с решительным коррективом в сторону демократизации духа, тогда как стоицизм все более и более уклонялся в сторону аристократической замкнутости и избранности. Это внутренний аристократизм мог быть ослепительным феноменом, когда ровно горел в невозмутимой цельности учения и жизни раба Эпиктета, но мигал сомнительно, раздражающе толпу двойственностью, когда вспыхивал на таких,

казалось бы, не философских высотах, как министерский и гувернерский пост Сенеки при Нероне, либо даже императорский трон Марка Аврелия. И не только толпу. Практические упреки, которые со временем бросила стоической философии Бэконова философическая реформа, слышались уже и в современной Сенеке, Музонию, Эпиктету древности, даже задолго до насмешника Лукиана. И — увы! Надо сознаться, что сочувствие нового европейца почти всегда оказывается на стороне этой недовольной, изменной, вульгарной толпы, а не величественного, возвышенного, застегнувшегося на все пуговицы, чтобы не впустить в душу эмоций и страстей, умственного фехтовальщика-стойка. Деятнадцатый век воевал с памятью стоицизма очень резко и притом перьями больших писателей, из которых выразительно имя Маколея, давшего блистательную характеристику Сенеки в параллели с Бэконом. Знаменитый английский историк, в противовес идеализаторам древних философов, стал самым решительным образом на сторону интересов толпы, над которыми они надмевались и навстречу которым

пошла гениальная мысль Бэкона Веруламского:

«Мы должны признаться, что, рассматривая ученья Академии и Портика, — даже так, как они являются в светлом блеске, бесполезного Цицероновского слога, — нам не раз хотелось проворчать с угрюмым центурионом у Персия: «*Cur quie non prandeat hoc est*»{3}?

Два слова образуют ключ учения Бэкона: польза и прогресс. Древняя философия презирала быть полезною, довольствовалась быть неподвижною. Она усердно занималась теориями нравственного совершенства, которые до того были возвышены, что никогда не могли быть ничем более как теориями; попытками разрешить неразрешимые загадки; увещаниями достигать недостижимых состояний духа. Она не могла понизиться до скромной доли — служить благосостоянию людей. Все философские школы презирали эту роль как унижительную; некоторые порицали ее как безнравственную. Однажды, правда, Посидоний, замечательный писатель времен Цицерона и Цезаря, до того забылся, что к низшим благодеяниям, какими человечество одолже-

но философии, причислял открытие теории арки и введение употребления металлов. Эта похвала была признана оскорблением и подверглась живым нападкам. Сенека с жаром отвергает эти оскорбительные комплименты. Вовсе не дело философии, по его мнению, учить людей воздвигать над собою крыши со сводом. Истинный философ не заботился о том, имеет ли он крышу со сводами, или какую бы то ни было крышу. Вовсе не дело философии учить людей употреблению металлов. Она учит нас быть независимыми от всякого материального вещества, от всякого механического изобретения. Мудрый человек живет согласно с природою. Вместо того, чтобы стараться об умножении физических удобств жизни, он жалел о том, что жребий его не выпал в тот золотой век, когда род человеческий не имел другой защиты от холода, кроме кож диких зверей, и иной охраны от солнца, кроме пещеры. Приписывать такому человеку какое-либо участие в изобретении или усовершенствовании плуга, корабля или мельницы, есть оскорбление. «В мое время, — говорит Сенека, — были изобретения

этого рода: прозрачные окна, трубы для распределения теплоты равномерно во всех частях строения, скоропись, которая доведена была до такого совершенства, что пишущий может идти наравне с самым быстрым оратором. Но изобретать такие вещи составляет труд самых низких рабов; философия лежит глубже. Не ее дело учить людей употреблению рук. Предметом ее учений есть образование души. «Non est, inquam instrumentorum ad usus necessarios opifex»{4}. Нам, пожалуй, еще скажут, — восклицает Сенека, — что первый башмачник был философ». «С нашей стороны, если бы мы были принуждены сделать выбор между первым башмачником и автором трех книг о гневе, мы объявили бы себя в пользу башмачника. Пожалуй, сердиться хуже, чем промокнуть. Но башмаки предохранили миллион людей от сырости; а мы сомневаемся, удержал ли Сенека кого-либо от гнева.

«... В сущности само удивление, которое мы чувствуем к великим философам древности, заставляет нас принять то мнение, что их умственные силы были систематически дурно направлены. Ибо как же иначе могло бы

случиться, чтоб подобные способности столь мало сделали для человечества? Пешеход может обнаружить столько же мускульной силы на ступальной мельнице, сколько и на большой дороге. Но на дороге сила его наверное унесет вперед, а на ступальной мельнице он не подвинется и на дюйм. Древняя философия была такою мельницею, а не дорогой. Она составлена была из коловратных вопросов, из споров, всегда начинавшихся сизнова. Это было изобретение для того, чтобы с большими усилиями не двигаться вперед. Что есть высочайшее благо? боль есть ли зло? все ли вещи предопределены судьбою? можем ли мы быть уверены в чем-либо? можем ли мы быть уверены, что мы не уверены ни в чем? может ли мудрец быть несчастен? все ли отступления от правды равномерно достойны порицания? — такие вопросы и подобные им занимали умы, языки и перья способнейших людей образованного мира в течение многих столетий. Этот род философии, очевидно, не мог быть прогрессивным. Она могла, правда, изоцрять и усиливать умы тех, которые посвящали себя ей; но такие прения ничего не

могли прибавить к сумме знания. Человеческий ум, поэтому, вместо того, чтоб идти, отмечал только время. Он принимал на себя такой труд, какого было бы достаточно, чтоб двинуть его вперед; а между тем оставался на том же месте. Не было никакого накопления истины, никакого наследия истины, приобретенного трудом одного поколения и завещанного другому, чтобы опять передать его с огромными прибавлениями третьему. Где философия эта была во времена Цицерона, там она оставалась и во времена Сенеки, и там же оставалась во времена Фаворина. Те же школы все еще боролись при помощи тех же неудовлетворительных аргументов, по поводу тех же бесконечных вопросов. Не было недостатка в остроумии, усердии, трудолюбии. Были все признаки умственной обработки, за исключением жатвы. Было в изобилии паханье, бороньба, молотьба. Но житницы содержали в себе лишь головню и жниво».

Это совершенное отсутствие прикладного, практического смысла в отвлеченном умствовании должно было особенно раздражать людей практического здравого смысла в устах

мудрецов, усиленно проповедовавших, что люди должны жить во взаимообмене услуг, и человек рожден для человека (Cicer., De officiis, I, 7). И нет никакого сомнения, что именно в этом надо искать главную причину тому, что стоическая философия, обладая достаточным количеством общественно симпатичных сторон, чтобы нажить себе врагов среди политической реакции, в то же время не наживала большого количества друзей в свою защиту. Благородства мысли стоиков никто не отрицал, но деятельности, которая воплощала бы это благородство мысли, никто не видал. А потому, когда деспотизму благородство мысли надоедало и начинал он затыкать стоиком рот, масса оставалась равнодушною, хотя бы ее сочувствие было на стороне жертв, а не деспота. Мы увидим удивительнейшие примеры тому в истории Пизона заговора. Сочувствие было так же воздушно, как деятельность. Во многих же случаях это еще осложнялось плачевною двойственностью жизни и проповеди. Ею испорчено большинство стоических репутаций и в особенности Сенеки.

Упрекая Сенеку в презрительном отношении ко всякой деятельности, «которая могла бы сколько-нибудь способствовать тому, что простой народ считал бы благосостоянием человечества», Маколей отмечает с насмешкою:

«Он трудился над тем, чтоб оправдать Демокрита от постыдного обвинения в построении первой арки, и Анахарсиса от обвинения в изобретении гончарного станка. Он принужден сознаться, что такого рода вещь могла случиться; и может случиться, говорит он нам, что философ будет скороход. Но не лежит в его характере, как философа, чтобы он или выигрывал пари при беганье взапуски, или изобретал машину. Конечно, нет. Делом философа было: с двумя миллионами стерлингов, отданными в рост, декламировать похвалы бедности, обдумывать эпиграмматические фантазии о зле роскоши в садах, возбуждавших зависть государей; говорить высокопарно о свободе, лestia наглым и разнеженным отпущенникам тирана, прославлять божественную красоту добродетели тем самым пером, которое только-что пред тем писало в защиту смертоубийства, совершенного сыном

над матерью».

Таким образом, либеральный английский историк дословно повторяет то, что, — мы слышали, — твердил Нерону его реакционный двор и такой несомненный разбойник, как доносчик Суиллий. И к сожалению, победа их, по крайней мере ближайшая победа, в суде этом несомненна: наглядная справедливость на их стороне, — и как современность, так и ближайшее потомство, ее признали. «В своих книгах, — говорит Дион Кассий, — он [Сенека] проклинал тиранию — и воспитал тирана; проклинал придворных — и не мог жить без двора; проклинал лесть — и никто не льстил с такою низостью, как он». Надо было пройти векам, чтобы сгладилось неприглядное впечатление этой двойственности, чтобы светлая половина Сенеки потопила в лучах своих темную, чтобы слово философа было признано его делом, чтобы гений перерос общественную антипатию к человеку и выглянул из-за высокой стены ее в том лучезарном обаянии, которым одели имя Сенеки Возрождение и новые века. В конце I и во II веке Сенека совсем непопулярен. Тацит ста-

рается любить его, но так сказать, через силу. И только христианство начало по-настоящему его реабилитацию, найдя в его сочинениях слишком большой и выгодный для себя материал.

— Сенека часто наш! (*Seneca saepe poster!*) — эта снисходительная фраза Тертуллиана решила судьбу Сенеки и неостоицизма в нарождавшейся христианской цивилизации. И в недрах последней было у него достаточно врагов, — иногда даже очень сильных! — но друзей — бесконечно больше. Свою бэкониианскую полемику против древней философии вообще и стоицизма в особенности Маколей заключил остроумною притчею:

«Нам иногда приходило в голову, что можно бы написать забавный вымысел, в котором бы ученик Эпиктета и ученик Бэкона введены были как спутники. Они приходят в деревню, где только что начала свирепствовать оспа, и находят дома запертыми, сообщение прерванным, больных покинутыми, матерей плачущими в ужасе над своими детьми. Стоик заверяет смущенное народонаселение, что в оспе нет ничего худого и что для мудреца

болезнь, безобразия, смерть, потеря друзей не суть бедствия. Бэкониянец вынимает ланцет и начинает прививать оспу. Они находят рудокопов в большом смущении. Взрывом вредных газов только что были убиты многие из тех, которые находились в работе; оставшиеся в живых боятся рискнуть войти в пещеру. Стоик уверяет их, что такое приключение есть не что иное как чистое *aropoohlmenon* (недостойное предпочтения). Бэкониянец, который не обладает таким изящным словом, довольствуется придуманьем предохранительного фонаря. Они находят купца, потерпевшего кораблекрушение, ломающим себе руки на берегу. Его судно с драгоценным грузом только что пошло ко дну, и он мгновенно доведен от богатства до нищеты. Стоик увещевает его не искать счастья в вещах, которые лежат вне его, и повторяет всю главу Эпиктета к боящимся бедности. Бэкониянец устраивает водолазный колокол, спускается в нем ко дну и возвращается оттуда с драгоценнейшими из потонувших предметов. Легко было бы умножить число иллюстраций разницы между философией шипов

и философию плода, философией дела».

Признавая остроумие этого выпада, Havet, однако, основательно заметил ту коренную ошибку Маколея, что он выбрал свои катастрофические примеры исключительно из столкновений человека с природою. Конечно, пред лицом природы человеку не остается иного выбора, как — либо технически действовать против нее, либо безмолвно ей покоряться: этический протест тут — бессмыслица, праздная потеря времени, диалектическая игрушка. Но не так обстоит дело в катастрофах, обусловленных человеческой неправдой. Эту вызывать на бой, конечно, заслуга, достойная философа. Философия, бессильная при землетрясении, очень полезна в тюрьме, на эшафоте, в плену, в ссылке, эмиграции и т. п. И мы видели из примера Гара, который знал и Сенеку, и Бэкона, что в моменты, когда люди страдали от человеческих причин, стоицизм являлся им великой нравственной поддержкой. Бэконинец Маколея сыграл бы пред лицом такого явления, как Нерон, столько же печальную фигуру практического бессилия, как стоик пред оспенною эпидемией,

взрывом в шахте, потонувшим кораблем. Стоики, по крайней мере, имели, по своему тяжкому времени, ту несомненную заслугу и утеху, что в моменты грознейшего возвышения человека над человеком они учили человека равенству с человеком, отводили человека от суеверных страхов пред человеком и тем давали утомленному веку нравственные средства и силы переносить, покуда станет возможности, бедствия и муки, невероятно умножившиеся тогда для людей от людей. И, сколько бы то ни было необходимо тут отчислить на счет громких слов и школьной декламации, но в средствах к преодолению человеческих мук, от человека происходящих, стоики далеко не были только расплывчатыми теоретиками. Напротив, мы видели: теоретически воздерживаясь от политической деятельности, все они оказывались в ней рано или поздно фактическими участниками, а в политике, если не прямые действия стоиков, то их советы отличались даже чересчур практической решительностью. Уже самая их презумпция — *optimus civitatis Status sub justo rege* — сводить центральный вопрос о верхов-

ной власти от догмы к критике, из общего к частному, из постоянного к временному и даже случайному, почти что — *ad hominem*. Вместе с тем, пасуя пред стихийной логикой вневольной природы, логику волевого противодействия человека человеку стоики развили могущественно и тонко и имели мужество проследить ее до конца — и в пассивную сторону, что закаляло их быть мучениками, и в активную, что готовило из них либо борцов за общество, либо сочувственников борьбе. Все это разные Тигеллины, Суиллий, Априи Марцеллы и т.д. чувствовали, если не прямым пониманием, то инстинктом грязных, темных, увязших в низменном эгоизме, умов, — чуяли звериным нюхом, как волк чует собак у стада. Палатинская волчья стая готовила страшную атаку на остатную свободу и богатства общества и в первой очереди ее разбойничьих планов, было, конечно, — снять сторожевые посты. Быстро и планомерно обрушивают они первый же удар в самое сердце стоического авторитета и капитала. Возникает дело Рубеллия Плавта.

Устроить гибель Сулле и Рубеллию Плавту

было необходимо и для Поппеи. Вопрос о разводе императора с Октавией не подвигался вперед, потому что Нерон втайне боялся своей тихой, унылой супруги: она была, — сама не зная, да и никто не знал за что, — очень любима народом, единственным властителем, чью волю признавали и цезари. Прогнать Октавию значило вызвать не только ропот, но даже, как потом и на деле вышло, целый бунт. А, знакомясь с наступающими годами Неронова террора, мы не раз увидим, что цезарь более боялся бунтов, чем заговоров. Эти последние он легко и решительно топил в крови аристократов, а народным бунтам часто уступал. И в таком различии он был прав не только с общей цезаристической, но и со своей практической точки зрения: до тех пор, пока оставались живы другие потомки Августа, всякий мятеж мог оказаться для Нерона роковым, потому что — долго ли придать авторитет бунту, поставив во главе его претендента с наследственными правами на принципат, не меньшими, если не большими, чем у самого цезаря? Нерону, как впоследствии арабским калифам и турецким султа-

нам, стало важно, чтобы, в случае народного восстания, последнее не нашло вождя, равного правящему императору по имени и крови. И, как владыки Багдада, Гранады и Стамбула, восходя на престол, первым делом посылали шелковые шнуры своим возлюбленным братьям и визирям своих предшественников, так точно и Нерон спешил теперь разделаться с последними осколками Юлио-Клавдианского дома, которых не успела еще убрать мать его, Агрипина, — эта Роксолана Палатинского дворца.

Искони-древняя, азиатская политика, совершенно противоположная старо-римской, которая заботилась размножить аристократические роды, а никак не истреблять их, закралась в семью цезарей едва ли не действительно с Востока, — из Сирии, Египта, от малоазиатских и парфянских деспотов. Самый ярый истребитель своей родни, Тиберий, долго жил и воевал на Востоке и считался знатоком тамошней дипломатии. Римское общество роптало, когда юный Калигула делал визиты мелким азиатским царькам, боясь, что он берет у них уроки деспотизма, — и последствия

доказали основательность неудовольствия. Эпоха Клавдия, особенно при Агриппине, — сплошное владычество серала и выскочек из лакеев. Бурр и Сенека повернули было руль принципата к природному римскому руслу, но с появлением на Палатине Поппеи Азия снова восторжествовала. Происходя из фамилии, связанной с Азией давними и долгими отношениями, Поппея навсегда сохранила симпатию к Востоку и к восточной власти, которая так хорошо соответствовала склонностям ее мелкотираического характера. Она приятельница Иродов, покровительница Иосифа Флавия, ее протекции ищут, чтобы попасть в губернаторы восточных провинций; когда она умерла, ее похоронили по иудейскому обряду. Нерон тоже был великий любитель Востока, охотно окружал себя его уроженцами и даже, вопреки своему обычному политическому безразличию, довольно усердно интриговал в Азии (Ренан). Известно, что Нерону было предсказано астрологами лишиться со временем римского принципата, но, взамен, создать колоссальное царство на Востоке со столицей в Иерусалиме. Тацит

свидетельствует, что, в данную эпоху, «многие были убеждены, якобы в старинных священных книгах содержится предсказание, что в современную нам эпоху возобладает Восток, и пришельцы из Иудеи заберут власть в свои руки». Среди самих римских иудеев религиозноисторический идеал их, чаяние Мессии, весьма часто принимал характер смутных надежд на возникновение новой восточной империи, с перенесением центра мировой тяжести с семи холмов Рима на древний Сион. Позднее, эти иудейские грезы оказались очень на руку императору Веспасиану и всей династии Флавиев. Насколько известны были в народе римском восточные пристрастия Нерона, лучше всего доказывает молва, широко распространенная после его падения, — будто цезарь не умер, но бежал в глубь своей любимой Азии, за Евфрат, и не нынче-завтра возвратится назад, во главе грозных парфянских полчищ.

Неделю спустя по доносу Тигеллина Сулла был умерщвлен в Массилии взводом солдат, нарочно для того посланным туда из Рима. Убийцы застали жертву за обедом. Сулла не оказал ни малейшего сопротивления. Голову его привезли в Рим, на показ императору. Нерон взглянул, сострил, что со стороны Суллы было глупо поседеть так рано и безобразно — и этою дикою эпитафией для бедного претендента, если только он был претендентом, кончилось все земное: память о нем канула в воду.

Рубеллий Плавт стоил цезарю больших хлопот. Этим молодым человеком дорожили в Риме. Скрыть намерение умертвить его не удалось. Одновременно с шестьюдесятью солдатами под командою двух офицеров, которых Нерон послал, под главным надзором евнуха Пелагона, убить Плавта, к последнему отплыл его вольноотпущенник, с письмом от Л. Антистия Ветера, тестя угрожаемого изгнанника. Это — тот самый Антистий Ветер, что в 807 году а.у.с. — 54 по Р.Х. — был товари-

цем Нерона по консульству, и цезарь, находившийся тогда в самом разгаре игры в конституцию, отказался принять от него присягу, признавая тем, его, как консула, равным себе. Антистий Ветер был человек влиятельный и сильного характера. В письме, которое гонец, благодаря удачному выбору пути под благоприятным ветром, успел передать Рубеллию Плавту ранее прибытия Пелагона с солдатами, Антистий увещевал зятя не поддаваться убийцам без сопротивления. Защита твоя — всеобщее негодование против Нерона. Тебе легко будет найти честных и отважных сочувственников. Отрази посланный отряд. Пока известие о том дойдет до Нерона, пока придет взять тебя другая команда, много воды утечет: события могут разрастись до размеров гражданской войны. Во всяком случае, восстание — последний шанс твоего спасения. Если оно не удастся, ты, все равно уже осужденный на смерть, потеряешь не больше, чем сохраняя вялую покорность.

Намеки Антистия указывают, что в эту пору в Риме, действительно, назревал аристократический заговор, готовый поднять голову

хоть сейчас же, нашелся бы только охотник поставить свое имя на знамя движения.

Место азиатской ссылки Плавта отстояло от Рима далеко. Путешествие палачей затянулось надолго. Между тем, Рим волновался тревожными слухами. Говорили, будто миссия Пелагона застала в Азии открытый мятеж в защиту Рубеллия Плавта, и солдаты, чувствуя себя бессильными против народного негодования, перешли на сторону инсургентов. Знаменитый полководец Кн. Домиций Корбулон в то время, только что окончив армянскую войну, получил наместничество в Сирии и стоял в ней с огромною армией. Сирийский оккупационный корпус и сам по себе был довольно велик (40,000 человек), а Корбулон еще усилил его войсками, пришедшими с ним из Армении. Прошел слух, будто Рубеллий Плавт бежал к Корбулону, и тот принял его под свою могучую защиту, так как сообразил, что, раз в Риме стали избивать без всякой вины людей знатного рода, то скоро и до него дойдет черед. Словом, казалось, что Нерон висит на волоске, и не сегодня-завтра Рим увидит Рубеллия и Корбулона у ворот

своих, во главе победоносных сирийских легионов, как впоследствии увидал Муциана и Флавиев. Толкам положило конец возвращение Пелагона с отрубленною головою Рубеллия Плавта.

Все помогало Плавту — только сам он не хотел себе помочь. Это примерный «непротивленец» первого века. Друзья, делившие с ним изгнание, стоические философы Керан и Музоний Руф, поддержали его решимость уклониться от борьбы с Нероновым злом и предпочесть мужественную смерть неверной и полной треволнений жизни. Серьезные люди этой эпохи, потеряв религию старую, старались найти религию новую и, за неимением, подпирали дух свой философскими суррогатами — не только в отвлеченностях мышления, но и в живых лицах. Народилась потребность в особых советниках, к которым ежеминутно, по мере потребности, можно было бы обратиться с беседою по душевной части, которым не страшно вручить душу свою, как учителям и руководителям или, — как предлагает решительный Havet, — прямо таки и просто: духовникам (*directeurs*). Широкое раз-

вите обычай этот получил после Сенекина века, но уже Сенека сообщает, что, когда один из вельмож, погубленных Калигулою, шел на казнь, его сопровождал философ: *prosequebatur eum philosophus suus*. Во всех тех случаях, в которых впоследствии христианская церковь предложила верующему члену своему исповедь и духовника, стоицизм рекомендовал своим ученикам: возьми себе руководителя (*stet ad latus monitor*). Havet, удачно развивая эту параллель, указывает, что Паскаль почти дословно переводил Сенеку, когда советовал:

— Вы хотите идти к вере и не знаете дороги; возьмите проводниками людей, знающих дорогу, которую вы хотели бы идти, и, исцеленных от пороков, от которых вы желаете исцелиться.

Таким светским духовником был даже и сам Сенека — для Люцилия, свод писем к которому дошел до нас и составляет едва ли не главный устой его славы, для Аннея Серена и многих других друзей. Люцилий в свою очередь был поверенным других младших и не менее опытных в этическом борении стои-

ков. Таким образом, создавалось нечто вроде круговой стоической друг друга поверки и друг за друга поруки. Рубеллий Плавт — большой барин, принц, богач. Большому кораблю большое и плавание. И потому, как приличествует такой знатной особе, его духовниками оказались не какие-нибудь случайные философские бороды в дырявых плащах, но самые крупные люди в идейной иерархии тогдашнего стоицизма: Керан и Музоний Руф. Убийцы застали Плавта безоружным и совершенно голым в гимнастическом зале — тут же и заколол его центурион. Жена Плавта, Антистия Поллита, успела обнять мертвую голову мужа, прежде чем убийцы срубили ее с плеч. Поллита собрала в сосуд кровь Плавта, сохранила одежду, которую обагрили брызги из его ран, и осталась навсегда верною его памяти. Тоска по мужу безнадежно отравила молодую жизнь дочери Антистия; она ходила, как помещанная, забывала прилично одеваться, ела, когда кормили, и мало — лишь столько, чтобы не умереть с голоду.

Принимая голову Плавта, Нерон отпустил какую-то остроту. В тексте Тацита от нее со-

хранилось только три слова: *Cur, inquit Nеро...* «Зачем, сказал Нерон». По Диону Кассию, цезарь воскликнул: «Охота была тебе, Нерон, бояться такого долгоносого!» Кудрявцев, вслед за Орелли, думает, что реплика, выпавшая из Тацитова текста, была иного содержания. Кронеберг, первый русский переводчик Тацита, вслед за своими руководителями-французами, соединил оборванное, «зачем», через пропуск, с последующими затем соображениями самого Тацита, и вложил в уста императора такой монолог:

— Ну, Нерон, теперь уж нечего бояться и откладывать свадьбу с Попшеей, которую ты до сих пор все отсрочивал из страха. Поспешив развестись с Октавией; она хоть и скромна, но ненавистна тебе именем ее отца и любовью народа.

Это изобретение более остроумно, чем правдоподобно. Тацит мог говорить о Нероне в таких выражениях сам, но был слишком большим художником, чтобы заставлять его, как злодея из мелодрамы, декламировать программу собственных злодейств, да еще с такою напыщенностью, с обращениями в

повелительном наклонении к самому себе. Между тем, Тацит, в данном месте даже заранее предупреждает, что сейчас приведет подлинные слова Нерона. Против Кронебергова чтения говорят конструкция латинского текста, и психология. Так хвастаться злодейством мог бы Калигула, находивший какое-то дикое удовольствие в том, чтобы казаться еще большим негодяем, чем было на самом деле, и всех вокруг себя запугивать свирепостью. Но Нерон терпеть не мог, чтобы его боялись, считали противным, страшным, бесчеловечным извергом; он любил, чтобы им любовались в самом зверстве. Тем-то особенно и была опасна близость к нему, что природа создала его тигром, столько же ласковым и лицемерным, сколько кровожадным. И с какой бы стати, злоумышляя против Октавии, он в то же время давал ей лестные аттестации?

Наоборот, я недоумеваю, почему находят невероятным, чтобы Нерон острил над трупом врага? И у самого Нерона это не единственный припадок шутовства в присутствии мертвого тела, — вспомним смерть Агриппины, Корнелия Суллы: да часто прорывалось

оно при подобных же условиях и у других властных убийц как древнего, так и нового мира. Знаменитая острота, что «труп врага всегда хорошо пахнет», брошенная Карлом IX у разложившегося трупа адмирала Колиньи, была сказана, пятнадцатью веками раньше, Вителлием на полях Бедриака. Если даже столь великой души человек, как Петр Великий, мог унизиться, в порыве ненависти, до того, что приказал вырыть из могилы гроб Милославского и везти его к лобному месту на свиньях, — то чего лучшего ждать от Нерона? Во всяком случае, не может быть никакого сомнения в том, что смерть Корнелия Суллы и Рубеллия Плавта имела теснейшую связь с последующей печальной участью Октавии, равно как и в том, что стоики вообще и Сенека в частности были возмущены этими казнями и старались их предотвратить. В памфлетической трагедии «Октавия», почти что современной событиям, роль Нерона тем и начинается:

Нерон. Исполни, что велено: пошли людей, чтобы убили Плавта и Суллу и принеси мне отрубленные головы.

Префект. Не замедлю, повелитель: тотчас лечу в лагерь. Сенека. Неприлично посягать на какое-либо такое дело из страха родственников.

Нерон. Хорошо тому быть справедливым, у кого нет страха в сердце.

Сенека. Против страха могучее лекарство — милосердие.

Нерон. Для государя высшая доблесть — уничтожить врага.

Сенека. Но для отца отечества еще выше — сохранять граждан.

Нерон. Неужели мне терпеть, как будут возвышаться над нашим родом, покуда меня не погубят и не умру я, не отомщенный и презренный? Упрямая ненависть Плавта и Суллы то и дело подсылает злоумышленников убить меня, а между тем, к ним, даже отсутствующим, город наш сохраняет необычайную приязнь, и это ободряет надежды изгнанников. Довольно. Скатятся с плеч головы этих подозрительных врагов, погибнет ненавистная супруга и последует за любезным ей братом (Британиком). Все, что возвышается, должно пасть.

Сенека возражает монологом, в котором рекомендует Нерону Августову справедливость и милосердие, тем более, что ты, дескать, находишься в гораздо лучшем Августа положении.

— Его сколько времени бросала судьба туда и сюда по морю и суше, в тяжких сменах войн, покуда не смирил он врагов покойного родителя (Ю. Цезаря). Тебе же его божество позволило унаследовать власть свою и вручило бразды правления легко и без пролития крови, и вот твоему мановению покорны и моря, и земли. Злобные распри утихли, побежденные, наступило блаженное согласие. Одобряют и славят тебя сенатор и всадник (*Senatur' equitis accensus favor*). По приговору народа и постановлению сената ты, виновник мира, избранный судия рода человеческого, царственно возвышаешься над миром священной особою своею, уже увенчанный титулом отца отечества. Это имя обязывает тебя, да с тем и Рим вручил тебе граждан своих, чтобы ты служил Риму.

Нерон. Вовсе нет, Боги дали мне в дар, что самый Рим мне служит и сенат, хоть и не по-

нутру ему это, выражает мольбами и низкой лестью своей страх пред нами. Что за нелепость сохранять граждан, которые в тягость государству и государю, потому что они явные бунтовщики, когда одним словом можно отправить всех этих подозрительных господ на плаху?

Затем Нерон подробно распространяется о террористических мерах Августа, которого напомнил ему Сенека, что, — нельзя не сознаться, — принимает в устах цезаря весьма сатирический оттенок, так как Нерон почти дословно повторяет то, что сам Сенека, с угрозами, с укорами, говорил об Августе в трактате *de clementia*. Уроки Сенеки, таким образом, пошли Нерону впрок, только он находит, что будет выгоднее вывернуть их наизнанку.

В сенате смерть Суллы и Плавта прошла глухо. Письмо Нерона отцам конскриптам замалчивало убиение обоих претендентов, но жаловалось на их мятежное настроение, прося, однако, не тревожиться за безопасность государства: цезарь стоит на страже ее неусыпно. Сенат, по обыкновению, благодарит, молебствует и постановляет, якобы ниче-

го не зная, исключить, заведомо мертвых, Суллу и Плавта из сенаторского сословия: «Насмешка злее самой смерти!» — восклицает Тацит.

III

То странное обстоятельство, что Рубеллий Плавт, при полной возможности защищаться, позволил зарезать себя, как овцу, вызвало в Риме понятное недоумение. Объясняли разное. Кто говорил, что, сознавая себя безоружным, изгнанником, он усомнился, что найдутся охотники стать под его знамя, восстание — надежда шаткая, философу она не опора. Другие полагали, что он пожертвовал собою ради жены и детей, которых страстно любил: покорно умирая по первому приказу государя, он думал смирением купить у Нерона милость к осиротевшей семье. Третьи — что его застали врасплох: будто бы, вслед за первым письмом, тесть Антистий, обманутый придворным лицемерием, послал Плавту второе, где уведомлял зятя, что опасность миновала: страх был напрасен, и солдаты цезаря несут ему не смерть, но милость. Но повто-

ряю: присутствие при кончине Плавта двух философов- стоиков, в особенности же Музония Руфа, склоняет видеть в смерти злополучного принца, подобной самоубийству, скорее всего сознательный акт «непротивления злу». Музоний Руф — был одним из самых последовательных и твердых стоиков. Он моложе Сенеки, но в год смерти Плавта, был уже довольно пожилых лет, так как первая известность его, как профессора философии, началась еще при Тиберии. Сочинения Музония Руфа сохранились лишь в незначительных отрывках на греческом языке, по которым можно судить, что он, подобно Корнуту и другим стоическим знаменитостям века, держался сократического метода, разработанного по Ксенофону. В 1886 году Пауль Вендланд выступил в Берлине с интереснейшим исследованием (на латинском языке), доказывающим, что мы имеем от Музония гораздо больше того, что сохранилось под его именем. Анализируя следы стоического влияния в сочинениях христианских писателей II и III веков, Вендланд приходит и приводит к убеждению, что почти все апологеты, начиная с Юс-

тина Философа до Тертуллиана включительно, усерднейше пользовались произведениями Музония и переносили из них в свои писания огромные бессмыслочные цитаты. Что же касается «Педагога» Климента Александрийского, Вендланд считает его почти что плагиатом из Музония. Отражениями стоицизма в христианстве мы займемся в посвященных последнему главах IV тома. Какова бы ни была в них роль Музония, но, если бы даже он никаких отрывков не оставил, то для бессмертия его памяти достаточно уже того обстоятельства, что учеником его был Эпиктет, величайший апостол стоицизма, чью философию впоследствии так часто называли «христианством без Христа», а знаменитый апологет язычества Цельз не без успеха, порою, противопоставлял ее, к негодованию Оригена, даже христианству с Христом. По собственному свидетельству Эпиктета, характер его сложился под влиянием Музония Руфа. Старый философ открыл жалкому, хромому рабу сокровища духа, которые помогли ему величественно пройти к вечной славе чрез временные бедность, рабство, унижение. Ис-

пытывая, насколько тверд Эпиктет в стоическом презрении к страданию, Музоний, однажды, пересчитал ему издевательства и пытки, которым властен подвергнуть его, как свою собственность, господин его Эпафродит, вольноотпущенник и библиотекарь Нерона. Эпиктет отвечал учителю: — Другие люди уже сносили такое обращение — значит, оно в силах человеческих, значит, могу снести его и я. Музоний одобрил ответ и прибавил: — Человек — полный хозяин своей судьбы; ему не надо ничего от других; в самом себе должен он иметь источник великодушия, благородства ума и сердца, которые одни истинны; располагая ими, человек имеет право презирать самую мысль о том, как бы получить земли, деньги, теплое местечко. Человек трусливый или низкий для Музония — вовсе не человек, а только тело: о нем даже «следует говорить и писать только, как о теле, выражаясь: пришлите нам мясо и кровь имярека».

Суровый ум Руфа не признавал никаких компромиссов этической теории с житейскою практикою. Из всех учителей стоического аскетизма и бесстрашия пред смертью

он — едва ли не самый последовательный и прямолинейный. Философ столь решительной взыскательности, конечно, был в состоянии убедить Плавта подставить горло под меч центуриона с таким же мужеством, как умирали все деды и отцы стоицизма, начиная с Сократа и Катона. Тем более, что Музоний был превосходный оратор и большой мастер психологического анализа. — Руф с таким совершенством схватывал характеристики, — говорит Эпиктет, — так живо изображал личные недостатки каждого из нас, учеников, что каждый думал: уж не насплетничал ли ему кто-нибудь про меня, что он глядит мне прямо в душу?

Искусство быть нравственным Музоний ставил в зависимость от искусства логически мыслить, и грех для него являлся прежде всего нарушением логики жизни. Поэтому Музоний требовал беспрестанного, непрерывного упражнения мысли и духа, обратил жизнь свою и учеников своих в какое-то *perpetuum mobile* философской гимнастики. Авл Геллий сохранил его выразительный афоризм: «Дать духу отпуск все равно, что уволить его в чи-

стю отставку» (remitiere animum quasi amittere est). Уча в таком рассудочном направлении, он был до мелочности щепетильным виртуозом диалектики; в области рассуждения для него не было мелочей. Логическая ошибка и реальный проступок представлялись ему явлениями одного разряда и корня. Однажды он жестоко разбил Эпиктета за неудачный разбор какого-то логизма. Эпиктет возразил:

— Стоит ли так браниться из-за пустяков? Подумаешь, — я Капитолий поджег.

— Раб, — отвечал Руф, — при чем тут Капитолий? Неужели ты не в состоянии вообразить себе иных проступков, кроме поджога Капитолия? Где ошибка, там и проступок. Спешно, наобум, кое-как рассуждать по личному произволу, не проверяя своих заключений последовательными доказательствами, которые должны привести либо к желанному выводу либо к софизму, отрицающему самую постановку вопроса, — вот уже и ошибка, то есть проступок. Словом, проступок есть каждое рассуждение, в коем вывод неточно отвечает на вопрос, по которому он воспоследо-

вал.

Вслед Антисену, Музоний признавал моральное равноправие полов. Сохранилась речь его, в которой он доказывал право женщины искать истину, т.е. заниматься философией, потому что она имеет право на добродетель (Havet).

Музоний любил озадачивать учеников, умышленно смущая их трудными положениями, пред коими одни отступали в бессильном унынии, но другие, одаренные натурами более возвышенными, наоборот приобретали еще более рвения к благородным победам мысли. Он часто говорил:

— Камень, брошенный в воздух, падает на землю, как скоро сила его собственного тяготения победит силу данного ему толчка; таким же образом, благородный ум человека с тем большими уверенностью и мощью стремится в свойственном ему направлении, чем тверже и сильнее был толчок к его полету.

Очень любимый своими учениками, Музоний, однако, не позволял себе нежничать с ними:

— Если у вас находится время хвалить меня, — то это доказывает, что вы у меня ничему не научились... Философ, — говорил он далее, — тот же врач; раз вы побывали в его аудитории, то должны возвращаться в нее не с нелепыми овацями, а с видом печальным и озабоченным, ощупывая язву, которую он в вас открыл. Как скоро профессор убеждает, советует, отвращает, а слушатели рассыпают ему банальные хвалы, кричат и аплодируют, очарованные остротами, плавностью построения, периодами, — можете быть уверены, что и он, оратор этот, и его слушатели напрасно теряют время, и что перед вами не философ, но — так, живая флейта (Авл Геллий, V).

Не он один из стоиков протестовал против оваций, выдающих, что лекция принимается слушателями как источник сильных ощущений, а не как система логического рассуждения.

— Разве больной аплодирует врачу, который делает ему операцию? Молчите, углубитесь в самих себя, отдайтесь лечению, вам предлагаемому; я не хочу, чтобы у вас вырвался другой крик, кроме стога, который мо-

жет вырваться у вас от того, что я ощупываю ваши раны.

Таков был наставник Рубеллия Плавта. После заговора Пизона Нерон, придравшись к близости Музония Руфа с некоторыми заговорщиками, закрыл его философские курсы и отправил в ссылку на Гиару, маленький островок Эгейского моря, самого профессора. Участие в заговорах — отнюдь не в духе Музония Руфа, и можно верить словам Тацита, что его действительное преступление заключалось в чрезмерной популярности — особенно среди молодежи. Несколько студентов последовали за профессором даже в ссылку, не только по доброй воле, но и с риском компрометировать собственную благонадежность. По свидетельству Филострата, пребывание Музония создало на пустынной Гиаре нечто вроде классической Ясной Поляны: умнейшие и просвещеннейшие люди Греции приезжали к философу-отшельнику познакомиться с ним и поучиться от него. Даже много лет спустя по кончине Музония Руфа Гиара посещалась многочисленными туристами, охочими взглянуть на источник, который ссыль-

ный философ открыл на острове, до него безводном. По смерти Нерона Музоний Руф возвратился в Рим. В самый разгар жестокой гражданской войны, кипевшей в стенах самого Рима, мы встречаем Музония Руфа бродящим между рядами флавианцев с проповедью о благах мира и ужасах войны, с тем самым увещанием, какого многие требовали в наши дни от Льва Толстого по поводу англо-трансваальской войны. Проповедь стоика-непротивленца, конечно, не увенчалась хотя бы даже тенью успеха. «Многих это забавляло, а большому числу надоедало; но были и такие, которые бы его прогнали и растоптали ногами, если бы он, уговариваемый наиболее умеренными солдатами и угрожаемый другими, не убрался со своею несвоевременной философией» (Тацит). Едва Флавии воскресили некоторое подобие государственного порядка, Музоний Руф поднял в сенате дело о восстановлении памяти друга своего, Барей Сорана, одного из лучших представителей стоического толка, погибшего при Нероне в процессе Пета Тразеи, по предательскому доносу некоего П. Эгнатия Целера, выходца из

Бейрута, тоже стойка и профессора философии. Дело свое Руф провел прекрасно: «Манам Сорана дано было удовлетворение», а Публий Целер осужден, хотя защиту его принял на себя, далеко не к славе своей, знаменитый циник Деметрий. Его взял задор доказать, что красноречие может вызволить из-под суда даже и несомненно виновного человека. Но личность Эгнатия, «предателя и осквернителя дружбы, за наставника которой он выдавал себя», внушила суду непобедимое отвращение. Сам он чувствовал себя столь безнадежно преступным, что не имел духа возразить обвинителю хотя бы словом. Сенаторы сделали Музонию Руфу овацию, достойную его честного подвига, Деметрий же ушел, едва ли не освищенный. Когда Веспасиан, утомленный жалобами на шарлатанов, заполнивших Рим под масками философов, выслал из столицы всех, носивших это имя, — исключение было сделано только для Музония Руфа. Скончался Руф в глубокой старости. Происхождением он был этруск из города Вольсинии, званием — всадник.

IV

Предостережения, сделанные Рубеллию Плавту Л. Антистием Ветером, раз огласившись в городе, конечно, не могли остаться неизвестными Тигеллину. Рим был наводнен его шпионами, соглядатаи шныряли по улицам, кружкам, пирам, - - даже в публичных домах проститутки были обязаны заводить вольные речи о правительстве, чтобы выманывать у гостей неосторожные обмолвки. Как скоро донесено было Нерону о деятельном сочувствии бывшего консула казненному зятю, участь Антистия была решена. Однако, его не посмели привлечь к ответственности немедленно. Или Антистий слишком ловко вел свои дела, и не к чему было привязаться, кроме бездоказательных городских сплетен, или же он, умевший опережать даже цезаревых гонцов, оказался слишком влиятельным человеком, — только он не пострадал ни сейчас, ни даже во время розыска по заговору Пизона. И лишь когда розыском этим поубавили число знати чуть не наполовину, а на остальных навели ужас беспрекословного раб-

ства, — лишь тогда взялись и за Антистия Ветера. Его обвинил собственный его вольноотпущенник, Фортунат; проворовавшись на управлении поместьями Антистия, он думал покрыть свое мошенничество ложным, но удобным правительству доносом. В товарищи по обвинению Фортунат взял Клавдия Демиана, плута, арестованного Л. Ветером, по званию проконсула Азии, за какую-то гнусную проделку. Острожник заявил в тюрьме на Ветера слово и дело и был немедленно освобожден для свидетельства, а собственное дело его направлено к прекращению.

Узнав обстоятельства, из которых возникло против него обвинение, Антистий возмутился, что его хотят принудить стать на одну ногу с негодяем-вольноотпущенником, и уехал в свое Формианское поместье (Formiae — город на Гаэтанском заливе; близ него некогда убит был Цицерон). Там Тигеллин немедленно окружил Антистия тайным, но весьма прозрачным полицейским надзором. Дочь Антистия, Поллита, вдова Рубеллия Плавта, бросилась в Неаполь, где находился тогда Нерон, — молить о пощаде. Цезарь ее не

принял. Тогда она стала стеречь его выходы и, едва он показывался из дворца, издали молила: — Выслушай невинного! не предавай своего когда-то товарища-консула в жертву вольноотпущеннику!.. Нерон делал вид, что не слышит. Изнемогая в скорбях, Поллита переходила от слез и рыданий к проклятьям и ругательствам, но император будто оглох: беснования несчастной женщины сердили его так же мало, как трогали мольбы. Трудно понять, почему Поллиту не уняли. Может быть, по странному образу жизни, который она вела со смерти мужа, и по дикому виду, ее почитали за сумасшедшую. Может быть, коварно давали ей случай неприличными выходками против главы государства отягчить и без того уже трудное положение Антистия.

Потеряв надежду, Поллита возвратилась к отцу. Он тем временем получил дружеское предупреждение, что сенат назначил быть следствию и смертный приговор составлен уже заранее. В таких крайних опасностях римская знать не имела обычая дожидаться услуг палача. Из всех, почти бесчисленных са-

моубийств, рассказанных у Тацита, смерть Антистия — одно из самых спокойных и величавых. Теща его Секстия, бабка Поллиты, и сама Поллита захотели умереть вместе с ним. Друзья советовали Антистию внести в свое завещание имя цезаря, как наследника некоторой части имущества, чтобы тем обеспечить остальное за сиротеющими внуками. Это был обычный в Риме прием посмертной взятки. Но Антистий был человек прямолинейный, неподатливый и не пожелал запятнать последнюю минуту честной жизни холопскую уверткой.

— Свободным я жил, свободным и умру, — сказал он.

Затем роздал рабам все деньги, сколько имел при себе, и приказал разграбить дочиста свой дом, все, что только будет каждому под силу взять и унести, — за исключением трех кроватей. Затем все трое самоубийц, под широкими плащами, наброшенными ради приличия, раздеваются донага, все трое — одним и тем же ножом — перерезывают себе жилы и ложатся на кровати. Рабы поспешно несут их в баню, и, в теплых парах ее, они

медленно отходят в вечность. Отец не сводит глаз с дочери, бабка с внучки, а та смотрит то на того, то на другую, и все трое непрерывно молятся богам — умереть раньше других, чтобы унести на тот свет образы близких еще живыми, хотя уже близкими к смерти. Судьба соблюла порядок старшинства: первой умерла Секстия, за ней Антистий, а последней — молоденькая Поллита. Так кончил Антистий жизнь, «проведенную почти в духе полной свободы» (Тацит).

Трагические самоубийства целыми семьями были нередки в тот жестокий век. Аррия и Пет, Сенека и Паулина стали в потомстве школьными примерами супружеской верности, ненарушимой и самой смертью. Но самоубийство Антистия одиноко и необычайно выдвигается даже на таком кровавом фоне. Однако, страшное впечатление, какое должны были произвести в Риме эти три согласные смерти, не избавило самоубийц от кощунственной комедии посмертного суда. Повторена была та же пошлость, что по убийстве Рубеллия Плавта и Корнелия Суллы. Сенат выслушал дело о заведомо умерших лю-

дях, как о живых, и присудил покойников к смертной казни по обычаю предков, — то есть, засечь до смерти, а трупы обезглавить. Нерон вдруг нашел нужным проявить великодушные, которое теперь ему ровно ничего не стоило: отменил сенатское решение, как слишком жестокое, и милостиво дозволил трем покойникам — выбрать способ смерти по своему вкусу. — Мало убить — надо еще издеваться! гневно восклицает Тацит. Действительно, поведение власти в этом случае так безобразно-дико, что невольно хочется подыскать ему какую-нибудь логическую гипотезу и разумное объяснение. Пусть Нерон, к тому времени окончательно изломавшись от актерства, спившись с круга, изгрядив воображение развратом, вел себя жестоким безумцем. Но ведь сенат еще перещеголял его в безумии, — цезарь смягчает его свирепый приговор. Зачем? для насмешки, как говорит Тацит? Но подобная насмешка унижительна в сто раз более для палача, чем для жертвы. Римляне уважали мертвых и не любили шуток над ними. Разгадка в том, что, было значительное различие в завещательных правах

имущества и чести между лицами, умирающими от руки палача и приговоренными умереть как бы по своей воле. В истории Антистия поминаются его внуки- наследники, которые, очевидно, получили следующее им по завещанию, так как об отчислении имени Антистия в государственную казну Тацит, обыкновенно весьма аккуратный на подобные отметки, ничего не говорит. Позволительно думать, что кто-либо из доброжелателей сирот уговорил Нерона смягчить сенатский приговор, все равно, неисполнимый, действуя в их наследнических интересах. Что Нерон гнал Антистия только потому, что тот, так сказать, мозолил ему глаза, как живая память о Плавте, говорит сам Тацит. Такой же яркой личной ненависти, чтобы ругаться над мертвым и погребенным врагом, ему не за что было питать к Антистию. Ведь даже прах самого Плавта он оскорбил только плоской шуткой, брошенной вскользь, — с чего бы так глупо озвериться ему теперь, когда дело шло всего лишь о Плавтовом тесте и сообщнике? После Пизонова заговора и казней опаснейших аристократов Нерон уничтожил Анти-

ствия лишь за компанию с другими представителями побежденного высшего класса. Что в эту пору Антистий был уже львом без зубов и с обрубленными когтями, что во дворце не придавали ему прежнего страшного значения и приняли донос на него довольно равнодушно, свидетельствует малая награда, полученная доносчиком Фортунатом: ему дали право на постоянное место в театре на курьерских скамьях (*locus in theatro inter viatores tribunitios datur*).

ОКТАВИЯ

I

Не считая возможным, чтобы Нерон произнес над мертвой головой Рубеллия Плавта речь против Октавии, вложенную в уста цезаря Кронебергом, нельзя, однако, сомневаться, что чувства его и намерения в данные дни были именно таковы, как они изложены в строках Тацита, обращенных русским переводчиком в монолог. Смерть соперника развязала Нерону руки. Теперь променять его не на кого, — значит, он волен делать, что хочет и, прежде всего, прогнать ненавистную Октавию. Она — живой упрек ему своей «скучной добродетелью». Она чересчур любима народом. Она — неприятное воспоминание, неотлучный укор совести, потому что она — дочь Клавдия, человека, которого убили для того, чтобы отдать принципат Нерону. Переступив к власти через труп приемного отца, Нерон ненавидел и презирал его память. Уже говорено, что он с восторгом принял злобную са-

тиру Сенеки на апофеоз Клавдия, делал презрительные намеки на покойного принцепса в первой своей тронной речи к сенату, и не мог видеть грибов, которыми был отравлен Клавдий, без того, чтобы не сострить по-гречески насчет их обожествляющей силы. Так грибы и слыли в Риме, при Нероне, с легкой руки самого императора, кушаньем богов, *deorum cibis*. Впоследствии отвращение к Клавдию приняло у Нерона характер прямо какой-то мании. Он открыто, словом и делом, ругался над своим предшественником, попрекая его то глупостью, то свирепостью. Острил, что это был болван, заика, неспособный сложить бе-а-ба, и приказал считать недействительными многие указы и резолюции Клавдия, как исшедшие от человека невменяемо-слабоумного. Он не позаботился даже почитать памятником место, где было предано сожжению тело Клавдия, и оно оставалось лишь обнесенным легкой и невысокой решеткой. Культ бога Клавдия Нерон упразднил, т.е. предал забвению, немедленно по убиении матери, а храм, воздвигнутый ему Агриппиной, приказал, без долгих проволоч-

чек, сравнять с землей, как скоро холм, где стояло святилище, понадобился ему для Золотого Дворца.

Уничтожить Октавию взялась Поппея. Путь был избран обычный: ложный донос о прелюбодеянии с рабом. Один из музыкантов оркестра императрицы, виртуоз-флейтщик, по имени Эвкар, родом египтянин из Александрии, был куплен принять на себя вину. Получив его сознание, Тигеллин арестовал камеристок Октавии и допросил их с пристрастием в застенке. Некоторые, не выдержав пытки, наклепали на императрицу все, что было им продиктовано. Но огромное большинство до конца стояло на том, что их госпожа непорочна. А одна из ближайших служанок государыни, когда Тигеллин пристал к ней с циническими расспросами, пришла в такое негодование, что оборвала гнусного сыщика вполне заслуженной резкостью:

— Даже самая поганая часть тела Октавии, — воскликнула смелая женщина, — и та чище твоего рта! (*Castiora esse muli ebria Octaviae respondit, quam os Tigellini*).

Необычайное мужество прислужниц Окта-

вии дало Фаррару повод признать их христианками, ученицами ап. Павла, который в это время действительно был уже в Риме. Эта фантазия, разыгранная опять-таки на тему знаменитого стиха о «святых из дома цезаря» в Павловом послании к филиппийцам, совершенно произвольна. Как добрые помещики дореформенной России имели верных и преданных крепостных, так и в Риме человеческое обращение господина с рабом делало последнего не только любящим, но и способным на высокие подвиги самоотвержения. Задолго до христианской эры, во время кровавой расправы Мария с партией Суллы, рабы Корнута спасли ему жизнь, сказав пришедшим за ним солдатам, что он уже умер. В доказательство, они устроили фальшивое погребение и сожгли на костре труп какого-то неизвестного человека. Эпоха проскрипций Августа богата примерами подобного рода, тщательно сохранными у Аппиана. Один раб спрятал своего господина в горной пещере. Их выследили. Тогда раб пустился на последнюю хитрость: вышел из убежища, убил первого встречного и представил труп властям, говоря, что — вот

его господин, им умерщвленный. Этот раб не только спасал своего хозяина, но вдвойне рисковал за него жизнью, как в случае, если бы обман открылся, так и в случае, если бы ему поверили. Взвести на себя убийство господина, хотя бы даже и гонимого властью, было для римского раба смертельной опасностью. Воспользоваться доносом раба против господина, хотя бы и заведомо справедливым, весьма долго считалось позором для правосудия. Одного такого доносчика Красс заковал в кандалы и отправил к хозяину, вместе с представленными рабом обличающими документами. Другой раб разоблачил хитрость своего товарища, которой тот хотел спасти их от казни общего господина. По настоянию народа суд отправил предателя на крест, а верному рабу даровал свободу. В смутные времена государства раб часто менялся платьем с господином, угрожаясь противной партией, и, вместо него, падал жертвой преследования. Словом, в пустыне рабства, грозной, грубой и ненавидящей, всегда были странные оазисы, цветущие добром и миром. Великолепное письмо Сенеки к Люцилию в защиту рабов

показывает, что не Бог весть какие благодеяния требовались от рабовладельца, охочего купить себе расположение принадлежащего ему двуногого стада. Так, например, Сенека строго порицает надменный обычай морить прислугу по целым ночам голодом, скукой, бессонницей, заставляя бессмысленно стоять вокруг пирующих господ — стоять, не смея ни на минуту присесть, не смея не только слово шепнуть, но даже чихнуть или кашлянуть: иначе — розги. «Много поносят господина те рабы, — говорит Сенека, — которым запрещено раскрывать рот в его присутствии. А те, которым никто не затыкает глотки, которые имеют право разговаривать не только в присутствии господина, но даже с ним самим, готовы хоть шеи себе сломать из-за господина и рады обратить на самих себя грозящую ему опасность. Те рабы, которые разговаривали за едой, всегда молчали во время пытки». Последние слова — точно писаны на случай розыска над Октавией. Впрочем, подвергнутые пыткам камеристки, вероятно, не все были рабынями. Имелись между ними и вольноотпущенницы — класс, ненавистный Тациту, и

В массе действительно не высокой нравственности, но нередко люди его поднимались до высоких подвигов признательности к тем, кто дал им свободу. Если в числе вольноотпущенников Антистия нашелся предатель Фортунат, то были между ними и такие, которым Антистий не боялся вручить, вместе с письмом к Рубеллия) Плавту, свою седую голову. Народный трибун Октавий Сагитта умертвил, на тайном свидании, свою любовницу Понцию Постумию, женщину, его разорившую и обманувшую, и тяжело ранил — так что почел убитой — служанку Понции, свидетельницу преступления. Вольноотпущенник Сагитты принял вину на себя. — Зачем ты это сделал? — спросил его следователь. — Я хотел отомстить негодной женщине, обидевшей моего господина. Объяснение было признано удовлетворительным, — стало быть, приверженность вольноотпущенников к господину до готовности умереть за честь его была не редкость в этом веке. Вольноотпущенник Сагитты, конечно, попал бы на казнь, если бы раненая служанка, придя в себя, не разоблачила его великодушной лжи, обличив

истинного убийцу. Вольноотпущенник Мнестер убил себя на костре всеми покинутой Агриппины. В подло-трусливой-жизнелюбивой, предательской толпе участников Пизоннова заговора вела себя порядочным человеком и выказала истинное гражданское мужество лишь одна вольноотпущенница Эпихарис. Наконец, впоследствии, самому Нерону дали возможность умереть свободным, оставаясь верными ему до конца, только рабы да вольноотпущенники. Руками своей доброй феи, опять-таки вольноотпущенницы Актэ, и старухи-кормилицы из рабынь он был предан погребению. Если столько преданности проявляли люди рабского происхождения к господам жестоким и распутным, можно вообразить, как много прочнее должна была слажаться привязанность их к господам кротким и порядочным, вроде Октавии.

За невозможностью признать Октавию прелюбодейкой, Нерон объявил ей обычный гражданский развод, под предлогом ее неплодия, — совершенно так же, как, полторы тысячи лет спустя, поступил наш Василий Московский с Соломонией Сабуровой, когда надо было очистить место для Елены Глинской, этой русской Поппеи пополам с Мессалиною. Сперва Октавию оставили спокойно жить в Риме, дав ей в удел дворец покойного Бурра и поместья казненного Плавта. «Зловещие дары!» восклицает Тацит. Как скоро Поппея была объявлена законной женой Нерона, Октавию выслали из столицы в Кампанию, причем за бывшей императрицей учрежден был полицейский надзор. Но Бурр недаром некогда предложил Нерону, вместо совета на развод с Октавией, насмешливый вопрос о возрасте приданого, подразумевая империю. Когда Нерон убил Британика, Рим только покачивал головами; когда он убил Агриппину, Рим сделал ему овацию, но, когда он воздвиг гонение на неповинную Октавию, последнюю из

законных Клавдиев и одну из немногих честных женщин города, — народ заволновался. Ропот был очень силен. Из текста Тацита можно заключить, что были люди, которые самоотверженно требовали восстановления Октавии в поправленных правах, не боясь ставить за то на риск собственные головы. Защита их, говорит историк, была в незначительности их общественного положения.

Все это происшествие излагает весьма резким тоном все тот же, выше цитированный, диалог между Нероном и Сенекой. Воздав Августу хвалы за его крутые меры, Нерон переходит к собственным обстоятельствам:

Нерон. И к нам будут благосклонны звезды, если только я предварительно истреблю без жалости мечом все, что мне враждебно, и укреплю нашу династию на достойном ее потомстве.

Сенека. Небо достойным потомством наполнит дворец твой прекрасная жена, украшение рода Клавдиев, рожденная богом (Клавдием Цезарем), вошедшая на ложе брата по примеру Юноны. Нерон. Во-первых: кровосмесительный брак лишает меня веры в

потомство; во-вторых, душа жены моей никогда не лежала ко мне.

Сенека. При молодости ее лет вопрос о потомстве еще не выяснен; а что касается второго, то—пламя любви часто приглушается стыдливостью.

Нерон. Я и сам долго так думал, но напрасно: слишком ясные знаки выдавали в ней ненависть, кипящую ко мне в этом нелюдимом (*insociabili*) сердце и даже не умеющую скрыться в лице. Дело в том (*tandem*), что в ней семейное горе бушует, ожидая кровной мести. Нет, теперь я нашел себе супругу, достойную моего ложа и породой, и красотой, такую, что — побежденные — уступят ей первенство и Венера, и супруга Юпитера, и грозная богиня войны (Минерва).

Сенека. В жене должны нравиться мужу только честность, добрые нравы и стыдливость. Только дары ума и духа остаются навсегда неизменными. А цвет красоты, день изо дня, ощипывает время.

Н е р о н. Сколько ни было в мире хвалы достойного, все в нее одну вложил бог. И вот судьба захотела, чтобы такая-то красавица ро-

дилась для меня.

Сенека предостерегает Нерона против непрочности увлечений чувственной любви. Нерон отвечает пышными фразами неукротимо-влюбленной страсти. О чувственности же он не столь дурного мнения.

— Я почитаю величайшей силой жизни ту, из которой рождается сладострастие. Тем и род человеческий избавлен от гибели, что вечно возобновляются в нем поколения, благодаря любви, которая смягчает даже свирепых зверей. Бог любви понесет предо мной свадебный факел и огнем его соединит меня на брак с Поппеей.

Сенека. Вряд ли украсит эту свадьбу слишком очевидное горе народное, да и святость религии протестует против этого брака.

Нерон. Что же это? Мне одному запрещено то, что всем позволено? (То есть развод).

Сенека. Всегда — чем выше положение человека, тем большего требует от него народ.

Нерон. А вот увидим, как его безрассудно вкоренившаяся

любовь к Октавий должна будет уступить напору моей воли.

Сенека. Лучше бы ты тихо и мирно исполнил желания сограждан своих.

Нерон. Плохая это власть, когда чернь командует вождями.

Сенека. Она покладиста, когда все в порядке, но сейчас она огорчена — и права.

Нерон. Разве позволено выражать чувства, которых они не дерзают высказать прямой просьбой. Сенека. Отказывать в этом жестоко.

Нерон. А для государя позор — подчиняться ограничению своей воли (*Principem scji nefas*).

Сенека. Так отказался бы сам (*Remittat ipse*).

Нерон. Побезденный — добыча худой молвы. Сенека. Ненадолго, да и — пустое дело молва эта! Нерон. Пусть даже и так, однако, многих она пятнает. Сенека. Перед возвышенными поступками она отступает в страхе.

Нерон. Тем не менее, все-таки, портит жизнь (*corpit*). Сенека. С этим легко справиться. Умоляю тебя: не будь упрям, — неужели не трогают тебя заслуги святого отца твоей супруги, ее нежный возраст, стыдливость и целомудрие?

Нерон. Довольно, однако! Ты слишком надел мне! Вот — возьму и сделаю так уже потому, что тебе это не нравится! С моей стороны просто неловко пред народом оттягивать давнее желание, за которое творится столько обетов, чтобы Поппея понесла в утробе залог моей любви и часть моего существа. Итак, не назначить ли нам свадьбу на завтра?

На словах, в трагедии, Нерон бойчее, чем показал себя на деле. Столкновение с народом вышло серьезнее, чем он ожидал.

Нерон, как истый цезарь, в противоположность своему полнейшему презрению к взглядам и правилам знати, весьма робко и осторожно считался с мнением черни. — Не дождетесь вы такой чести, чтобы я выслушивал, как от свободных граждан, волю от вас, которых я привел в Рим в оковах! — эту гордую фразу бросил некогда в лицо римскому плебсу Спицион Эмилиан. Но времена изменились: Нерон ничуть не опасался посылать смертные приговоры потомкам Сципионов и Кориоланов, но очень робел того «Дика с Гобом», которого так презирали они. Первому римскому императору Августу оракул велел,

для искупления от каких-то грозящих бед, одеваться однажды в год нищим и просить у прохожих милостыню. Этот царственный нищий, протягивающий руку у ворот своего собственного дворца, является как бы прообразом всего цезаризма. Он повелевает миром, но принужден протягивать руку за подаянием власти к последнему из черни, по инстинкту, вещающему глубинам честолюбивых душ закон, что истинный-то владыка мира и есть эта грубая чернь, а они, великолепные цезари, только ее наместники.

Современный поэт сохранил нам этот взрыв народного ропота: — Вот занялся день несчастья, которого мы давно боялись, о котором столько толковала молва так и этак. Изгнанная Клавдия перестала быть супругой жестокого Нерона. Место ее заняла победительница Поппея. Ну, нет, тут конец нашей покорности, столь смирной в тисках тяжкого страха, и скорбь наша должна действовать, а не лежать на боку. Где сила римского народа, которая некогда сломила столько сиятельных (claros) вождей, дала законы непобедимому отечеству и вручила власть достойным из

граждан? повелевала войной и миром, укрощала дикие народы и запирала в тюрьмы пленных царей? Вот уже повсеместно мозолит нам глаза противный образ Поппеи рядом с Нероном! Ну-ка, пустим в ход руки: сбросим наземь, чересчур уж похожие на оригинал, лики этой госпожи, да и ее самое стащим с высокого ложа! Беритесь за оружие! Факелов сюда! рогатины! Пойдем на цезарев дворец! ("Октавия").

Владыка мира заворчал, и наместник струсил. Нерон немедленно уничтожает поспешный брак с Поппеей, вызывает Октавию из Кампании, восстанавливает ее в правах своей супруги. Несомненно, что, помимо народного волнения, были и придворные воздействия на цезаря. Несколько позже Тацит упоминает о вольноотпущеннике Дорифоре, отравленном за то, что противился женитьбе цезаря на Поппее. Дорифор этот занимал министерский пост заведующего комиссией прошений, а *libellis*. Предшественник его по должности, вольноотпущенник Каллист сыграл в свое время тоже значительную роль в вопросе о последнем браке своего государя Клавдия и

едва не женил его на Лоллии Паулине. По свидетельству Светония, друзья убеждали Нерона сойтись с Октавией даже в действительное супружество, ничем доселе его не стеснявшее, а между тем удобное народу. Но цезарь был не в силах победить физическое отвращение, которое всегда питал к жене, и наотрез отказался, говоря: довольно с нее и одеваться императрицей. Эта любопытная черта защиты скромной Октавии двором распутным и жестоким, которому, казалось бы, Поппея была гораздо более с руки, как своего поля ягода, свидетельствует не только о личных симпатиях к дочери Клавдия. Произошла обычная реакция в пользу законной государыни против фаворитки, осмелившейся посягнуть на трон, — реакция, знакомая всем дворам мира. Фавориток государи могут иметь сколько угодно, не возбуждая всеобщего негодования, а иным, например, Генриху IV французскому, любовное усердие ставилось даже чуть ли не в заслугу. Но фаворитки и фавориты, хотя бы и всемогущие, должны все же оставаться подданными.

Людовик XIV — это воплощенное слияние

всей идеи государства с личностью деспота-государя — не посмел, однако, огласить свой брак с Ментенон, а Елизавета Петровна, управлявшая Россией как добрая, но всевластная помещица крепостным именем, лишь тайком дерзнула повенчаться с Разумовским. Между тем они были прочнее на своих наследственных тронах, чем Нерон у своего принципата, полученного сомнительными путями, чрез «военное действие». Положение Нерона, в данном случае, ближе всего будет сравнить с трагическим затруднением Екатерины II, когда Григорий Орлов настаивал на своем браке с ней, и она, любя его, и желала исполнить волю милого человека, и не смела, смущаемая негодованием двора и шаткостью своего, случаев завоеванного, престола. Впрочем, подобных примеров можно набрать сколько угодно из любой исторической эпохи.

Номинальное примирение Нерона с женой было принято в Риме с откровенной радостью. Народ, заполнив шумными толпами Палатин и Капитолий, служил благодарственные молебны, благословлял Нерона и

сделал бурную овацию пред дворцом его. Однако, император, вовсе не чувствуя себя в духе разделять народные восторги по поводу победы над его государевой прихотью, не показался манифестантам; он сидел взаперти и злился. Народ, между тем, раздобывшись статуями Октавии, носил их на плечах, как знамена. Одну водрузили на форуме, другие расставили по храмам. Статуи Поппеи, которая так недавно вызывалась пред государем быть голосом сената и народа, опрокинуты, разбиты.

«Сколько ни было изображений Поппеи, в прекрасном мраморе или блестящей бронзе, все теперь влачатся по улицам расщепленной чернью либо валяются, безжалостно разбитые ломами. По частям тащит толпа члены их на веревках и, после долгих надругательств, бросает в самую скверную грязь. Все это сопровождается словами, зверей достойными, которые повторить, в ужасе, отказывается мой язык!» (Вестник в «Октавии»).

Словом, получилась полная картина восстания — странного восстания не с горя, но с радости, не против, но в честь государства.

Буйство и вопли вокруг дворца надоели Нерону. Тигеллин бросил на манифестантов дежурную гвардейскую когорту дворцового караула; солдаты плетьюми и древками копий разогнали толпу и заставили буйных восстановить поломанное в погром. Таким образом, статуи Поппеи, хотя и потерпев ущерб, снова вознеслись на пьедесталах. Несравненную красоту Поппеи, прославляемую историками, потомкам приходится принимать больше на веру: лики ее на монетах сильно стертые, а бюсты побиты. Как знать? быть может, некоторые из них носят следы того достопамятного дня, когда освирепевший римский народ ломал и крушил на Палатине мраморных красавиц, утешая себя в бессилии учинить расправу над живой.

Но:

Что вы напрасно войной восстаете?

Непобедима стрела Купидона.

Пламенем факелы ваши поглотит

Тот, кто тушил даже молнии силу,

Пленником Зевса с небес уводил.

Кровью своей вы заплатите богу

За оскорбленье.

Нетерпелив он и яростен в гневе,
Трудно им править.
Дикого он приучает Ахилла
К сладостной лире,
Губит данайцев, губит Атрида,
Царство Приама разрушил — и светлый
Град уничтожил.
Сердце трепещет: что ныне содеет
Бурная власть беспощадного бога?
(«Октавия». Хор).

III

Попшея пришла в ужас. Ненависть ее к Октавии, всегда жестокая, нашла новую пищу в зрелище народной любви к постылой сопернице. Как женщина умная, она понимала, что народ цезарь над цезарем, и что повторение восстания будет для нее роковым. Как ни много любит ее Нерон, однако, он не в силах будет сопротивляться воле Рима, если народ выскажется с еще более резкой определенностью, чем только что свершилось. Надо было спешить исправить впечатление. Покуда Нерон еще волнуется стыдом деспота, принужденного поступиться **своим** капризом в

угоду толпе, покуда он обуян гневом против негодной черни, дерзнувшей судить его семейные дела, еще не все пропало. Но, если он успеет раздуматься над происшедшим, если какой-нибудь Дорифор объяснит ему еще раз, вслед покойному Бурру, что ради любви нельзя забывать об империи, этом неотъемлемом приданом унылой Октавии, — тогда, конечно, рушится и прахом пойдет неутомимая интрига пяти лет, тогда напрасно умерли и Сулла, и Плавт, и Афраний Бурр, и сама Агриппина.

Попея просит цезаря немедленно принять ее, падает к его ногам, изливает свою скорбь, в упреках, жалобах, клеветах, ласках и насмешках, сплетать которые в пестрое целое она была такая несравненная мастерица. — Дело теперь идет уже вовсе не о том, — говорит она, — кто из нас будет императрицей. Я не хочу спорить с Октавией. Счастье супружества с тобой мне дороже жизни, но ниже меня состязаться о личном счастье, когда в Риме, в мирное время, происходят такие вещи, которые вряд ли мыслимы и во время войны. Клиенты и рабы Октавии грозят опасностью моей жизни, — пускай! не это важно!

Ужасно, что они осмеливаются величать себя народом и от имени Рима идут самозванным бунтом на своего государя. Им недостает только вождя. Но, когда в городе бунт, долго ли найдись вожакам? За ними дело не станет! Уж если, по одному мановению Октавии, заочному, издали, возбуждаются восстания, так, — стоит ей оставить Кампанию и приехать в Рим, — и вот она уже госпожа положения!.. За что мне все это? в чем моя вина? кого и чем я обидела? Неужели мне ставят в преступление, что, если у нас с тобой родятся дети, то это будут твои дети, законные потомки дома Цезарей? Неужели народу римскому вдруг стало так мило и желанно, чтобы величие императорской власти досталось сыну египетского флейтиста? Ты говоришь, что возвращения Октавии требует польза государства. Прекрасная польза: тебе навязывают госпожу над твоей волей и даже не желают дать тебе права выбора! Если надо призвать Октавию, так пусть это хоть имеет вид твоего свободного решения, а не уступки насилию. А лучше бы — подумать о своей безопасности и оградить ее на будущее время, по справедливости.

вности отомстив виновнице уличных безобразий. Презирать их нельзя. Сегодня — чтобы укротить первый опыт мятежа — потребовались небольшие силы, но в следующий раз понадобятся уже более серьезные меры. Если же эти негодяи поймут, наконец, что их Октавии не бывать женой Нерона — поверь: они сумеют приискать ей и мужа!

Ловко построенные доводы Поппеи достигли цели: цезарь и рассвирепел, и струсил.

В трагедии «Октавия» нет этой сильной сцены между Нероном и Поппеей. Она принадлежит чуткому воображению Тацита. Но мотивы дальнейшего преследования Октавии, высказываемые Нероном в его диалоге с Префектом и дальнейшим Хором, те же самые. Поппею трагедия обходит. О ненависти к ней много говорится, но причины этой ненависти остаются под вуалем, как лицо самой Поппеи. *In persona* она является на сцену, только чтобы рассказать страшный, не добро вещущий, сон. Очарования же Поппеи Хор воспекает, без всякого к ней озлобления, самым восторженным и галантным языком:

— Если только болтливая молва верно рас-

сказывает плутни и игривые любовные похождения Громовержца (так, однажды он, говорят, прижал Леду к груди, обросшей перьями и пухом, а в другой раз, в виде мощного быка, уплыл за море, унося похищенную Европу), если все это верно, то и теперь он должен оставить небеса, которыми, управляет, и добиваться твоих, о Поппея, объятий. Предпочтет он тебя — и Леде, и Данае, на которую он некогда, к ее удивлению, нисшел потоком желтого золота. Да и фригийский пастух (Парис) отдаст ей предпочтение перед девой Спарты: победит ее лик черты Тиндариды, из-за которых вскипела свирепая война и было сравнено с землей Фригийское царство.

Жребий Октавии был давно решен этой безжалостно блистающей красотой, но, быть может, не свершился бы так скоро, если бы его не подогнали те самые обстоятельства, которые надеялись его задержать. «Любовь народа для многих была даром жестоким и убийственным» ("Октавия"), жертвой ее пала и Октавия. Несомненно, что окончательно погубило ее короткое торжество народного восстания, с буйными победными сценами на

Палатине.

Вглядываясь в историю преступлений Нерона, если разложить каждое отдельно в последовательности свершивших его фактов, в большинстве можно заметить одну и ту же общую черту: сперва преступление затевается хитро, тонко, удар наносится издали, и — почти обязательно — следует промах. Говорят, что если лев не настиг добычи первым скачком, он не делает второго и уходит сконфуженный. Но Нерон был не львиной, но тигровой породы, и его смущение при неудачах выражалось только тем, что, растерявшись, он сразу выдавал всю свою ненависть и, вместо «изящного» тайного преступления, совершал явное, нагло-откровенное, грубое насилие. Особенно ярко сказалась подобная свирепая растерянность при умерщвлении Агриппины; то же повторилось и теперь.

Решили все-таки настаивать на прелюбодеянии Октавии. Но — с кем? Любовник из рабов мало вероятен уже и сам по себе, а после розыска над служанками Октавии совсем никуда не годится. Народные волнения, только что возбужденные именем Октавии, дали

мысль сплести с прелюбодеянием попытку к государственному перевороту. Ломают головы, кого бы навязать Октавии новым лже-любовником? Нужен такой человек, чтобы и совести не имел оклеветать невинную, и в то же время мог сойти в общественном мнении за действительно опасного заговорщика, достаточно влиятельного, чтобы женщина царственного положения, бросаясь в политическую авантюру, не побрезговала купить его расположение хотя бы даже и своей любовью. Негодяев при дворе Нерона имелся богатый выбор, — однако, никого из них цезарь не решился сделать сообщником своего замысла. Наконец, вспомнили о негодяе, действительно стоящем вне конкурса: об Аникете, роковом человеке Нерона, командире Мизенского флота, убийце императрицы Агриппины. После своего злодеяния в Баулах, Аникет остался в фаворе весьма недолго. Если уже один вид местности, где погибла Агриппина, внушал ужас Нерону, тем менее был он в состоянии выносить близ себя вечный ходячий упрек в лице ее убийцы.

Поэтому адмирал уже давно был удален от

двора под каким-то вежливым предлогом и, числясь в милости, на самом деле пребывал в опале.

Нерон вызывает к себе Аникета, и они понимают друг друга с полуслова. — Любезнейший Аникет, — говорит Нерон, — ты всегда был мне верным слугой. Когда злодейка-мать умышляла погубить мою жизнь, меня спасла единственно только твоя помощь. Теперь я жду от тебя не менее важной услуги. Жена моя враждует со мной. Сделай милость, помоги мне от нее отделаться. Тут не потребуется никого душить или резать. Ты должен будешь только признаться в любовной связи с Октавией. Если ты исполнишь мое желание, тебя для приличия осудят и даже сошлют, но в такое место, где, с моей помощью, ты устроишь себе прелестный уголок, и ссылка для тебя будет блаженством. Кроме того: я не могу наградить тебя открыто, но ты будешь пожалован крупной денежной суммой из секретного фонда. Если же ты почему либо находишь мою просьбу неудобной, не взыщи, любезный Аникет: я, хотя и с величайшим прискорбием, прикажу тебя зарезать.

Палатинский браво, конечно, не задумался в выборе. Подлая цельность этого убийцы женщин просто поразительна; он не только отвратителен, он любопытен, как на диво редкостный образец полного нравственного отупления, для которого безвинно смять чужую жизнь чуть ли не обыденная веселая шутка. Бесшабашный по натуре, — говорит Тацит, — он окончательно потерял совесть, потому что ему легко сходили с рук все его преступления.

Император созвал какое-то подобие семейного совета из ближайших своих друзей и заставил Аникета повторить при них, якобы прежде сделанное, признание. Негодяй, поощряемый щедрым посулом цезаря, лжет вдохновенно и, к конфузу присутствующих, навирает на себя и на Октавию даже больше, чем его просили. Клеветы Аникета, вероятно, повторены в указе, которым Нерон опубликовал вслед затем осуждение Октавии. «Императрица, — гласил этот акт, — посягая на верховную власть, обошла чарами своей молодости храброго адмирала Мизенского флота, Аникета, в расчете через него привлечь на

свою сторону морские силы государства. Дабы выполнить свой план, она не постыдилась впасть с Аникетом в прелюбодеяние, забеременела и искусственно вытравила плод». Что выкидыш у Октавии был, это подтверждал, в роли обманутого супруга, сам цезарь, совсем позабыв, что несколькими неделями ранее он выставлял причиной к разводу с женой ее безнадежное бесплодие.

Аникета, по миновании в нем надобности, щедро наградили, как было обещано, и отправили на остров Сардинию. Здесь мнимый ссыльный, окруженный роскошью и почетом, проводил безбедную жизнь и спокойно умер естественной смертью, столь редкой, в этот век, для людей высокого положения, — точно нарочно, чтобы оставить собой вечный исторический пример наглого и самодовольного злодейства, смеющегося над земным возмездием.

IV

Местом заточения Октавии Нерон назначил остров Пандатария, грозный по воспоминаниям для принцесс Юлио-Клавдианской династии. Маленькие островки Тирренского моря часто служили Риму как ссылочные «места не столь отдаленные» для знатных изгнанниц. Остров Пандатария, ныне Вандатъена, особенно знаменит. Его тюремный список начинается Юлией Старшей, дочерью Августа, супругой Марцелла, Агриппы и, наконец, Тиберия, которого она презирала, как неровню себе, и жестоко обманывала. Отец ее сослал за связь с Юлием-Антонием, сыном великого триумвира. Впрочем, это довольно таинственная история. За какое-то касательство к ней изгнан был на Дунай поэт Овидий Назон, но — чем провинился он сам, и почему Август так рассвирепел на любимую дочь, остается тайной, несмотря на все жалобы и обиняки его *Tristium*. Впоследствии, став сам императором, мстительный Тиберий перевел Юлию с Пандатарии в Реджио в Калабрии и здесь заморил нищетой и суровым за-

точением. Вольтер пустил в ход гипотезу, принятую весьма многими: что ссылка Юлии — следствие не столько родительского гнева, сколько ревности обманутого любовника, — Август якобы сам находился в кровосмесительной связи с Юлией. Но единственный авторитет, которым подтверждается эта гипотеза, — слова полоумного Калигулы: ему недостаточно было происходить от Августа по своей бабушке Юлии; в своем нелепом тщеславии он желал быть потомком чистой Августовой крови и с мужской стороны. Он стыдился настоящего своего деда, Агриппы, нового человека, проложившего себе дорогу в знать личными заслугами, и предпочитал воображать мать свою плодом кровосмешения, только бы не дочерью выскочки. Семейный разврат, взведенный на прадеда распутной фантазией Калигулы, совсем не в характере Августа. Гастон Буассье, блестящий исследователь вопроса о ссылке Овидия, предполагает, что таковая последовала за причастность поэта к любовным грехам не Юлии Старшей, но дочери ее, Юлии Младшей, которую, за распутство ее с Силаном, Августу также при-

шлось выслать из Рима. Она прожила в строгой ссылке, на маленьком адриатическом острове Тремере, ныне Тремити, целые двадцать лет и умерла в конце правления Тиберия. (Ср. том главу I).

Наследницей Юлии Старшей по заточению на Пандатарии была дочь ее от Агриппы, Агриппина Старшая, вдова Германика, бабка Нерона. Сосланная Тиберием по политическим подозрениям, раздутым враждой пресловутого временщика Сеяна, она лишила себя жизни голодом, а вернее, что уморили ее приставы цезаря, отказывая в пище. Эту целомудренную, гордую принцессу гонитель ее также обвинил в прелюбодеянии, не постыдившись настаивать на том даже в посмертном слове о ней к сенату. Любовником Агриппины Тиберий объявил Азиния Галла, известного умника и государственного человека последних годов правления Августа: незадолго до Агриппины он тоже кончил жизнь насильственной, голодной смертью, — и вот, с тоски по нему, якобы умертвила себя и вдова Германика. Дочь Агриппины, тетка Нерона, Юлия Ливилла была дважды ссылаема на Понтий-

ские острова — крошечный архипелаг, недалекий от Пандатарии: сперва — братом своим Калигулой за участие в заговоре Лепида и Лентула Гетулика; потом — по интригам Мессалины — Клавдием, за прелюбодеяние с Л. Аннеем Сенекой. Конечно, то был только номинальный повод, ничуть не объясняющий истинной причины, скрытой в интригах серальной камарильи. Через год второго пребывания на острове Юлии Ливелле было приказано умереть.

В конце памфлетической «Октавии» Хор мрачно вспоминает всех этих изгнанниц, предчувствуя, что новая жертва идет по их дороге.

Обыкновенно, как показывают перечисленные примеры, подобных изгнанниц, даже заведомо обреченных на смерть, убивали не сразу: находили более приличным делать вид, будто их прибрала естественной смертью ссылка. Тиберий, заморив Юлию Старшую в Реджио, рассчитывал, что кончина ее остается незаметной и не покажется общественному мнению насильственной: ведь прошло пятнадцать лет, как сослал ее Август.

Агриппина Старшая сохранялась живой три года. Юлия Ливилла во второй ссылке — год. В отношении Октавии не соблюдено было даже и этой выжидательной пристойности. Ненависть Поппеи неутомимо твердила Нерону старое палатинское правило: только мертвые безопасны. Он дал разрешение убить Октавию.

Жизнь на Пандатарии для девятнадцатилетней женщины, одиноко брошенной среди полицейских приставов и грубой солдатчины, сулила ужасы, и цепко держаться за нее не стоило. Но римляне века Цезарей вовсе не так уже любили умирать, как сложилось о том ложное представление по многочисленным политическим самоубийствам. Уже одно то усердие, с каким стойки пропагандировали выгоды смерти и старались внушить бесстрашие к ней, показывает, что не очень-то было расположено ликвидировать себя могильным концом жизнелюбивое общество. — Жить бессильным, калекой, подагриком, безруким, — только бы жить! — восклицал Меценат, не стыдясь сознаваться, что — единственно, чего боится он на свете, это — смер-

ти; — а после смерти — можете, пожалуй, хоть и не хоронить меня: все равно, природа похоронит. От женщины-полуробенка трудно ждать большего мужества пред смертью, чем от пожилого воина, мудреца и государственного человека. Когда на Пандатария прибыли агенты Поппеи со смертным приговором, Октавия пришла в бурное отчаяние.

— За что я должна умереть? — вопила она. Я уже не жена Нерону, я только сестра его! Грех ему будет убить сестру.

Мотив этот сохранен в «Октавии»:

— *Soror Augusti, non uxor eius.*

Она взывает о защите к манам предков-Германиков, чья кровь равно течет в жилах ее, как и Нерона, поминает имена Германика, Клавдия, Старшего Друза, отца их, и, наконец, даже имя Агриппины.

— Пока ты была жива, — кричит она, я, правда, была несчастна в супружестве, но, по крайней мере, никто не смел посягнуть на мою жизнь.

И это обращение также — не только личное Октавии, а еще вероятнее, что оно вложено ей в уста общим преданием. В «Октавии»

Тень Агриппины является мстительницей за Октавию. Тень Клавдия послала ее из Тартара с проклятием браку Нерона и Поппеи.

Однако, даже и столь грозное вмешательство Октавии не помогло.

Солдаты берут ее, вяжут по рукам и по ногам и перерезывают пульсы. Но несчастная оцепенела от ужаса: кровь чуть каплет из ран. Тогда Октавию отнесли в горячую баню, и бедняжка задохнулась в парах ее. Вероятно, речь идет об одной из тех натуральных, вулканических бань- пещер (*stufra*), которых так много по берегам Неаполитанского залива и на островах к югу и к северу от него. В этих норах, согреваемых подземным огнем, температура держится на 40градR. и выше. Образцы таких бань, славных уже в древности, современный турист видит в Поццуоли, посещая кратер Сольфатары, или *Bagni di Nerone, di Agrippina* близ Байи.

Убийцы отрезали Октавии голову и принесли в подарок Поппее. Сенат, в ответ на грязный указ Нерона и уведомление о смерти бывшей императрицы, по обыкновению, замолел в храмах, принося дары к алта-

рям богов, спасителей государства. Изучая дальнейшую историю этих времен, — сатирически советует Тацит: «Можете быть уверены наперед: всякий раз, что государь предписывает ссылку или убийство, сенат благодарит и молебствует. Религиозные обряды, которые прежде были знамением благополучия в государстве, теперь сделались неизменными спутниками общественного бедствия. Так что, по смерти Октавии, мы предупреждены: какую бы впредь гнусность ни совершил Нерон, — подлое отношение к ней сената подразумевается уже само собой». Тацит обещает сообщать лишь о тех случаях мести и раболепства, которые выйдут из ряда вон своей новизной или уже чересчур чудовищным забвением человеческого достоинства.

Дорифора отравили. Почему-то вспомнили о Палланте и нашли, что старик зажился. Отравили и его, а значительную часть его колоссальных богатств отписали на цезаря. Совпадение смерти Палланта с убийством Октавии, вероятно, не случайное, как и предсмертные вопли Октавии к памяти покойной Агриппины. Мы видели, что грозная мать

Нерона, по смерти Британика, взялась было за Октавию, как за последнее возможное орудие своих планов. Утопающая хваталась за соломинку! Но соломинка не спасла ее, а теперь и сама пошла ко дну... Симпатии к Октавии, завещенные Агриппиной, должны были иметь отголосок и в таком верном агриппинце, как Паллант, и, может быть, вспыхнули теперь в какое-нибудь яркое проявление. Их поторопились погасить вместе с жизнью неудобного старика.

V

Народ жалел Октавию. Много сочувствия было выражено ей уже при отправке на Пандатарю. Эта сцена заключает трагедию «Октавия». Никакая другая изгнанница не возбуждала в римлянах большего сострадания. Сравнивали ее ссылку с ссылками Агриппины, Юлии Ливиллы и справедливо находили перевес несчастья на стороне Октавии. Те хоть успели пожить; в своей страдальческой доле им было о чем вспомнить из милого, светлого прошлого. А эта? Ее не замуж выдали, а в гроб вколотили. Мужнин дом не дал ей

ни одной радости, только плодил печаль за печалью. Отравляют ее отца, потом брата. Хорошенькая вольноотпущенница Актэ совершенно вытесняет жену из сердца Нерона и получает во дворце гораздо больше значения, чем сама молодая императрица. На смену ей появляется Поппея, как будто созданная, чтобы добить Октавию. И, наконец, — мало, что извели несчастную: перед смертью еще осквернили ее репутацию гнуснейшими клеветами.

Никаких волнений гибель Октавии, однако, не вызвала. Повидимому, римский народ даже и в восстаниях оставался трезвым практиком. Он легко и охотно бунтовал, если мог предотвратить бедствие, но, когда опаздывал, покорно мирился с поконченным фактом и по волосам на снятой с плеч голове уже не плакал. *Fait accompli* слишком уж часто принимался народом этим за «последний резон», *ultima ratio*. Горьки и оскорбительны для народного самосознания заключительные стихи «Октавии»:

— **Нашего града добрее Авлида,**
Мягче страна варваров Тавров:

Там даже с богом спорят, нужна ли
Казнь иноземца:

Рим же доволен, что римская кровь пролилась.

(Civis gaudet Roma cruore).

Каким образом допустил народ самую ссылку Октавии на остров после того, как столь горячо принял было сторону императрицы против Поппеи?

Не может быть, конечно, чтобы народ в несколько дней разлюбил молодую государыню, но самозабвенные стихийные движения, подобные недавнему паломничеству черни на Палатин со статуями Октавии на плечах, не повторяются дважды, если не имеют страстных и честолюбивых вожаков. Часть народа молчала, потому что привыкла покорно принимать, как закон, всякое решительное действие верховной власти, каково бы оно ни было; часть выкричалась в палатинской демонстрации и теперь почитала себя уже исполнившей свой долг; часть струсила бичей и копий гвардейского караула; часть могла отстать от защиты своей любимицы, введенная в сомнение упорными клеветами

на нее в указе императора; часть роптала и рада была бы помочь, но чувствовала себя бессильной, не имея авторитета, на кого бы в ропоте опереться. Мы ничего не знаем о Дорифоре, но, если сторонником Октавии выступил Паллант, уже его одного было достаточно, чтобы компрометировать дело молодой императрицы и оттолкнуть от нее весьма многих: надменного и алчного старика слишком ненавидели в Риме, его зловещая близость приносила несчастье.

Сама Октавия менее всех была пригодна явиться не только главой, но даже знаменем какого-либо революционного движения. Это — овца. Ранняя жестокая гибель окружила ее поэтическим ореолом в глазах многих. Об Октавии стали писать чувствительные трагедии уже в древности, — одну из них, много мной цитированную, ошибочно приписывали даже Сенеке. Фаррар в «The Dawn and Darkness» сделал из Октавии христианку. Но ни сведения о жизни, ни картина смерти Октавии, по Тациту, не дают решительно никаких оснований разделять произвольных фантазий Фаррара: у него, как было уже отме-

чено, чуть не все язычники, явно не совершившие кровавых или развратных преступлений, непременно тайные христиане! Та вялая покорность судьбе, которую Фаррар хочет изобразить в Октавии сознательным христианским непотворением злу, в действительности сводится лишь к тупому меланхолическому бессилию воли и действия, так частому у людей с порочной наследственностью, какой судьба, можно сказать, бесприммерно наделила детей Клавдия и Мессалины. Смерть Октавии совсем не запечатлена тем экстагическим мужеством, с каким встречали свое мученичество первые христиане. Напротив, эта злосчастная женщина, смиренно и робко сносившая издевательства мужа, измены, побои, унижения, клеветы, впервые проявила энергию сопротивления лишь пред явной угрозой немедленной смерти, когда палачи пришли убивать ее: запоздалая жалкая вспышка инстинкта самосохранения! Так барахтается и овца, заведев нож мясника.

«Пусть мы умрем неотомщенными!» — клялись римляне даже в шуточном разговоре: так обыденно было убеждение, что проли-

тие крови никому не обходится даром, и насильственная смерть требует мстителя. Чтобы осмыслить Октавию, древнему поэту пришлось сильно налечь на эту ноту. Октавия в трагедии

— женщина-Гамлет: неудачная плакальщица-мстительница рода своего, в которой не погасло горе кровных потерь, но которая

— увы! как-то удивительно гладко вставила его в практические рамки все того же *fait accompli*. У Октавии отравляют отца; над смертью его нагло издеваются во дворце Нерона, с восторженным хохотом цитируя бешеные выходки «Отыквления», в котором Сенека не постеснялся даже указать способ, как Клавдий был убран с белого света. Октавия не только терпит это безобразие, но даже, когда ее начинает обижать муж, становится под опеку Агрипины, главной и откровенной отравительницы Клавдия; становится настолько искренно и доверчиво, что, впоследствии, взывает к ее тени о помощи в минуту смертельной опасности. Британик умер на глазах Октавии. Все кругом трепещут, чувствуя, что совершено преступление; плачет

Агриппина, плачет и Октавия. Но — «Ужинай и веселись!» приказывает ей человек, только что отравивший ее брата. Овца покорно ужинает и делает веселый вид. Если бы Нероном не овладела прихоть непременно сделать Поппею императрицей, если бы он не настоял на грубом разводе и изгнании Октавии, то, по всей вероятности, она, при всех безобразиях и злодействах своего супруга, весьма спокойно прожила бы с ним до конца его дней. Нерон больше боялся ее, чем она заслуживала, и, откровенно говоря, антипатия, которую он питал к ней, далеко не столь возмутительна, как окрашивают ее Фаррар и другие авторы неронианских полу-исторических картин. Все эти подробности говорят скорее об умственной и нравственной приниженности Октавии, чем о величии душевном, в которое хотели ее многие облечь. С именем Октавии не связано в памяти историков решительно ни одного сильного, красивого, симпатичного акта не только действия, но и просто теоретически заявленной воли (Bruno Bauer), хотя недостатка в подобных актах не являет содержание даже таких безнадежных репутаций, как

Агриппина, мать Нерона, и сама Поппея, для которой мог же Иосиф Флавий найти несколько сочувственных слов. Повидимому, самое лучшее, что может сделать в отношении Октавии беспристрастный исследователь, это, вопреки всем идеализаторам, начиная с псевдо-классиков и кончая английскими епископами, признать ее совершенной безличностью, бледным и даже, быть может, слабоумным ничтожеством. Дочь нимфоманки от вечно пьяного дурачка, она почти обязательно должна была родиться малоумной, с тугим соображением, тупой памятью и мало восприимчивой чувствительностью. Угрюмая девочка, данная Нерону в жены волей честолюбивой Агриппины, не нравилась ему с самого детства, хотя не была некрасива. Живого, как огонь, мальчика, очевидно, бесила ее сонная, вялая неподвижность, способная внушить отвращение даже к писанной красавице — особенно юноше, у которого, по русской поговорке, семь бесов по жилам ходило. Наивно изъяснять несходство характеров, рано разлучившее супругов, только тем условием, что Октавия была очень добродетельна,

Нерон же слишком развратен. Пусть Нерон был чудовищем распутства, — однако, не с пятнадцати же лет, когда его женили, и тем менее с тринадцати, когда его помолвили с Октавией. С другой стороны, откуда было Октавии набраться на Палатине чересчур взыскательной добродетели? Наследственность ее мы видели, — она ужасна. Воспитание? В правильности его, начатого такой матерью, как Мессалина, и продолженного мачехой Агриппиной, весьма позволительно сомневаться. Тацит, мимоходом, очертил портрет воспитателя, который был приставлен Клавдием к наследному принцу Британику. Его звали Созибием. Он участвовал, как доносчик-обвинитель, в не однажды уже упомянутом процессе Валерия Азиатика, подговаривал Клавдия к жестокостям, — вообще, представляется, на наш современный взгляд, изрядным негодяем. Так что, когда впоследствии Тацит изъявляет сожаление, что Агриппина заменила при Британике старых его воспитателей своими клеветами, рождается невольное недоумение: каких же извергов рода человеческого должна была она приставить к младенцу,

если даже Созибий был, все-таки, лучше их? Если так дурно воспитывали наследного принца, трудно ожидать, чтобы в лучших руках росла и принцесса.

Да и понятие о добродетельном супружестве в то время было совсем не то, что выработалось после христианской дисциплины, повелевающей «брак честен и ложе нескверно». Марциал — не избалованный самодурством Цезарь Нерон, а простой «богема» бедный, с довольно неприхотливыми вкусами, человек незадачливого литературного труда. Однако, просто диву даешься, читая его эпиграммы к жене своей: столь вычурного разврата, такого любовного фокусничества считает он себя в праве от нее требовать, ссылаясь на мифологические примеры добродетельных супругов, якобы повинных в тех же ухищрениях распутства на законном основании. Уже упоминалась на этих страницах поэтесса Сульпиция, о которой тот же Марциал говорит, что нет ничего игривее, но в то же время и ничего целомудреннее ее стихов: она писала картинки самого сладострастного содержания, но единогласно почиталась непо-

рочно- добродетельной, потому что героем их воспевала своего собственного мужа, которого страстно любила и оставалась ему верна. Быть одномужницей, *univira*, не разводясь без толку, по одной прихоти и не считая потом мужей по консулам, — вот добродетель замужней римлянки эпохи Цезарей. А как слагаются любовные отношения между самими супругами в стенах их дома, в такие тонкости Рим не входил. На это посягнула надзором лишь торжествующая и огосударствленная христианская церковь.

ОРГИЯ

I

Ужасы и торжества сменялись на Палатине беспрерывно пестрой чередой, почти не смущаемой ходом событий во внутренней и внешней жизни империи. Поппея отбросила палатинский двор на двадцать лет назад, к серальным нравам Клавдия и Мессалины. Утопая в удовольствиях, пиროваньи, дилетанских забавах, тесно обособленный мирок выскочек-богачей и новой аристократии образовал вокруг Нерона как бы род веселого государства в государстве, где очень много, страстно и подробно занимались личной жизнью и взаимными отношениями, но чрезвычайно мало интересовались жизнью и отношениями общественными. Радости и успехи империи все-таки привлекали к себе некоторое внимание палатинского государства в государстве, потому что давали повод к устройству празднеств, к раздаче наград и пожалований, к производствам и назначениям

знаков отличий. Но, когда над Римом собирались тучи, чреватые громом, Палатин старался их не замечать. Между тем, грозы надвигались все ближе и решительнее. Особенно сурово был омрачен ими восточный горизонт. Зловещие облачка на нем сверкали молниями уже в последние годы правления Клавдия; при переходе власти к молодому Нерону они сгустились в черные тучи. Правда, они не слагались в густую пелену постоянной непогоды, и сквозь них улыбалось иногда Риму солнце успеха. Но совсем уйти с неба они не хотели, а по смерти военного министра Афрания Бурра и удаления от дел Л. Аннея Сенеки, точно улучив благоприятный момент, тесно сплотились, затянули горизонт и зарокотали громом. После многих лет «вечного мира», — правда, всегда фальшивого, непрочного и много раз прерванного враждебными столкновениями, похожими на ту неофициальную, без объявления войны, что мы, русские, вели в 1900 году с Китаем, — вспыхнула, наконец, настоящая открытая война, с могучим шахством Парфянским, извечным врагом-соперником Рима в движении его в глубь Азии.

Но и этому осложнению, не однажды создававшему для Рима самые критические и щекотливые положения (особенно после позорной капитуляции бездарного генерала Цезенния Пета при Рандее), не суждено было встряхнуть и выпрямить исковерканное общество. Блестящий военный талант главнокомандующего сирийской армией К. Доница Корбулона сломил армено-парфянские силы, а дипломатические его способности помогли установить мир, выгодный для побежденной стороны. Армения осталась царством автономным, но вассальным, и царь ее Тиридат, герой минувшей войны, удалой джигит, азиатский прототип Мюрата, должен был приехать в Рим на поклон Нерону и получить корону свою из его рук. Двор, ничего не делавший во время войны кроме глупостей, только совавший издали главнокомандующему палки в колеса, воспользовался визитом Тиридата, как удобным предлогом к новому взрыву торжеств, празднеств и оргий.

В дипломатическое паломничество свое Тиридат отправился в конце 65 года по Р. Х.; с ним ехали, как заложники, дети его шаха Во-

логеза и Пакора и Монобаз, шейх адиабенский. Тиридат путешествовал с неслыханной роскошью, сопровождаемый, помимо римского почетного караула, тремя тысячами всадников из своей гвардии. Путешествие продолжалось девять месяцев, обходясь Риму ежедневно около 70.000 рублей. Всю дорогу Тиридат сделал верхом. Рядом с ним скакала его супруга, под золотым шлемом, вместо головного убора, требуемого обычаем страны ее. Путь Тиридата был сплошным триумфальным шествием; всюду его принимали как полубога, забавляли, баловали, старались и, кажется, успели ослепить его великолепием и могуществом Рима. Нерон принял Тиридата самым любезным и дружеским образом, выехав для встречи парфянского принца в Путеллы (Поццуоли), где потешил его гладиаторскими играми, участие в которых принимали исключительно мавры. Въезд Тиридата в Рим и затем торжественная коронация его в армянские цари на форуме, в присутствии сената, гвардии и несчетных толп народа, были обставлены с безумной роскошью, равно как и все празднества, сопряженные с этим поли-

тическим событием. Достаточно указать, что для спектаклей гала в честь высокого гостя был вызолочен театр Помпея. Позолота, говорит Дион Кассий, покрывала не только портал сцены, но всю внутреннюю отделку театра; полог, раскинутый над зрительным залом, в защиту публики от солнца, был пурпурный, с вышитым посередине изображением Нерона, управляющего колесницей, в ореоле золотых светил небесных. В какие бешенные деньги обошлась Неронову министерству двора эта декоративная роскошь, можно судить предположительно по обширным размерам театра Помпея: он вмещал 17.580 зрителей. Это — старейшее из постоянных театральные зданий в Риме, особенно излюбленное и посещаемое публикой. Его открытие состоялось в 699 г. а.у.с. — 55 до Р. Х. Когда Кн. Помпей Великий созидал его, сенат имел продолжительные и резкие дебаты: дозволить ли в театре устройство постоянных мест для сидения? Боялись, что римское гражданство, получив такое удобство, будет проводить в театре слишком много времени, избалуется, отобьется от государственных интересов. Всего

сто двенадцать лет прошло от этих суровых, презрительных к искусству нравов, и — вот, актер, в лице императора Нерона, правит Римом и миром, а театр сравнялся в государственном значении с дворцом и Капитолием, став местом действия для высочайшего политического акта — приема в подданство иностранного государя, триумфа над побежденным врагом. Ведь Нерон привел Тиридата в театр прямо с форума, где только что короновал его, и увел из театра — прямо на Капитолий, чтобы, в торжественной церемонии, затворить храм двуликого Януса — в знак того, что государство умиротворено и в римских пределах нет больше войны.

В Главном цирке, — Нерон только что перестроил его после знаменитого пожара 64 года на 250.000 зрителей, — устроили для дорогого гостя грандиозные бега. Ристалище, на сей торжественный случай, усыпали песком, окрашенным в зелень примесью медной окиси (Chrysocolla), — во славу цирковой фракции зеленых, которой покровительствовал и за которую держал постоянное пари император. Нерон лично выступал на сцену и на аре-

ну в этих зрелищах, не жалея, таким образом, для потехи царственного азиата даже собственного своего сана и достоинства. Конечно, это было уже совершенно излишним пересолом в любезности, и, говорят, будто Тиридат, видя Нерона то в костюме кучера фракции зеленых, с круглым колпаком на голове, то в одеянии Кифарэда, не умел воздержаться от выражения досады и презрения. Хотя вероятнее, что римские историки навязывают в этом случае Тиридату свои собственные чувства. Конечно, свежий человек должен был весьма ошеломиться зрелищем цезаря-комедианта, но Тиридат, кажется, сумел не ошеломиться. Если бы он увез из Рима дурное и презрительное представление о Нероне, как о каком-то шуте гороховом, вряд ли смогла бы возникнуть на Востоке та популярность Нерона, которая, родясь из фактов и легенд именно этой поездки, держалась затем незыблемо добрые пятьдесят лет.

Тиридат получил богатые дары и разрешение вновь отстроить разрушенную Корбулоном могущественную крепость Артаксату, вторую столицу Армении, с тем, чтобы она

была названа Неронией. Цезарь даже помог недавним врагам деньгами и рабочими. Гостеванье парфянского принца в столице мира стоило римскому государству свыше 400 миллионов сестерциев, т.е. более 40 миллионов рублей. Впрочем, — замечает Гертцберг, — эти деньги были выброшены не вовсе даром: царственное очарование Рима, унесенное Тиридатом и его спутниками-парфянами в Армянские горы, поддерживало на Евфрате мир и дружество в течение почти полувека. Что касается лично Нерона, он, в глазах парфян, стал и пребыл навсегда чем-то вроде живого воплощения на земле бога Митры, как и назвал его Тиридат, когда, коленопреклоненный, принимал от него диадему. Шах Вологез тоже получил от императора дружеское приглашение побывать в Риме и, — хотя отклонил его, боясь поставить себя в двусмысленное положение гостя-пленника — однако отнесся к нему как к любезности, а отнюдь не посягательству на умаление своего достоинства. Он выразил даже неременное желание повидаться с императором, когда тот приедет в свои восточные провинции, как Нерон то-

гда собирался. Восторженная любовь парфян к Нерону на много лет пережила его самого.

По смерти Нерона Восток искренно жалел о нем. Во время дальнейшего междоусобия в римском государстве, сменившем в течение года четырех императоров, шах Вологез соблюдал строгий нейтралитет и воздержался от легко возможных при такой неурядице земельных захватов на сирийской границе. Но вместе с тем он едва ли еще не разделял тогда веры многих, что Нерон жив и только скрывается. Молва народная даже и предполагаемое тайное бегство цезаря направляла в области парфян. Быть может, именно в этом сомнении надо видеть причину первоначальных колебаний Вологеза, признать ли ему Веспасиана законно избранным императором Рима? Он признал Флавиев, лишь убедясь, что они восторжествовали над эфемерными претендентами минуты, а наследственный государь, т.е. в его понятиях, потомок Августа, Нерон — действительно лежит уже в гробу. Первое же посольство шаха Вологеза к новому правительству Рима требовало, в числе других пунктов своего ходатайства, чтобы

память Нерона была свято почитаема римлянами, окружена благоговением и культом. Лже-Нероны, появлявшиеся время от времени в течение всей эпохи Флавиев, до Домициана включительно, неизменно встречали у парфян сочувствие и поддержку. А один из них даже и появился в Парфии, подобно тому, как Польшей — для разрушения новой московской династии Бориса Годунова — был создан в лице первого Лже-Димитрия грозный, мстительный призрак старой династии Рюриковичей, только далеко не с такой удачей.

Итак, военные грозы на Востоке прогремели напрасно. Спасительного урока, которым иногда освежают несчастные кампании загнивший правительственный режим, Рим не получил. Напротив, новая удача, убедившая и народ, и принцепса, и правительство в несокрушимой военной мощи государства, наполнила атмосферу Рима дурманом надменнейших миражей и самообманов, разлило по Вечному Городу чуть не эпидемию ликующего безумия, потянула будничную жизнь в бесполое вечною праздника. Тон ему давался, конечно, с Палатина. Веселый двор

Нерона и Поппеи пел, танцевал, забавлялся любительскими спектаклями, художественным и поэтическим дилетантством, удивлял вселенную пьянством, обжорством и безудержным половым развратом. Дикие безобразия, которые, по описанию Тацита и Светония, стал именно в эту пору позволять себе Нерон, — если даже сбавить с рассказа историков добрые девять десятых за счет сплетен и недоброжелательства — все-таки остаются ужасными. Для этих дней Нерона вполне можно принять мнение Видемейстера: ум цезаря, отравленный дурною наследственностью, печальными последствиями безобразного воспитания, поверхностным образованием с начитанностью без системы, юношеским пьянством и беспутною праздностью, тяжкими реакциями духа после ряда политических и семейных преступлений, совершенных ради Поппеи, — ум этот, уже от природы более блестящий и игривый, чем глубокий и основательный, начал быстро мутнеть и разлагаться.

Направление, в котором падал гибнущий цезарь, к несчастью, делало болезнь его мало

заметною для окружающих. Они считали ее просто капризами развратной избалованной натуры. Одни проклинали Нерона, как деспота, одуревшего от обжорства властью, с жиру взбесившегося и негодяйствующего сознательно и умышленно. Другие — кому систематическое погрязание цезаря в пучине всяких пороков было на руку — прославляли разнузданность его, как нечто сверхчеловеческое, соревновали ей, даже старались превзойти ее.

Страшная половая распущенность и неестественно приподнятая артистическая чувствительность — вот два полюса, между которыми закачалась роковая мания Нерона. Вдали от этих полюсов он, по-прежнему, лишь малозаботливый и легкомысленный человек, каких в любом большом свете — тысячи. И только та беда, что судьба поставила его государем. В своем частном быту он просто, как говорится, душа общества, с приятными компанейскими талантами на все руки. Но — как скоро воображение рисовало Нерону миражи половой страсти или артистического идеала, или, что было особенно опасно,

перемешивало в его одурманенной голове вместе низости первой с фантастическими высотами второго, — цезарь терял всякую власть над собою: для него не существовало тогда ни государственных обязанностей, ни общественных приличий, ни нравственной порядочности.

Я сказал несколькими строками выше, что болезнь Нерона было трудно заметить и признать людям его века. Следующие слова мои о сверхчеловеческом разврате Нерона на первый взгляд как бы противоречат этому положению. Казалось бы - - как не понять, что у человека «не все дома», если он, вдруг вообразив себя женщиною, выходит замуж за своего лакея, издевается над священными обрядами государственной религии, публично срамит себя точнейшею и бесстыднейшею пародией на брачную ночь? А знаменитый пир на прудах Агриппы, под распорядительством Тигеллина, когда Нерон, проэкзаменовав шалопаев своей свиты, кто из них какою мерзостью грешен, сажал самых отчаянных сладострастников на почетные места, тех же, кто сохранил еще хоть какой-нибудь стыд, помещал ниже?

Когда Тигеллин, зная, чем можно угодить Нерону, обстроил берега пруда лупанарами — пародиями на любезные сердцу императора притоны Мильвиева моста? Когда, в вертепах этих, вместе с нагими проститутками, принимали «гостей» знатнейшие дамы Рима, обязанные безотказно исполнять желания посетителей, как бы ни были они гнусны и дики? Эту безумную ночь сильно и ярко, хотя и в чересчур условно-романтическом тоне вообразил и написал Сенкевич. Но, разумеется, его художественная натура, зная чувство современной литературной меры, не пошла следом за рассказами историков до конца. Он не решился показать читателям Нерона, зашитым в медвежью шкуру, бегающим на четвереньках, как зверя, отдающего фантастически-звериным ласкам. Этому «гению распутства» мало скотствовать физически, — ему надо еще любоваться величиим своего скотства. Автор и исполнитель греха сочетались в нем воедино со зрителем и критиком, оценивающими эффект греха и новость или изысканность его процесса. Он — актер. Желая испытать страсти четвероногого, он играет четве-

роногое с такою же натуралистическою добросовестностью, как игрывал на сцене роды Канацеи. Выйдя замуж за вольноотпущенника Пифагора, он приложил все силы своего сценического таланта, чтобы правдоподобно, подробно и жалостно разыграть ужас и смущение невинной новобрачной, в чем и преуспел блистательно, как уверяют Светоний и Тацит. Умерла Поппея. Путешествуя по Греции, Нерон видит Спора, хорошенького мальчика, разительно на нее похожего. Недолго думая, он женится на Споре — опять-таки с кощунственным соблюдением всех священных обрядов. Затем дает ему титул императрицы, окружает собственным двором с гофмейстериною, в лице Клавдии Криспиниллы, которую Тацит назвал впоследствии *magistra libidinum Neronis*, профессорша Неронова разврата, — сажает рядом с собою на трон даже будто бы при торжественных приемах и т. п. Осквернены религия, святость государственного сана, — Нерон знать их не хочет. Больше того: он не желает считаться даже с волею самой природы. Цезарю противно, что новая жена его — все-таки мужского пола. Казалось

бы, недостаток непоправимый. Но нет: разве есть что-либо невозможное для Нерона? Врачам приказано: переделать Спора в женщину Сабину (в память Поппеи). Над несчастным проделывают безобразнейшую операцию — и красавец превращается если не в красавицу, то в весьма красивое бесполое существо среднего рода. Любопытно, что горемычная участь этого злополучного не изменилась к лучшему даже со смертью Нерона. Когда, во время междоусобия, в ожидании Гальбы, власть захватил было на короткий срок преторианский префект Нимфидий Сабин, первое, что совершил он, чтобы ознаменовать свое торжество, — послал за «Поппеею»-Спором... Труп Нерона в это время даже не был еще погребен.

Этот Нимфидий Сабин, Тигеллин, Отон, Петроний и другие львы Неронова двора — живые ответы, почему половой психопат, вроде Нерона, был трудно отличим в общей среде. Века следующей христианско-государственной культуры, конечно, не изменили основ нравственности, ибо не изменили существа натуры человеческой. Нравственность

не меняется, меняются только ее нормы и компромиссы. Но изменилась дисциплина нравственности — изменился взгляд государства и общества на отношения между «мощью духа» и «слабостью плоти», в пользу преобладания власти духа, т. е. моральных норм, над похотями тела, то есть над физиологическим эгоизмом потребностей. Это основное практическое требование христианской этики было в мире культуры языческой не более как добрым теоретическим советом. «Могий вместити да вместит» — лозунг, лишь однажды снисходительно поставленный христианством, как уступка слабой плоти прозелитов, но в языческой философии — девиз всего ее практического применения. Необычайная высота мысли и крайняя развинченность волевых проявлений — характерные черты лучших умов века. Трудно вообразить этика более чистого и глубокомысленного, чем Сенека, поэта более восторженного и героического, чем Лукиан, сатирический ум, более правдивый, смелый и прямо направленный, чем ум Петрония. Между тем, жизнь этих людей, рассматриваемая не только с точки зрения

христианской этики, но нравственных теорий, ими же самими проповедуемых, — сплошное безобразие.

Христианская идея самоотвержения во имя спасения духа есть отрицание внешней культуры, создаваемой во имя земного комфорта и благополучия плоти. Культура буржуазно-экономического происхождения может заимствовать у христианской дисциплины этические имена и условные формы, но не в состоянии ужиться с ее духом. Это — две силы, взаимно антипатичные по существу. Их вековое сожитие — история параллельной приспособляемости, во взаимностях которой сперва *de nomine* выигрывает этическое начало, но в конце концов фактически торжествует культурный эгоизм. И вот: в обществах, достигших высших точек своего культурного развития и осужденных отныне катиться под гору, — огромное большинство членов — за немногими исключениями, относимыми к разряду чудачеств, — неминуемо оказывается под властью самых покладистых компромиссов между этическим требованием и выгодами культуры. Идея долга обращается в тео-

рию, которую надо принимать к сведению, ибо знание ее отличает человека просвещенного и порядочного от темного подлеца и невежды. Но практика жизни создается из удовольствия. А так как удовольствия полные наиболее властны над человеческим организмом, то предзакатные эпохи высоких культур неизменно сопровождаются широкой половой разнузданностью и апологиями плоти против суровых упреков взыскательно протестующего духа. Так, — одинаково, — в великих семитических культурах древнего Востока, в Египте, Греции, Риме, в изяществе и колдовстве Ренессанса, в аристократической культуре Франции XVIII века, в ницшеанских трепетах и порывах на пороге века двадцатого. Если мы сравним литературу современного буржуазного декаданса с римской литературой I века, то на стороне первой окажется лишь перевес условного лицемерия в языке, истекающего из пережитков страха пред дисциплиной христианской цензуры. Римские писатели этого злополучия не знали и потому смело говорили слова там, где нынешние принуждены еще, скрепя сердцем,

обходиться полусловами. А темы — одни и те же, одно и то же отношение к ним. На десяток рассказов и повестей современной литературы, обрабатывающей половые сюжеты в угрюмые драмы и трагедии Гофмансталя, Леонида Андреева, Сергеева-Ценского и др., приходится сотни подобных же рассказов, повестей, даже романов, где сюжеты эти обрабатываются, наоборот, с искреннейшими симпатиями к веселому греху, заповеданному прародителям нашим змеем искусителем у райского древа познания добра и зла. Достаточно вспомнить жеманное гомосексуальное блудословие г. Кузмина и покойной Зиновьевой-Аннибал.

Завоевывающая себе литературное оправдание грешная плоть требует себе также оправдания и места в жизни. Только лицемер, упорно закрывающий глаза на действительный смысл вещей, способен, прочитав труды Крафт-Эбинга, Маньяна, Тарновского, Мержеевского, Ломброзо, Фореля, Гавелок Эллиса и других исследователей тайн половой психопатологии, уверять, будто наше мнимохристианское время хоть сколько-нибудь

исцелено от извращенных, страшных «языческих» пороков, «глубин сатанинских», какими пугают наше воображение страницы Светония, Петрония, Лукиана. Простой статистический подсчет укажет нам, что на любой цинический рассказ древнего писателя действительность современной клинической летописи отвечает десятками, даже сотнями живых иллюстраций из текущей медицинской и уголовной практики. Разница в том лишь, что языческая этика считала извращенный порок если не дозволенным, то, по крайней мере, терпимым, как бытовой грех домашнего обихода, с которым домашняя дисциплина и ведалась, а государство в непосредственную борьбу с ним не вступало. Поэтому он торжествовал открыто или под легкую вуалью. Когда Нерон опозорился скандальным браком со Спором, римляне отделались от этого приключения острою, что жаль, — мол, что отец Нерона женат был не на особе такого же рода! Император Клавдий, болезненно сладострастный вообще, не имел гомосексуальных склонностей, — историки отмечают это почти с изумлением, словно аномалию. Педера-

стия была откровенным пороком философов стоической школы, все светила ее подвергались этому обвинению и принимали его более, чем равнодушно (Dollinger). Теперь же извращенный порок, — грех против религиозно-общественной этики и преступление против уголовного закона, ею вдохновляемого, и потому пожирает жертв своих только тайно. Этих секретных и полусекретных грешников мы теперь считаем больными, безумными. Однако, не настолько, чтобы насильственно удалять их из общества. Такая судьба постигает лишь тех несчастных, кто осложнил свое половое безумие каким-либо вредным и опасным противообщественным проступком, нарушившим права других лиц. Половые безобразия, сами по себе, независимо от физического вреда, который они приносят, с каждым днем теряют в глазах «культурных людей» свой характер непозволительного преступления. Закон уже смотрит на них сквозь пальцы, смягчает и кары, и право, и условия преследования. Талантливый поэт, артист, музыкант, государственный человек, высокопоставленный общественный деятель, обвиняе-

мый молвою, хотя бы даже доказательною, в противоестественных слабостях и наклонностях, не возбуждают всеобщего отвращения. И аплодируют им, и руку жмут охотно, и на должности их назначают, и ордена им дают. Средневековые костры за половое нечестие давно погасли. Брокенский козел победил синайского законодателя. Жестокая обличительница этических условных лжей, статистика, дает для современного европейского общества на каждых 200 нормальных человек одного, удовлетворяющего свои половые страсти извращенным способом, причем вычисление это сделано для средней Европы с оговоркой о значительно большем проценте подобных субъектов в Венгрии и у южных славян. Вряд ли надо слишком сильно умножить этот процент современного порока тайного для явных пороков языческой культуры. Разница эффекта безнравственности зависит здесь, главным образом, не от распространенности, но от меры публичности ее. Скандалы германского двора, в разоблачениях Максимилиана Гардена, ничуть не выше, по нравственному своему значению, романа Нерона

с Пифагором. Но сумасшедший прусский граф Эйленбург дурачился в стенах своего замка, а сумасшедший римский император имел решимость и возможность выносить свой срам на улицу. Только и всего.

Скажут: в наше время все же никому в голову не придет идея о кощунственных браках, пародиями на которые так любил забавляться Нерон. Увы! Нельзя ручаться за будущее. Эволюция обычная. Порок перестает быть основным этическим преступлением против общества и превращается в проступок против личности, представляемый частному преследованию. Проступок вырождается в непохвальный, но терпимый грех. Грех — в странность. Дозволенная странность требует себе прав.

С 1864 по 1880 год в Лейпциге у Отто и Кадлера вышла целая серия работ по социальной физиологии некоего советника Ульрикса, озаглавленных в большинстве латинскими титулами — *Vindex-Inclusa*, *Vindicta*, *Formatrix*, *Ara spei*, *Gladius furens*. Критические стрелы. Идея этих статей — что «половое чувство не имеет отношения к полу». В мужском теле может за-

ключаться женская и женскими страстями одаренная душа (*anima muliebris in corpore virili inclusa*) и, наоборот, женщина по телу может обладать душою и страстями мужчины. Ульрике настаивал, что явление это, которое он назвал «уранизмом», есть лишь физиологическое исключение, а отнюдь не патологическая аномалия. На этом основании он требовал, чтобы закон и общество относились к любви урнингов как к явлению совершенно дозволительному и естественному и советовал даже разрешать браки между лицами одного и того же поля, которых судьба создала с урнингическими наклонностями. Нельзя не согласиться, что мальчишеские выходы развратного и пьяного юноши-язычника, которому было «все дозволено», оставлены обдуманной и научно поставленной теорией Ульрикса, старого ученого-христианина, далеко за флагом. А процесс Оскара Уайльда? А столь много нашумевшие разоблачения «Pall Mall Gazette» о подвигах английской родовой и коммерческой аристократии в лондонских трущобах? А записки Горона? А Эйленбург? А гомосексуальные радения — «лиги

любви» — в современной России? А повести, в которых участники гомосексуального приключения предварительно молятся коленопреклоненно пред «иконами, приведшими де нас к общей радости»? Если урнингизм пытается переползти порог этики, его воспрещающей, — это симптом, пожалуй, поярче того, что две тысячи лет тому назад он откровенно переползал порог этики, к нему совершенно равнодушной.

«Я слышал от некоторых, — говорит Светоний, — будто Нерон высказывал твердое убеждение, что стыд не свойствен природе человеческой, равно как нет в человеческом теле частей, обреченных на целомудрие, но что большинство людей только скрывают свои половые пороки и ловко притворяются целомудренными. Поэтому он извинял все другие пороки тем, кто откровенно предавался в его обществе похабству (*professis apud se obscoenitatem*). Эта проповедь упразднения стыда откровенно развивалась в XV веке забубенною литературою Италии, в XVII — Англии, в XVIII — Франции, в конце XIX и в XX — России. В одном подпольно-порнографиче-

ском французском романе, приписываемом перу Альфреда де Мюссе, изображается общество, члены которого обязывались клятвой именно — как требовал Нерон — совершенно упразднить половой стыд и стараться довести тело свое до такой изощренности, чтобы каждую часть его можно было использовать в целях сладострастия.

Лишь таинственность современного полового порока, еще стесняемого сче́тами с воспоминаниями о христианской дисциплине, позволяет нам легко угадывать аномального субъекта в человеке, предающемся распутству нагло и откровенно. Яркий порок выступает на мутном фоне нашей жизни одиноко и рельефно и потому кажется явлением исключительным. Но в Риме Цезарей, когда удовольствие любви почти не считалось с полицией нравов, различить в этом омуте сладострастия, где кончался просто развратный сластолюбец и где начинался уже безумец, половой психопат, было, конечно, задачей гораздо сложнейшей, чем в наши дни. И чтоб внушить подданным своим некоторые подозрения относительно своей психической

анормальности, Нерон должен был сотворить что-нибудь такое ужасное, отчего в испуге отшатнулись бы даже Тигеллин, Петроний, дамы Ювенала, гости Тримальхионова пира. Удивить же эту публику каким-либо извращением или излишеством было почти невозможно. Век, который имел настольною книгою Satyricon, когда стены домов разрисовывались карикатурными фаллусами Геркуланума и бесстыжими фресками Помпеи, имел очень мало шансов различить сладострастного безумца от сладострастничающего умника.

II

Половая психопатия выражается или чересчур грубою первобытною энергией животной страсти или наоборот, чрезмерною утонченностью, вычурностью форм, в которых она находит осуществление. И опять-таки повторю старое положение: грязная изобретательность полового разнообразия идет в обществах параллельно с культурою комфорта и благ мира сего. И люди высококультурные, будучи подвержены половому безумию, опаснее для общества и нравственности, чем са-

мый сладострастный из сладострастных павианов.

Вычурность эта переходит в дерзость выдумки. Волнует и влечет к себе уже не красота, а препятствие к овладению красотой, удовольствие восторжествовать над запретным плодом, наглумиться, насмеяться. Кому из людей, совершенно здоровых духом и телом, не случалось ловить себя, в самые торжественные и благоговейные минуты жизни, на том, что в голову вдруг начинают лезть совершенно произвольные мысли, странные, капризные, часто непристойные, отвратительные? Монахи считают такую нервную реакцию мысли дьявольским искушением.

Человек с невредимую нервную систему подобные искушения легко от себя отгоняет. Но неврастеник, с расшатанною деятельностью задерживающих центров, быстро оказывается во власти порочной мечты, и с необычайною легкостью и настойчивостью переводит намерение в действие. Таково огромное большинство современных проступков против нравственности, бесконечную пестроту которых Крафт-Эбинг, Маньян e tutti quanti

дробят на категории разных садизмов, мазохизмов, фетишизмов и т. д. И конца этому дроблению не предвидится, ибо чудачества половых фантастов быстро обгоняют классификацию.

Вообразите теперь, что половой фантаст, с таким болезненным и неутомомно настойчивым воображением, всемогущ. «Афродитские дела», которыми князь Курбский язвил Ивана Грозного, ужасны в том виде, как описывает их хотя бы Петр Петрей. Но ведь Ивану Грозному, царю малолюдной, малокультурной, темной и серой северной страны, было не угодиться полетом всемогущих капризов за изящным, избалованным, извращенным аристократом-дегенератом, каким, в лице Нерона, судьба увенчала здание римской цивилизации. Иван Грозный был всемогущ над подданными, но далеко не всемогущ над самим собою. Он был человеком глубокой веры в Бога, в закон Христов, в истину и необходимость христианской дисциплины, в возмездия ада и рая. Энергии греха в жизни его соответствовала энергия покаяния. Он — ужасный пример воли, сознательно, но бессильно

борющейся с прирожденным ей злом, изыскивающей себе оправдания, громоздящей грех на грехе, преступление на преступление, чтоб заглушить свой страшный разлад, отчаяние и ненависть к самому себе. Нерону же было «все дозволено». Он сам говорил, что до него цезари не знали, как далеко может посягать власть государя. Не в чем было ему считаться и с самим собою. Трудно вообразить атеиста более цельного и бесстрашного. Римская государственная религия, которой он был первосвященником, шла, в среде интеллигенции I века, как обязательная и формальная, — не в счет. Ее внешне-обрядовое исполнение каждым римским гражданином подразумевалось само собою. Но разве лишь для весьма немногих из образованных людей эпохи она хоть сколько-нибудь была внутреннею религиєю духа. Изида, Сирийская богиня, Митра, Яхве, философские системы Зенона и Эпикура, проповеди мистиков вроде Аполлония Тианского, разбивали римское общество на множество толков и сект, впоследствии, в эпохе Северов, выработавших формы синкретического всеязычества — пан-паганизма, так

сказать — построенного на основах философской взаимоотноимости. Не принадлежать ни к одному из этих толков, довольствуясь лишь официальным вероисповеданием, значило жить без религии вовсе, ибо национальная римская религия — не религия, но лишь повелительный государственный символ. Из окружающих Нерона приближенных Поппея — иудаистка, Сенека, Бурр, — стоики-сократики, весьма близко подходившие к христианской этике, Лукиан, Петроний — эпикурейцы на римский лад и т. д. Нерон не хотел следовать ни одной из новых вер, все их презирал, как презирал и философию. Почтительнее, чем к другим, относился он некоторое время к Сирийской богине, но в один прекрасный день безумный каприз подсказал ему: а не осквернить ли мне и это божество? Посмотрим, что выйдет? И он бесцеремонно осквернил статую богини и — так как ни гром его за то не поразил, ни руки-ноги не отсохли — то он с презрением выбросил из своей божницы и этот бессильный кумир. Он не постеснялся, когда врач прописал ему холодные ванны, купаться в священном источнике

Aqua Marcia. Схваченная в ледяной воде горячка ни мало не научила его набожности в дальнейшем. Дельфийский оракул, понадеявшись на свою многовековую неприкосновенность и высший авторитет, позволил себе укорить цезаря матереубийством, сравнив его с Орестом и Алкмеоном, мифологическими предшественниками по преступлению. Нерон сейчас же наказал дерзкое божество, конфисковав земельное имущество храма и приказал засыпать пресловутую вулканическую расселину, над которой помещался треножник вдохновенной пифии. Когда враги истмийского проекта окружили работы по прорытию Коринфского канала суеверными слухами, — стали являться привидения, застонала и забрызгала кровью земля под кирпичами, — Нерон нисколько не испугался всех этих страстей. Тотчас явился к месту действия и, вопреки даже предубеждению, что предприятие это — *jettatura*: приносит несчастье всякому, кто за него берется, самолично открыл работы по каналу, трижды ударив в землю золотым заступом. Послы Нерона объезжают все уголки Греции и Италии, грабя по

храмам произведения искусств. Даже сам он, лично, стянул у феспийцев их художественное сокровище — Праксителева «Эрота» из пентеликского мрамора. Несчастливая статуя эта много путешествовала. Первым отнял ее у феспийцев Калигула, а Клавдий им ее возвратил. Нерон увез Эрота обратно в Рим, и здесь драгоценный мрамор погиб, пав жертвою пожара (Pausanias). Нерон не прочь был наложить руку и на святыни Рима — и скорее не успел, чем побоялся подступить к ним.

Немногочисленные случаи, когда Нерон проявлял мистический страх, надо относить скорее к его неустанному театральничанию, чем к настоящей впечатлительности. В 64 году он затеял было большое путешествие через Грецию. Все было готово к отъезду, цезарь прощался уже с народными святынями Рима, служа напутственные молебны. Однако прощанье было лишь красивою игрою для народа. Двор прекрасно знал, что политические события на малоазиатской окраине и денежные затруднения не позволят цезарю осуществить предположенную поездку. Тем не менее, к ней декоративно готовились. Был из-

дан манифест, возвещавший народу день отъезда, успокоение, что отлучка государя из столицы будет непродолжительна, и надежду, что республика, столь блестяще и прочно поставленная правительством, останется за этот короткий срок вполне спокойною и безмятежною. Чтобы внезапно отменить дорогие и торжественные приготовления, не возбуждая дурных толков и подозрений — с должным эффектом и выгодною молвою о себе, — Нерон проделывает следующую комедию. Спокойно поклоняясь богам Капитолия — Юпитеру, Юноне и Минерве, он направляется в древнейшее, таинственное святилище Рима, в монастырь Весты, развалины которого турист и сейчас видит в промежутке между Форумом и Палатинским холмом. Но, едва приблизился он к очагу загадочной богини огня и девственности, как задрожал всем телом, являя признаки сверхъестественного ужаса, едва не упал в обморок и поспешил покинуть святилище. Молва, конечно, не замедлила разнести событие по городу... Враги цезаря говорили, что Веста, как целомудренное божество семейного начала, не допустила

Нерона к алтарю своему, явив ему грозное видение, и он бежал, терзаемый упреками совести за свои преступления. Друзья — что Веста, действительно, явилась цезарю, но — с предостережением не покидать Рима и народа, опечаленного и смущенного разлукою со своим государем. Чернь, в самом деле, была недовольна отъездом Нерона, потому что отсутствие императора обрекало ее скучать без игр. А главное — Нерон, беспечный во всех отраслях правления, был весьма заботлив относительно даровой раздачи пролетариату зерна и регуляции цен на хлебном рынке. Толпа боялась, не заставила бы без него дурная администрация ее голодать. (Ср. в предшествующей главе *anno*).

Льстивое объяснение Нерона об отмене поездки гласило:

— Любовь к отечеству говорит во мне громче всех моих личных желаний; обязанности к Риму я ставлю выше своего собственного хотения. Я видел скорбь на лицах граждан, я слышал тайные жалобы. Они сетовали, что я вознамерился отправиться в столь продолжительное путешествие, тогда как им бы-

ли в тягость даже и кратковременные мои отлучки. И они правы, потому что привычка видеть своего государя является для них успокоительной гарантией против внезапных общественно-политических катастроф. Как в частном быту — первая обязанность ближайших родственников блюсти общие интересы семьи, так и в государстве, которое есть моя семья, я должен согласоваться с повелительной волей народа. Весь Рим хочет, чтобы я остался, — и я остаюсь.

Чернь рукоплескала, благославляя Весту, напугавшую императора. Испуг, однако, был невелик и непродолжителен. Если верить памфлетистам эпохи, то вскоре из этого же самого монастыря, якобы столь ему грозного, Нерон, без всякого страха, похитил игуменью его, прекрасную деву Рубрию, изнасиловал ее и возвратил затем к жреческим обязанностям, высочайше приказав считать ее по-прежнему девицею. Это было неслыханное оскорбление самых священных основ римского культа. Восьмисотлетняя история монастыря Весты, конечно, знала примеры нарушения монахинями целомудрия, но устав карал

преступных смертною казнью. Еще четверть века спустя по Нероне Домициан, соблюдая древний закон, зарыл живую в землю прелюбодейную весталку и казнил ее любовника. Но именно вычурная уродливость греха, эффект святотатства, сверхчеловеческий соблазн осквернить память Весты, поставить себя выше ее авторитета и должны были привлечь Нерона к Рубрии. Глава римской гражданственности умышленно и чуть ли не публично позорит девственную хранительницу религиозно- исторического символа этой гражданственности. Контраст оглушительный и — говоря языком современных сверхчеловеков — в самом деле стоящий по ту сторону добра и зла. Трагикомические войны Калигулы с Юпитером и фантастический брак его с Луной остались далеко позади. То был бред сумасшедшего, в мании величия старавшегося заживо взобраться на Олимп, к богам греческой мифологии. Нерон же своим поступком просто-напросто зачеркнул всякое божество всякой мифологии, ибо надругался над живым воплощением самого святого и грозного догмата, самой щепетильной и тре-

бовательной из всех мифологий — обрядно-государственной религии Рима. Он, как истинный сверхчеловек, упраздняет богов за ненадобностью. За что ему почитать их? *Stulte verebor, ipse cum faciam, deos!* Он поет, как Аполлон, правит колесницею, как Солнце, собирается душить львов голыми руками, как Геркулес. В «Сервилии», очень плохой трагедии нашего Мея, есть, однако, великолепный стих о Нероне: «Он весь Олимп в себе соединил». Действительно, Нерон — как бы компактное издание всей олимпийской мифологии. Или еще вернее — это призрак из старинной гигантомахии: бурный и изменный сын черной земли, который, наконец, взял таки приступом вечно-светлый Олимп и опрокинул троны небожителей и осквернил постели богинь.

Полное отсутствие веры и глубокий скептицизм не мешали Нерону быть мелочно суеверным. Незадолго до открытия Пизонова заговора какой-то простолюдин поднес цезарю, как талисман против дурного глаза, детскую куклолку. Нерон всех уверяет, что злоумышленники обнаружены, благодаря именно этому фетишу, возводит куклу на степень высочайшего божества, по три раза на день чувствует ее жертвами и советуется с нею о будущем, наблюдая ее движения с такою же суеверною внимательностью, как современные спириты — вертящееся блюдечко или стучащие и пляшущие столы. За несколько месяцев до своего падения он вдруг пристрастился к гаданию по внутренностям жертвенных животных — и любопытно, что ни разу не получал хороших предзнаменований. Он имел интерес к магии, к услугам которой прибег впервые ради успокоения своей совести после убийства Агриппины. На этой почве он дружески встретился с знаменитым гостем своим, армянским царем Тиридатом, кото-

рый, в свите своей, как истинно-восточный государь, навез в Рим разных гадателей, колдунов и знахарей. Нерон берет у них уроки магии во всех ее видах до некромантии и гадания по убиенным младенцам включительно. Однако, в конце концов этот «сверхчеловек-нигилист» и магию признал такой же нелепостью, как все религии своего государства, и весьма остроумно разоблачил и высмеял ее шарлатанство. Несомненно, сперва до глубины души потрясенный и напуганный событиями и впечатлениями в роковую ночь смерти Агриппины, впоследствии он и пафос покаяния своего превратил в театральное кривлянье. Случай с дельфийским оракулом показывает, что, по мере надобности, он умел очень круто относиться к воспоминаниям о матереубийстве. Или, наоборот, весьма равнодушно. Так, актера Дата, который вздумал делать на сцене намеки на отравление Клавдия и на попытку утопить Агриппину, Нерон лишь выслал из Италии. Но у цезаря, при его страсти к трагической сцене, была поразительная способность перевоплощаться в ее героев на сцене житейской. Его поэтическая

начитанность заменяла ему чувствительность. Каждое свое впечатление он проверял по авторам и, отыскав у них подходящее указание, какую роль и позу прилично случаю принять, о чем и в каком гоне декламировать, раздражался эффектными импровизациями. Дельфийский оракул со своими Орестом и Алкмеоном попался ему под сердитую руку, когда Нерон был только Нерон, чувствовал себя цезарем и не имел расположения рисоваться. Но находил на него декламационный стих — и он забавлялся, как игрушкой, своими угрызениями совести, избирая их сюжетом для виршекропательства. Мелодраматическим тоном, свойственным только ему одному, рассказывал он, как его мучат фурии, и цитировал греческие стихи об отцеубийцах. Удивительно освещал эту сторону в характере Нерона великий итальянский трагик, покойный Эрнесто Госси, — даром, что играть Нерона приходилось ему в очень плохой мелодраме Пьетро Косса.

По всей вероятности, в таком настроении был он, когда, во время греческих своих гастролей, вдруг демонстративно отказался от

посещения Афин: там — храм Эвменид, мстительных гонительниц матереубийцы Ореста!.. Цезаря зовут побывать в Лакедемонe. — Увы! в воротах Спарты мне заградит вход суровая тень Ликурга!.. Он изъявляет желание быть посвященным в Элевзинские таинства, в это франк-масонство эллино-римского мира. Но, прибыв в Элевзис, он слышит возглас жреца: безбожные и преступные, изыдите от нас! — И театрально удаляется, разыгрывая нечестивца, недостойного общений с таинственными божествами земли. И в это же самое свое путешествие он исследует лотом заповедные воды Альционского озера, чрез которое, по сказанию мифологии, опустился в ад Дионис, чтобы вывести из царства мертвых мать свою Семелу. Нерон возился над измерением озера — по всей вероятности вулканического провала — с научным любопытством, даже приспособил для этого целую механическую систему, но, размотав веревку лота на несколько стадий, не нашел дна. Здесь он, как видно, подземных божеств не трусил. Между тем, на берегах озера справлялись тоже мистерии в честь Вакха, Лернеи и притом

такие таинственные, что Павзаний, в своей знаменитой книге о Греции, не дерзает огласить их содержание.

Половая распущенность, склонность к оккультизму, повышенная артистическая чувствительность и изысканная кровавая жестокость уживались в этом больном уме, как четыре родные сестры, полу-музы, полу-фурии, слагая своим взаимодействием самую грозную и причудливую манию величия, какую когда-либо знала психиатрия. Пред нами — человек, которому — в обычном порядке человеческих желаний, наслаждений, благ и т. д. — не о чем мечтать: он имеет все. Он не в состоянии грезить собою ни как всемирным владыкой, ни даже как богом, потому что он уже всемирный владыка, равный богу. И — какому богу! «Когда ты свершишь в пределе земном все земное и вознесешься на небеса, в твоей власти выбирать — принять ли скипетр небесный или, подобно новому Фебу, проливать свет миру, чтобы он не утратил в лице твоём своего солнца. Каждое божество будет радо уступить тебе свое место. Природа почтительно предоставит тебе самому ре-

шить, каким богом ты пожелаешь быть и где захочешь водрузить над миром свой царственный престол. Не выбирай для того окраин вселенной: ты нарушишь равновесие мировой оси, переместив — с собой вместе — центр ее тяжести. Воссядь в вышине, в самой середине эфира — и пусть будет вокруг тебя чистое, ясное небо, и ни одно облачко на нем да не дерзнет омрачить светлости цезаря». Это льстивое пустословие — плод вдохновения Лукиана, посвятившего Нерону свои «Фарсалии» — странное произведение, которое распропагандировало своего автора, потому что поэт, начав низкопоклонным цезаристом, последние главы писал уже ярим революционером. Тот же Лукиан, там же, проклиная междоусобия, раздиравшие республиканский мир борьбою Юлия Цезаря и Помпея, вдруг, ловким переходом придворного льстеца, клянется, что, однако, междоусобия эти были в конце концов благодеянием роду человеческому, ибо из них родился цезаризм, а плодом цезаризма является Нерон, и за такое сокровище не жаль заплатить даже еще высшей ценой. Сенека сравнивает юного Нерона

с Гелиосом, Тифоном, Геспером (см. в I томе главу VII), а впоследствии равняет его Августу, чей гений был в это время, как недавнее последнее слово официального культа, самым сильным и обязательным божеством государственной религии. Консул Аниций Цереалис в речи к сенату, после открытия и подавления Пизонова заговора, объявляет Нерона существом, превзошедшим всякое человеческое величие, и требует, чтобы ему заживо воздвигли храм, окружили его богопочтением. Жена Нерона — богиня, *Diva Augusta*, дочь — богиня, отец приемный, которого он сам считает дураком, шутком и негодяем, — тем не менее тоже бог. Царской властью удовлетворить этого, пресыщенного своим могуществом и всеобщим раболепством, сверхчеловека уже нельзя. Еще дядю его, Кая Калигулу, отговорили от принятия царского титула, ненавистного римскому народу, той уловкой, что цари, дескать, слишком ниже тебя. А что до власти божественной — Нерон скорее склонен был опять-таки театрально разыграть иной раз роль божества, чем, принимая лесть и суеверный культ двора, серьезно во-

ображать себя богом. Он слишком хорошо знал, по наглядному опыту своего предшественника Клавдия, как легко фабрикуются боги из Цезарей, и первый, с презрением, смеялся над новым святым, которого канонизовали отравленные грибы. Ум-то у него, хотя и больной, остался все-таки латинский, практический. Греческое идеалистическое фантазерство, ради которого Александру Великому и Антиоху Епифану надо было напрашиваться в родню к богам, лишь скользнуло по Нерону, не задев его вглубь. Он, пожалуй, не прочь порисоваться красивым намеком на свою сверхъестественную природу. Морская буря уничтожает корабли с драгоценностями, награбленными в Ахайе. — Рыбы доставят их мне! — уверяет Нерон приближенных. Это, конечно, «божеская» выходка. Но, вообще-то, Нерон, в капризах и чудачествах своих гораздо менее прикидывается богом, принявшим имя и почет Цезаря, чем воображает себя Цезарем-сверхчеловеком, силою сана своего и гения возвысившимся над всеми божествами.

IV

Итак, пред нами — чудовище избалованно-го воображения, как бы задавшееся целью практически исследовать растяжимость и границы человеческих средств и возможностей. Это — чаятель невероятного, недостижимого, мало чаятель: — вождедеющий любовник, *incredibilium cupitor*.

Так как цезарь был человек весьма образованный, то и безумие его сказалось по преимуществу литературным (Ренан).

Бредни всех веков, все поэмы, все легенды, Вакх и Сарданапал, Нин и Приам, Троя и Вавилон, Гомер и поэтическая безвкусица современной литературы образовали дикий хаос в бедном мозгу артиста, посредственного, но очень и с убеждением преданного искусству, а по прихоти случая одаренного властью осуществить все свои химеры. «Представьте себе, — говорит Ренан, — человека, едва ли не столь же аффектированного, фантастического, как герои Виктора Гюго — карнавальную куклу, смесь сумасшедшего, простака и актера — облеченным в пурпур, все-

могущим правителем всего мира. В нем не было мрачной злостности Домициана, любившего зло для зла; он не был также сумасбродом вроде Калигулы; нет, пред нами — убежденный романтик, оперный император, фанатик-меломан. Он сам дрожит перед партером и заставляет партер дрожать перед собою. Нечто подобное могло бы получиться в наши дни из буржуа-миллионера, который, зачитавшись до умопомрачения поэтов-романтиков, вздумал бы подражать в своем житейском обиходе Гану-Исландцу и Бургграфам».

Оставляя покуда в стороне затейливые причуды Нерона в частной и личной жизни, посмотрим его общественные предприятия. Мы не находим в них ни глупости, ни пошлости, а только — фантазию не по времени. Восемнадцати векам надо было пройти, чтобы родился другой такой любитель-прожектор грандиозных каналов. В деле водяных сооружений Нерон такой же смелый мечтатель, как Фердинанд Лессепс, и многие из его проектов, в те времена неосуществимых за недостатком технических средств, снова воскресли в нашем веке. Такова затея превратить

нижнее течение Тибра в морской канал, а самый Рим, чрез то, в морской порт. План, который современная Италия имеет на первой очереди своих общественных сооружений и давным-давно с удовольствием выполнила бы, будь ее государственная казна хоть немного богаче. Обилие горячих вод в окрестностях Неаполя наводит Нерона на мысль централизовать все источники везувиальной системы в гигантском бассейне, между Мизенским мысом и озером Авернским и устроить вокруг этого кипящего озера великолепные термы. Идея опять-таки совсем не глупая, ибо в настоящее время подобные цистерны стараются устраивать все крупные курорты — в целях экономии, через каптаж, драгоценной минеральной воды, утекающей бесполезно. Великолепные же серные воды Везувия и посейчас более, чем какие-либо другие, вызывают об упорядочении их эксплуатации, которая в древние времена производилась несомненно с большими вниманием и правильностью, чем теперь. В настоящее время южный берег Неаполитанского залива, с Торре дель Греко, Кастелламаре, Мета, Сор-

ренто, более любим и посещаем, чем северо-западная излучина от Поццуоли до Капо Мизено. В древности было наоборот. Излучина эта изобилует термическими богатствами и в наш век. Тем могущественнее должны были они быть при Нероне. Тогда извержение, уничтожившее Геркуланум, Помпею и Стабию, еще не перенесло центра везувияльной деятельности с полуразрушенной Соммы на новые, неугомонно курящиеся с тех пор пламенем и дымом, всему миру по картинкам знакомые, кратеры. Богатство это само напрашивалось на централизацию, и то, что представлялось безумием для инженеров I века, или вернее сказать, для историков, критиковавших инженерные затеи цезаря, в XX веке лишь вызвало бы всеобщее одобрение и представляло бы почет как прожектору, так и инженеру-исполнителю. Эти люди, — говорит Тацит о Севере и Целере, любимых инженерах Нерона, «с талантом соединяли смелость достигнуть посредством искусства того, в чем отказала природа, а, также, — иронизирует историк, — издеваться над денежными средствами государя». Соединить Неаполитан-

ский залив с Остийскою бухтою — прорезать для того водяною лентою, около 160 миль длины и в двойной проход корабля шириною, бросовые, никуда негодные пустыри Кампании, вредные Понтийские болота и береговой кряж — тоже совсем не химера для людей, видевших искусственное соединение Средиземного моря с Красным, готовящих Панамский канал, мечтающих о наводнении Арало-Каспийской низменности водами Черного моря или сибирской Оби, о борьбе с северным течением Татарского пролива, о внутреннем море в Сахаре и т.д. и т.д. Неудержимое стремление к созданию новых водных путей, роднящее фантазию Нерона с фантазией Лессепса, создало первому тоже своего рода Панаму — на неудачном прорытии Коринфского перешейка, так подробно высмеянном в памфлете псевдо-Лукиана. Злорадная суеверная ненависть, почему-то окружившая это предприятие, выставляло его как верх безумия. Однако Нерон был не первый, кто тянулся к этому проекту, и, если один из предшественников, действительно, был сумасшедший (Калигула), то два других носили славные имена Де-

метрия Полиоркета и Юлия Цезаря. Девятнадцатый век, осуществив Коринфский канал, оправдал Нерона в этой затее, имевшей лишь несчастье оказаться слишком на много впереди своего времени. Вообще, читая у Тацита и иных о строительных предприятиях того или другого государя, необходимо учитывать философское отвращение древней образованности к технике и прикладному знанию, которое — мы видели в предшествующей главе — с такою надменностью высказывал голос века, Сенека. Тацит, когда пишет о каких-либо инженерных сооружениях, всегда совершенный невежда. Мы уже видели это на примерах описания празднеств на Фуцинском канале и кораблекрушения Агриппины (том II). Возражения его против канала «от Авернского озера до устья Тибра» (XV, 42), будто близость моря отрицала надобность в параллельном пути, детски легкомысленны, особенно при тогдашнем состоянии каботажного судоходства, жестоко терпевшего от Тирренских бурь. Да и не только каботажного: под тем же 65 годом, когда проектировался этот канал, Тацит сообщает, что значительная часть рим-

ского военного флота погибла, жертвою сирокко, на коротком переезде из Гаэтанского залива в Неаполитанский, близ Кум, «в то время, когда они старались обогнуть Мизенский мыс» (XV, 46). Население империи, во всяком случае, могло быть признательно этому проекту уже за то, что, благодаря ему, фактически отменена была в государстве смертная казнь. «Ради осуществления этих проектов Нерон повелел представить в Италию на земляные работы всех арестантов, сидевших по тюрьмам, с воспрещением даже осужденных (*scelere convictos*) преступников подвергать иному наказанию, кроме принудительных работ (*non nisi od opus damnari*). Фантастический план воинственного похода в Эфиопию, а вернее заботы об египетской торговле дают Нерону идею — решить вековую загадку Африки: открыть источники Нила. Экспедиция в Эфиопию состояла из отряда преторианцев с трибуном во главе и двумя центурионами. Экспедиция двигалась по Нилу, производя измерения расстояний (в римских милях), проникла до Напаты и Мерой, найдя оба эти некогда славные города в совершенном упад-

ке. Царь Эфиопии (Senesa; по Плинию, — здесь царствовала царица) дал им рекомендацию к соседним царям. Пользуясь таким содействием, два центуриона, с которыми лично разговаривал Сенека, имели возможность проникнуть далеко на юг до громадных болот, покрытых такою роскошною растительностью, что они были почти совершенно непроходимы. Современные географы находят, что описание местности у Сенеки очень напоминает болота у слияния Бахр-аль-Абиада с Сбаотам (9град с. ш.)» (Хвостов). Главное русло соединенного Нила называлось тогда у местных жителей Кир. Из нубийских черных племен, которые видел и назвал член нильской экспедиции, упоминаемый Плинием, Аристокреон, многие сохраняют еще свои тогдашние имена. Так, сирботы, т.е. обитатели Сира или Кира, это — нынешние ширы, мединны — мединны, олабы — элиавы, симбарры и палугийцы — негры бар и полюджи, описанные Брюн Ролле. Конечно, экспедиция Нерона затемнила результаты своих исследований множеством сказок о безобразных великанах, безухих карликах и т.п. Тем не ме-

нее, нельзя не сознаться, что лишь сороковые года прошлого столетия двинули человечество в познании Нила значительно вперед от этой научной первопопытки, и лишь в семидесятых решена с определенностью загадка, ее создавшая. Ливингстон и Стэнли подтвердили многое, что научный скептицизм XVIII и XIX веков считал за басни суеверного Плиния. А что в рассказах его лишено фактического основания, то находит себе соответствие в легендах о разных дивных народах получеловеческого вида, которыми и посейчас туземцы запугивают чересчур предприимчивых слоновых охотников, как запугали и членов экспедиции Нерона. Другую любопытную коммерческую экспедицию отправил Нерон, поставив во главе ее одного римского всадника, на берега Северного и Балтийского моря, с поручением скупить весь янтарь, который эти люди найдут.

«Что я приказываю, то должно быть возможным», — таков второй девиз Нерона, стоящий первого, в котором он клялся, что до него ни один государь не умел пользоваться своею властью в полное удовольствие. Кто

приходит к нему с дикими предложениями, парадоксальными, химерическими планами — его желанный гость. — «Цезарь, я изучаю воздухоплавание и дам людям возможность летать, как птицы». — Прекрасно, — поместить его в моем дворце, кормить и поить, покуда он не полетит... — Быть может, именно этот энтузиаст-воздухоплаватель и есть именно тот несчастный, память о неудачном полете которого через цирк, в подражание Икару, сохранил Светоний. Бедняга, взмахнув раза два-три искусственными крыльями, оборвался и упал на *rodium*, обрызгав Нерона своею кровью. Христианская литература также отразила в своих сказаниях воздухоплавательные потуги I века, связав их с именем самарийского Симона- Волхва, известного по рассказу Деяния Апостольских о попытке его купить у «двенадцати» за деньги дары Духа Святого. Конечно, нет ничего невероятного в том, чтобы этот загадочный человек, полу-шарлатан, полу-фанатик, ни еврей, ни эллин, ни христианин, праотец гностических ересей, натурфилософ и магик, действительно, жил и действовал при Нероне, хотя бы в

качестве придворного фокусника. Incredibilium cupitor любил людей, обещавших ему летать по воздуху, переделывать мужчин на женщин, а женщин на мужчин, умирать и тридневно воскресать, устраивать прорицающие автоматы, вызывать тени усопших и т.п. А так как обещаниями он не довольствовался, но требовал и исполнения их в назначенный срок, то вполне вероятно и возможно, что Симон-Волхв погиб именно так, как о том повествуют апокрифы-сказания Марцеллова (Деяния Петра и Павла) и христианский роман Recognitiones, — то есть разбился при опыте воздухоплавания.

Римляне консервативно-умеренного образа мыслей, люди с трезвым и узким воображением, могли находить эту пытливость отвлеченных хотений чрезмерною, обременительною для государственного бюджета, лишаящею должного внимания государева сложную жизнь правительственного организма и т.д. Могли порицать в Нероне мучительное вожделение бессмертия и вечной славы, доводившее его до стремления переименовать месяц апрель в Нероней, а город Рим в Нерополис. Но с нынешней точки зрения жаловаться и плакаться тут еще нечего. Если государь увлекается науками, искусствами, открытиями, организует экспедиции, покровительствует экспедициям, политический взгляд XIX—XX веков одобряет это больше, чем если он велит неумолчно раздаваться грому военных гроз. Вагнерианство Людвига II обошлось Баварии все-таки дешевле, чем участие даже в победоносной франко-прусской войне. Государи с философскими или артистическими наклонностями, как Траян, Ад-

риан, Марк Аврелий, пользовались народной любовью и уважением и в Риме. Но их научные и художнические тяготения отличались от Нероновой погони за блеском *aeternitatis perpetuaeque famaе* и целями, и средствами осуществления. Например, если остановиться на параллели чудаковатого Адриана, то у него твердость нормальной воли управляла природною эксцентричностью мысли, давая ей переходить в действие сравнительно редко и обуздывая способы проявления. У Нерона же именно воля-то и была вырождена. У него даже разумные и обоснованные хотения принимали характер и формы детски-настойчивых капризов, а капризы, рождающиеся в голове человека, если еще не вовсе больного психически, то уже и не вовсе здорового, весьма недалеко отстоят от навязчивых идей... И вот тут-то он становился опасен и ужасен.

Когда мы изучаем убийства, совершенные Нероном — обстоятельства гибели Британика, Агриппины, Октавии — является поистине поразительною тупая настойчивость его в злодействе, однажды запавшем в его мыс-

ли. Я думаю, что если бы Нерону доказали, как дважды два четыре, что Британик, Агриппина, Октавий не только безопасны ему, но необходимо-полезны, что, убив их, он и сам двух дней не проживет — он их все-таки убил бы. Не мог бы не убить, ибо гений убийства уже охватил его и похоть крови кричала сильнее и настойчивее всех иных соображений. После каждого из своих убийств Нерон ведет себя даже не как безумный — как пьяный. Кровь, которой он жаждал, охмеляет его. Вот почему даже самые трагические минуты его страшной жизни оттенены подробностями, носящими отпечаток какого-то непроизвольного, мрачного шутовства.

Таким, с течением времени, явился он и во всех остальных своих желаниях: едва вспыхнув, они уже обращаются в похоти. Ренан, в общем рисуящий Нерона чересчур романтическим карандашом, прав, когда, судя Нерона в последний, самодержавный период жизни, определяет натуру его как «ужасающий кошачий концерт, полный лязга и скрипа всех психических пружин, зрелище какой-то цинической эпилепсии, в котором сарабанда

обезьян с Конго перемешалась с кровавою оргией дагомейского короля».

Неоднократно высказывалось мнение, быть может и основательное, что, будь Нерон действительно великим артистическим талантом, мир не пережил бы и десятой доли тех дурачеств и свирепостей, которыми отражалась на нем театральная, литературная и художественная карьера Нерона. Великий талант, гений или почти гений может переживать муки сомнения в себе и даже зависти к другому таланту, но Пушкин, как всегда, сказал великую правду, решив устами своего Моцарта, что «гений и злодейство — две вещи несовместимые». Нерон же, к несчастью для себя и для мира, был не слишком талантлив, не слишком бездарен. Он стоял на самой опасной для артистического самолюбия ступени обиходного дарованьица, немного выше заурядной посредственности, однако, поставленного в условия большой и громкой карьеры. Это — Сальери: ученый, образованный, опытный артист, страстно любящий искусство, тонко его понимающий даже в самома-лейших деталях, чудесный теоретик, вирту-

оз-техник, но... без искры Прометеева огня, создающего Моцартов из праздных гуляк. Прибавьте: Сальери полоумный, Сальери с жестокою экзальтацией произвола, Сальери, поставленный владыкою мира и привычный видеть себя всемогущим решительно в каждом своем слове и шаге. Вспомним рецензию Лже-Лукиана: из нее прямо следует тот вывод, что познания Нерона в искусстве и любовь к нему достойны были самой блистательной карьеры, но слабость природных средств и отсутствие оригинальности, «недостаток выдумки», парализовали его усилия к эффекту. К несчастью, отмеченные Лукианом пороки артистического дарования — именно те, которые острее и больнее всего подсказывает полуталанту его тайное самочувствие. «Он подражает Льву Толстому, он копирует Сальвини, он — маленький Мазини, он работает под Васнецова» — совсем не столь лестные похвалы для уважающего свое творчество и любящего свое искусство писателя, трагика, певца, живописца. Велик Лев Толстой, гениален Сальвини, поразительны вдохновения Васнецова, несравненны звуки Мазини, но пого-

ворка о хорошей копии, якобы лучшей плохого оригинала, все-таки годится, как руководство, только для учеников, а как утешение — только для ремесленников искусства. Сказать хоть маленькое, но свое слово — заветный идеал всякого истинного жреца художественной мысли. Сколько Сальери прославленных, богатых, почитаемых, завидуют житейским неудачникам, ютящимся в подвалах и на чердаках, но уже от самой природы бессознательно полным этих своих слов, которых Сальери мучительно и напрасно ищут всю жизнь, «поверяя алгеброю гармонию».

Нерадостна жизнь Сальери вообще, но — когда Сальери, вдобавок, *incredibilium cupitor* — он несчастнейшее и опаснейшее из нравственных чудовищ. Лишь тенденциозно враждебная предвзятость Тацита и чересчур доверчивое отношение к его данным историков, не охочих считаться с психологией фактов, могут рассматривать сценическую деятельность Нерона как явление наглой, голой самоуверенности и самонадеянности. Напротив: это — самый жалкий трус из всех, которые когда-либо выступали на театральных

подмостках. «Трудно поверить, — говорит Светоний, — с какою радостью и недоверием к своим силам (*trepide anxieque*) выступал он на состязании, как он был ревнив к своим соперникам, как он боялся своих судей и критиков. Это — не огромный талант, у которого идея творчества заслоняет идею успеха, и не самодовольная дурацкая бездарность, твердо уповающая, что — стоит ей появиться у рампы, разинуть рот и запеть, чтобы театр развалился от рукоплесканий. Нет, это мученик артистического самолюбия, сознающий, что какой-то талант у него есть, но талантика этого мало, чтобы естественными средствами его иметь настоящий успех, затмевать других артистов, быть первым из первых. А только такое артистическое положение и мог почитать лестным для себя *incredibilium cupitor*. Поэтому соперников своих он трактовал — по характерному выражению Светония — как будто был того же поля ягода, *quasi plane conditions ejusdem*, типически по-закулисному: следил за каждым их шагом, поддевал их на ошибках и промахах, распространял о них скверные слухи. При встречах с опасными

ему артистами, заводил с ними ссоры, ругал их в лицо, а тех, чей талант он сам признавал выше своего, подкупал выйти из конкурса. На этой почве, если верить памфлету псевдо-Лукиана, разыгралась во время пресловутых греческих гастролей Нерона, на Истмийских играх, отвратительная драма: клака Нерона зарезала стилями (металлическими карандашами) одного певца-эпирота, одаренного блестящим голосом, после того как тот не хотел выступить из конкурса иначе как за десять талантов, 14.550 рублей. История эта, конечно, стоит не дороже пресловутого отравления Моцарта Сальери, но показательна, как общее впечатление от Нерона-артиста: человек, ради театрального миража, ради обаяний сценического успеха, готов на все. Перед тем как приступить к состязанию, он произносил к судьям умильные речи:

— Я, мол, сделал все, что от меня зависело, но успех в руках фортуны, вы же, как люди мудрые и ученые, благоволите ценить искусство мое, снисходя к ошибкам случайным (*fortuita debere excludere*).

Если судьи его подбодряли, он становился

несколько спокойнее, но все-таки нервничал. Если судьи безмолвствовали, чему причиною бывало часто просто смущение пред державным артистом, он приходил в жестокое волнение, воображая их молчание знаком скуки и дурного предубеждения, и твердил:

— Ну, это господа подозрительные!

На публичных сценах Нерон стал показываться в 64 году, то-есть когда психопатия его вполне определилась и жажда оаций победила трусость, не пускавшую его доселе далее любительских спектаклей и внеконкурсного участия в праздничных играх. Что за музыка, если ее никто не слышит! — тосковал он. Теперь, когда оперный дебютант пробует свои силы, он обыкновенно едет петь в Италию. В то время посвящение ученика в артисты совершалось в Греции. Театральный вкус греков был *ultima ratio* искусства. В Грецию стремится и Нерон. Будь он самонадеянною бездарностью, весьма вероятно, что он прямо в Грецию и поехал бы за олимпийскими и другими историческими венками, подобно тем современным русским, английским и американским певцам-маньякам, что, наезжая в

Милан, озадачивают театральных агентов требованиями ангажементов не иначе как в La Scala di Milano или в San Carlo di Napoli. Но Нерон боялся настоящей эллинской публики и сперва пощупал почву. Дебют его состоялся на итальянской почве, но в Неаполе, городе с греческим населением, греческим образом жизни, греческими вкусами. Сенсационный спектакль, конечно, привлек в театр вся праздную неаполитанскую чернь. Она и тогда была такая же бездельница, как и теперь, если еще не хуже. Наехали зрители из Помпей, Стабии, Геркуланума, Бай, Путеол и т.д. Магистраты городов Кампании, явившиеся представиться цезарю, уже сами по себе были достаточно многочисленны и влиятельны, чтобы обеспечить Нерону верный успех. Однако, он все-таки по обыкновению трусит, и Тигеллин усиливает обычную клаку императора, то есть толпу августианцев, еще несколькими взводами солдат. И при таких-то условиях дебютант, все-таки, вышел на сцену ни жив, ни мертв, в холодном поту, дрожащий, с блуждающим взглядом, белый, как полотно. Овации были грандиозны. Неаполитанская публика,

и в наше время, первая в мире мастерица на fanatismo. Нерон был потрясен, растроган, кланялся партеру чуть не земно, прижимал руки к груди, посылал воздушные поцелуи и даже прослезился. С этого дня он бредит Грецией и греками. Гастролируя по городам Кампании, он поет по целым дням и, устав, обращается со сцены к публике на жаргоне закулисного «доброего малого»:

— Господа, позвольте мне только глотку промочить (subbibere), а затем я, пожалуй, готов проорать вам (tinniturus) и еще что-нибудь.

Он только что не спал в театре — завтракал на глазах зрителей, в оркестре и снова всходил на подмости и, меняя маски, пел оперу за оперою: Ниобею, Ореста-матерубийцу, Эдипа-слепца, неистового Геркулеса и Канацею в родах.

— Что делает цезарь? — острили римляне.

— С позволения твоего сказать, он ... рожает.

Светоний передает рассказ, что в одном спектакле, когда, по ходу пьесы, Нерона должны были заковать в цепи, какой-то гварде-

ец-новобранец, из наряда в театральный караул, верный долгу и присяге, бросился на сцену освободить императора. То-то, надо думать, было весело в театре и то-то поблагодарил усердного дурака державный артист, которому он «сорвал уход» и «испортил сцену».

VI

Из всех видов мании величия тщеславная жажда аплодисментов толпы, быть может, самая опасная и неизлечимая, потому что самая затягивающая. Мы уже много говорили и о факте, и о причинах того, что в древнем Риме театральная психопатия свирепствовала особенно губительно. Трудно выбрать клинический пример более полного и более жалкого одурения в погоне за сценической *gloriola*, чем Нерон, после неаполитанского своего дебюта 64 года. Опьянение аплодисментами и ревом довольной толпы заглушает в нем даже обычное его мелкое суеверие. Случилось, что в Неаполе театр, на сцене которого он дебютировал, немедленно после спектакля — к счастью, когда уже вся публи-

ка вышла — был разрушен землетрясением. Общественная молва приписала событие гневу богов на нечестие цезаря, унизившегося до комедиантства. Но Нерону слишком хотелось пожинать сценические лавры и впредь, чтобы он позволил себе согласиться с толками толпы.

— Напротив, — говорит он, — раз театр обвалился после спектакля, а не во время его и не раньше его, это доказывает, что боги заботятся обо мне и любят меня. Это — предзнаменование счастья.

И, сочинив гимн в честь своего чудесного избавления от опасности, он торжественно исполняет свои вирши на гастролях в городках Кампании. Отсюда он, как сказано, собирался проехать прямо в Ахайю на генеральный, так сказать, экзамен во всех отраслях искусства, пред лицом высших в подлунном мире ценителей его, греков. Он уже направлялся в Брундизий, ныне Бриндизи, где ждали его корабли для переправы через Адриатическое море. В Беневенте он сделал остановку, чтобы присутствовать на пышных гладиаторских играх, устроенных Ватинием, полувельмо-

жею, полушутом Палатинского двора. В это-то время и выяснились те политические и финансовые осложнения, что не пустили его в дальнейшее путешествие и возвратили в Рим, где он и разыграл рассказанную выше комедию пред очагом Весты...

Оставшись в Риме, Нерон как бы старался показать народу, что нет места на земле, где бы ему было веселее и приятнее, чем в своей столице. Пир за пиром, праздник следует за праздником, и при этом вся жизнь кипит на показ, на улице. Император живет нараспашку, ведет себя, как дома, во всем городе. Самый разительный образец такой распущенной интимности с массами — опять-таки пресловутый Тигеллинов пир на прудах Агриппы. Мы знаем уже бесстыдства, какими сопровождался этот праздник. Распутства его были вставлены поистине в золотую раму. Плавающая столовая, в которой пиروвал цезарь, блистала золотом, слоновою костью. Пруд кишел морскими чудами, доставленными из-за тридевяти земель из океана: все страны империи доставили отборную дичь для стола и редкий птичник для украшения

праздника.

Когда цезарь не играл и не смотрел игры, он бросался в крайности каких-либо других увлечений, роднивших его со вкусами толпы, им управляемой. Как истинный охотник за *gloriolae*, он довел свою страстишку быть главою моды во всем до комичного. Ренан и немецкие историки-империалисты извиняют Нерону эту слабость, находя, что он был в ней политиком в большей мере, чем кажется на поверхностный взгляд. Первыми обязанностями цезаря — по условиям эпохи — было прокормление и развлечение народа. Известно, что к исполнению первого долга Нерон прилагал много забот. Когда же народ был сыт, император становился, прежде всех остальных своих прерогатив, организатором празднеств. Народ венчал цезаря властью и любовью, а цезарь платил за власть и любовь, играя роль обер-церемониймейстера при его величестве — народе.

До известной степени это суждение справедливо, но крайне трудно предположить, чтобы следование такой увеселительнополитической мудрости являлось у Нерона плодом

сознательного и предвзятого плана. Просто, *incredibilium cupitor* должен чувствовать себя первым человеком во всех отраслях общественной жизни, которые «интересны» — заставляют говорить и шуметь о себе. Он должен быть женат на первой красавице и самой элегантной женщине Рима. Нерон овладевает Поппеею, перешагнув для того через целый ряд ужаснейших преступлений. Отон усыляется в изгнание, как соперник, побеждающий цезаря изяществом и умением «порядочно жить». Петроний обязан умереть за то, что он *arbiter elegantiae*, — цезарь не желает стоять на втором плане, иметь живое мерило изящных вкусов и манер, высшее своего собственного робкого самосознания. Мода на стихи — и цезарь должен быть первым поэтом. Лукиану, которому толпа рукоплещет на играх, как новому *Виргилию*, запрещено публиковать свои поэмы. Цезарь — первый наездник на бегах, первый певец, трагик, артист, знаток пластики, живописи, зодчества, самый богатый, самый красивый, самый щедрый — словом, самый «шикарный» человек Рима, а следовательно, и всего мира.

А только этого ему и было нужно. Сальеризм чувствует себя удовлетворительным не тогда, когда он творит нечто новое, неслыханное, поворотный пункт в искусстве на неизведанные пути; он счастлив, когда овладел всем старым с таким совершенством, что никто в области этого старого не сильнее его. Для пушкинского Сальери музыка была не самодовлеющим обаянием, но, прежде всего, исторической традицией — искусством Пуччини, который «умел пленить слух диких парижан», «Ифигении начальными звуками», «глубокими пленительными тайнами великого Глюка», встречей с «новым Гайдном»... меркой современного уровня, на высоту которого он должен был подняться затем, чтобы мир видел в нем первого в мире музыкального художника. Это — постоянный побиватель рекордов. Таков и Нерон. «Чтобы не оставить ни памяти, ни следа чемпионов, он приказал опрокинуть их статуи и бюсты и бросить их в клоаки (Светоний). Старый атлет эпохи Калигулы, Памменес, ушел на покой, унося с собой славу непобедимого. Нерон не в силах этого перенести. Если верить Диону Кассию, он вы-

звал дряхлого богатыря из его уединения, боролся и победил. Со времен Митридата никто не решался править колесницею, запряженной десятком лошадей, сам Нерон осуждал эту претензию. Но — была такая традиция в летописях бегов, — и Нерону необходимо ее повторить. На Олимпийских играх он попробовал десятиконный выезд и едва остался жив, — кони, шарахнувшись на повороте от статуи гения Тараксиппа, сбросили Нерона с колесницы, что не помешало ему, конечно, получить приз. Этому человеку надо было, во что бы то ни стало, всегда стоять между миром и общественным вниманием, в первой очереди последнего и нельзя не сознаться: труда в эту задачу полагал он столько, что иногда он смешон, часто противен, но всего чаще жалок. И всегда — опасен. Это мученик художественного педантизма. Во время своих греческих гастролей, Нерон на одном трагическом спектакле, выступая в роли какого-то царя, уронил скипетр. Хотя он быстро поправил свою неловкость, однако пришел от нее в совершенное отчаяние, воображал, что его исключат за то из конкурса, и успокоился

только тогда, когда товарищ по сцене, ссылаясь на вызовы и аплодисменты публики, поклялся, что зрители ничего не заметили. Нерон восхищал бы своим благоповедением нынешних режиссеров-директоров. Самодур и деспот в жизни, в театре он — образец дисциплины и повиновения. Это самый методический исполнитель конкурсных требований. На сцене он не позволял себе не только кашлянуть и плюнуть, но даже утереть пот с лица.

В каждом Сальери педант борется с возможностью поэта, и надежда однажды оказаться поэтом — лучшая часть его духовного мира:

Быть может, посетит меня восторг

И творческая ночь и вдохновенье...

Поэтому люди этого сорта, способные — сами — тайно помогать своему успеху всеми дозволительными и недозволительными средствами, очень обидчивы, когда в дело их сострадательно вмешиваются другие, пытаюсь поддержать их непрошенными услугами. Когда сенат, желая отклонить скандальное повторение (в 65 г.) квинквеналий, заранее

присудил Нерону все призы, цезарь непри-
творно оскорбился и в самой резкой форме
выразил отцам- конскриптам, что они меша-
ются не в свое дело и своим бестолково льсти-
вым угодничеством унижают его пред конку-
рентами в искусстве. И тот же самый артист
откровенно возил за собою клаку в 5000 чело-
век и наполнял театры переодетыми сыщика-
ми и солдатами, обязанными подогреть эн-
тузиазм публики и колотить недовольных.
Ни один из античных авторов, сообщающих
все эти трагикомические подробности, ни-
сколько не сомневается в искренней любви
Нерона к искусству, которое засосало его, точ-
но зыбучий песок. Во имя искусства он подоб-
но средневековому паладину, защищающе-
му на турнире имя дамы своей, ревниво гу-
бил многих, покуда сам не пал мертвым на
той же, окровавленной им, арене.

Тиран, двуногий зверь и эстетический
утонченник, Нерон — лишь преувеличение
тех типов, что являются в культурно созрев-
ших обществах, как близкое пророчество их
конца, под метко подобранной концом XIX ве-
ка кличкой «декадентов». Светское общество,

централизованное вокруг цезаря, декадентщина во всей полноте нынешнего понятия и слова. Та же поверхностная безалаберщина, порождаемая упадком здоровых, естественных вкусов. Правда жизни, простота мысли, трезвость чувств и вожделий заслонены позой, декламацией, жестом, декоративной обстановкой. Аффектация — царица общества. Все гонятся за чем-то призрачным, гигантским, ненормальным, все бредят чудовищным, сверхъестественным. Из жизни исчезает прямая линия, требуется выверт, изгиб, двойственность колеблющихся очертаний. Во всем, что предписывала мода того времени, чувствуется отсутствие искренности, пустозвонная шумиха, риторство. И, как всегда в упадочные эпохи, декаданс захватывает в свои насмешливые цепкие объятия не только тех, кто к нему вожделеет и тянется, но тех, кто с ним борется. Сенека — один из самых здравых и стройных умов эпохи, и за блестящей фразой его по большей части таится настояще глубокая, хотя и не всегда самостоятельная, мысль. Но в трагедиях его — какая ловкость передавать чувства непрочув-

ствованные, какое искусство говорить добродетельные слова, не будучи добродетельным человеком! Какая ловкость слагать красивые прописи из у слов-ных афоризмов априорной морали. Строго разбирая, ведь даже положительные типы эпохи, как генерал Кн. Домиций Корбулон, несомненно последний крупный военный талант императорского Рима, не чужды театральной условности и велики не столько сами по себе, сколько мастерством играть великих людей по красиво выбранным старинным образцам. Скобелевы — под Суворова. Если уж даже порядочность принуждена рисоваться и придумывать для себя внешние эффекты, чтобы сохранить за собою внимание и почтение толпы, — то во сколько же раз больше нужна эта рисовка той греховной пустельке, которая в те дни залила Рим, как потоп, и воцарилась в нем долгой модой! Гениально обличительная книга Петрония — пред нами. Общественный быт, ею беспощадно рисуемый, — какой-то смерч пошлостей и вычур дурного тона. Речь героев Петрония — град словесных гримас и ужимок, с претензией на комизм, тошнотворный жаргон, подоб-

ный жаргонной болтовне наших бульварных газет (Ренан). Сатурналия полная. Каждый день Неронова общества — вызов старой нравственности, провозглашение нового бытового кодекса. Долой глубина мысли и да здравствует резвость настроения! Почитай серьезным делом только изящные искусства, эффектные вымыслы, красивые ситуации. Действительность — грязный сон, от которого надо пробуждаться, делая жизнь свою чредою самого фантастического по беспредельности эгоизма, служения на самого себя. Всякая добродетель — ложь условной человеческой выдумки. Порядочными людьми признаются лишь откровенные распутники, проповедующие полное бесстыдство нараспашку. Великий человек — тот, кто знает и применяет к жизни все крайности порока, не страшится все губить, все разорять и самому разоряться. Поголовная декламация, поголовное литературное тщеславие, поголовная неспособность рассуждать без фраз и позировки. Поэт эпохи — крикун и декламатор, плясун на канате фраз. Природный талант и пылкий политический темперамент потянули испанца Лукиа-

на к гражданской поэзии. Прочитайте в «Сатириконе» отрывки «образцового» эпоса, которым, как остроумно доказывает Гастон Буассье, Петроний хочет унижить «вульгарного» Лукиана и обучить его настоящему поэтическому обращению с предметами высокими. Это — нечто ужасное по нарочности мифологического фразерства, старческой напряженности холодно придуманных образцов, надутой тягучести возвышенно-сочиненного умышленноархаического языка. Точно Вячеслава Иванова по-латыни читаешь. Какая-то чудовищная, мертвецкая красимость повапленного гроба. Неронов век очень заметен в истории античной философии, как эпоха расцвета римского стоицизма: Сенека, Музоний Руф, Тразея Пет и др. Но портреты участников жалкого Пизонова заговора, которые почти все были стоики, дают нам самое печальное понятие о том, как мелка, пуста и шумливо безвольна была даже эта волна, все-таки лучшая в море века (см. выше).

Упражняя учеников своих в искусстве выражать мысли, каких природа никогда не пробуждала в их собственных головах, подби-

рать готовые на всякий случай, возвышенные общие места, учителя-философы, вроде Сенеки, литературного наставника Нерона, воспитали поколение злобных риториков, завистливых и ревнивых (Ренан). Они, однако, были далеко не прочь щегольнуть напоказ и самыми человеколюбивыми убеждениями при уверенности, что их красноречие слушают и запоминают. *Literarum intemperantia laboramus*, — вырвалось однажды горькое восклицание у самого Сенеки: уж слишком мы зарываемся в усердии к литературе! И действительно, мы видим, как вылощенное в отборной фразировке, пикантно заправленное остроумными ссылками и цитатами, лицемерие века применяет прекрасные правила, которые напела ему философия, к шуткам, дикостям и гадостям, достойным каннибала. Даже самые подлейшие свои поступки нероновщина оправдывает изящными и возвышенными мотивами, непостижимою для простых смертных гибкостью, широкостью и глубиной «сверхчеловеческой» натуры. Мало быть порочным, надо возвести порок в перл художественной красоты, объявить его эсте-

тической правдой жизни, а себя самого — живописно осветить как ее жреца-эстета. Диво ли, что такому картинно-позирующему веку сужден был естественным подбором истории такой же картинный властитель? Весь век — на ходулях, и Нерон — тоже человек на ходулях. Всю жизнь он пытался делать шаги великие, но, за неумением к тому, за неподготовкой и ограниченностью испорченной натуры, делал лишь шаги длинные, сумбурно и лихо кружась ими вокруг своих маний и капризов, как дети кружатся вокруг столба «гигантских шагов».

Верхом артистических скандалов Нерона принято считать его гастрольное путешествие в Грецию. К сожалению, главы Тацита, содержавшие описание этого страшного предприятия, утрачены или, быть может, никогда не существовали. Нельзя не скорбеть об этом. Кто бы ни был автором *Ab exsessu Augusti*, — сам ли Тацит, позднейший ли искусник, умевший работать под Тацита, — он был удивительным художником- психологом и тонким критиком событий. Даже когда Тацит омрачает свое изложение тенденцией на-

вязать читателю известные аристократические и личные предубеждения, он умеет осмыслить свой рассказ в механику естественности, которую читатель может принять с согласием или с возражением, целиком или с поправками, но, во всяком случае, будет считаться с нею, как с логической возможностью данного факта. Светоний, Дион Кассий и Псевдо-Лукиан (последний — в диалоге, ведомом от имени Музония Руфа и Менекрата, как откровенный памфлетист) дают о путешествии Нерона сведения столь странные, что, право, с их набором романтических сплетен могут сравняться в нелепости лишь старо-русские толки и «творимые легенды» в конце XVII века — о пришедшихся боярской Москве не по нутру заграничных путешествиях Петра I. К сожалению, пестрый ковер этих сказаний, в которых зерно какой-то основной правды совершенно затерялось в песке сплетничающих легенд, настолько заманчив и эффектен, что впоследствии большинство историков, не говоря уже о романистах и поэтах, располагалось на нем с совершенным доверием. Некоторых же любителей романтических

положений он увлекал к созданию таких могущественных и сильных образов, что они овладели воображением потомства даже «рассудку вопреки, наперекор стихиям» и обратились в традицию, принимаемую почти без проверки. Особенно могущественно повлиял в этом отношении красноречивый и картинный «Антихрист» Ренана, книга, вообще характерная, как злоупотребление художественным талантом в сторону романа и во вред исторической критике.

Историчность греческих гастролей Нерона не подлежит сомнению. По всей вероятности, историчны — по крайней мере, до известной степени — и некоторые из эпизодов, во множестве собранных античными авторами, в особенности Дионом Кассием, т. е. Ксифилином. Мотивы путешествия излагаются, обыкновенно, в таком роде.

Города Греции имели обыкновение посылать Нерону, в поощрение его таланта, венки, заочно присужденные на артистических состязаниях. Он принимал подобные депутации с удовольствием, этим грекам не приходилось подолгу ждать аудиенции. Нерон при-

глашал их к своему столу. Однажды, за обедом, какая-то из деputationей, ободренная любовью к государю, попросила его о чести — дать им услышать его небесный голос. Нерон спел. Греки аплодировали ему не только усердно, но и кстати, с тонким вкусом. Критика их привела Нерона в восторг. Он объявил, что только одни греки понимают музыку, и только они одни достойны его слушать (Светоний). С тех пор петь пред греками стало его манией. Его опять охватило желание посетить Элладу и принять участие в ее состязаниях. И вот он назначает путешествие в Грецию, дает соответственные распоряжения и готовит в путь «армию, которой было бы совершенно достаточно, чтобы завоевать Индию, если бы люди эти шли с оружием в руках, а не с музыкальными инструментами, масками и трагическими котурнами» (Дион Кассий, LXIII, 8). Главнейшие города Греции были вынуждены или ускорить или отсрочить свои традиционные игры — на время, когда цезарь, по расписанию своего путешествия, может быть в их провинции и принять участие в их художественных конкурсах. Ку-

рьезная Неронова армия двинулась в поход в конце 66 года.

Следующий том моего сочинения, почти сплошь посвященный выяснению смут, охвативших Рим после разрыва Нерона с конституционной партией и в конце концов доведших его, после шестилетней борьбы, до потери власти и вместе с нею жизни, — покажет читателю подробно грозное время и тяжелые государственные обстоятельства, когда и при которых Нерон нашел возможным предпринять столь странную увеселительную поездку. Здесь достаточно напомнить, что он покинул Рим, едва возникающим после страшного пожара 19 июля 64 года и полным смуты и заговоров; кровавая расправа с известнейшим из них, Пизоновым, только что кончилась, но отголосков его достало еще на три года: что дворцовая камарилья в это время вступила в открытую борьбу с сенатом, и в течение всего 65 года редкая неделя не проходила без казни или опалы какого-либо могущественного нобиля; что Нерон только что потерял любимую жену и дочь, «рождение которой он принял со сверхчеловеческой радостью» (Тацит). Что,

наконец, в путешествие свое он увез из Рима решительно всех тех людей, которые после 62 года составляли его совет и опору и, следовательно, могли иметь, в качестве наместников, привычный и приличный авторитет. Что главою дворца и правительства, за совершенным недоверием государя к высшим классам, оставлен был в Риме вольноотпущенник Геллий, бывший управляющий азиатскими государевыми имениями. Что пост командира преторианцев вверен был в высшей степени подозрительному субъекту и впоследствии претенденту на принципат, Нимфидию Сабину, предполагаемому сыну Калигулы. Что внешние осложнения были в данный момент уже очень серьезны, и на Востоке, — хотя после парфяно-армянского мира и Тиридатова визита в Рим, Нерон запер храм Януса, — шло брожение и закипало иудейское восстание. Выбор такого, по всем приметам критического и печального времени, для увеселительной прогулки, которая должна была возмутить общественное мнение, уже и без того недовольное, столь безумен, что удивительно: как, если уж сам Нерон, во что бы то ни стало,

желал сломать себе голову на авантюре артистического каприза, нашлись не только охотники разделить с ним участь, но и поощрять его к ней? как неглупый, в бесконечной низости своей, интриган Тигеллин мог допустить подобный ход к верному проигрышу Нероном империи, а, следовательно и к собственной его, Тигеллина, неминуемой гибели?

Соображая эти странности и вглядываясь в обстоятельства, сопровождавшие поездку Нерона, необходимо отказаться от мысли, что то были лишь гастролы державного дилетанта, предпринятые последним только из любви к искусству и желания получить санкцию своим талантам от эллинской критики. В течение своих греческих гастролей Нерон даровал Греции политическую автономию и с большой помпой открыл работы по прорытию Коринфского перешейка. Античные писатели выставляют оба эти акта результатами Неронова импрессионизма. Остался Нерон доволен приемом успехов своих у греческих ценителей искусства, — ну, вот вам, греки, автономия! Увидал Нерон, как близко Саламинский залив сходится с Коринфским, — ну, да-

вайте копать канал! Post hoc здесь, отчасти умышленно, отчасти по наитию традиционной молвы, выдается за propter hoc. В действительности, не трудно сообразить, что такие государственные акты, как возвращение автономии огромной и культурнейшей провинции, не могут осуществляться с молниеносной внезапностью, по манию руки властителя, при каком бы то ни было деспотическом режиме. Подобные реформы готовятся годами с обеих сторон, и отпускающей, и отпускаемой. В противном случае, они явились бы «революцией сверху», не только способной, но даже должной произвести большое замешательство в государстве. Достаточно уже того условия, что за автономию сенатской провинции Ахайи Нерону пришлось вознаграждать сенат отдачей последнему собственной своей государевой провинции Сардинии, что сопровождалось, конечно, не только сложной административной перестройкой, но и, по особым условиям Сардинии, как хлебной поставщицы на Рим, должно было отозваться неудобствами для министерства народного продовольствия, префек-

туры апопонае. Дион Кассий издевается над актом автономии, говоря, что политически он был совершенно не нужен: цезарь провозгласил только то, что греки фактически давно уже имели. Наоборот, Плутарх и Павзаний, писатели, ближайшие к Неронову веку (Плутарх в эпоху Неронова путешествия слушал, студентом, в Дельфах философский курс Аммония), относятся к освободительному акту с признательностью (Latour St. Ybars). По мнению Павзания, Нерон в данном случае обнаружил величие духа и доказал, что дурным воспитанием в нем погублен и направлен на путь преступлений далеко не дюжинный человек. Дион Кассий несомненно не прав в освящении события. Фактическая наличность областей автономии и торжественное ее провозглашение господствующим государством всегда отдалены громадной политической пропастью, перешагнуть которую не легко. Вспомним слишком столетние отношения между Россией и Финляндией. Мало ли Англия имеет фактически автономных областей, — однако, ни одна из них не получила того открытого акта независимости от метро-

полии, каким явился манифест 28 ноября 66 года, лично Нероном провозглашенный на Истмийских играх. Дион Кассий смеется над подробностью, что Нерон, чем бы возвестить свой освободительный манифест через герольда, прочитал его лично. Мы, конечно, не можем видеть в этой демократической подробности ничего, кроме похвального со стороны всякой верховной власти упразднения «средостения» между «маестатом» и народными массами. А, сверх того, эта деталь выразительно подчеркивает, что, значит, реформе своей и сам государь, и его правительство приписывали особо важное значение. Это — тронная речь, подчеркнутая в своих обязательствах объявлением их во всеуслышание — лично и изустно.

Что касается второго предприятия Нерона на почве Эллады, — Коринфского канала, — оно того менее могло быть внезапным, так как требовало сложной технической подготовки и огромной затраты людей, а следовательно, и денег на их содержание. Работы были начаты преторианцами, но — только на показ, в приморских песках; прорывать гор-

ные породы предназначались каторжники, — их согнали в Коринф из всех тюрем империи, — и военнопленные иудеи, которых Веспасиан прислал 6000 человек, выбрав лучшую и сильнейшую молодежь. Вот уже ясное доказательство, что дело возникло совсем не так сюрпризно, как описывают историки и памфлетисты. Для того, чтобы перебросить 6000 человек из Иудеи в Коринф, при тогдашних судоходных средствах, надо было не мало времени, равно как и для рабочей мобилизации каторжников.

Итак, можно предполагать не только гада-тельно, но и с большим вероятием, что присутствие Нерона в Греции понадобилось по причинам не театральным, но государственным. Быть может, первые придуманы правящей дворцовой группой только для того, чтобы легче двинуть беспутного, ленивого государствовать, царя-артиста к назревшему выполнению вторых. Разное отношение к событиям путешествия Диона Кассия и псевдо-Лукиана с одной стороны и Павзания и Плутарха с другой, — в особенности к манифесту об автономии Ахайи, — свидетельствует, что

Нерон римских историков, по обыкновению, глядит на нас сквозь призму памфлета, а не летописи. Если верить Диону, то поездка Нерона была сплошным скандалом разврата, грабежа и кровопролития. Трудно сомневаться в первом. К своим 30 годам Нерон приближался алкоголиком и половым неврастеником, уже лишенным к тому же даже такой сомнительной узды, как Поппея, которой он все-таки несколько стыдился и побаивался: она умерла летом 65 года, жертвой преждевременных родов (см. том IV). С Нероном приключилось, по-видимому, то, что бывает со многими вдовцами-неврастениками, которые не совсем-то разбирают, то ли они убиты смертью жены, то ли довольны, что спали с них брачные узы. После первых взрывов отчаяния он запил и забезобразничал, как безумный, как «Вечный муж» Достоевского, и, конечно, легко нашел к тому и благоприятную среду и почву во дворце своем, и достаточное количество подстрекателей, которым нелепое состояние государя было на руку. Около двухсот лет тому назад — после смерти Петра Великого — нечто подобное пережил

русский двор, на глазах и при благосклонном участии которого Меньшиков, с совершенной откровенностью, спаивал насмерть, тоже почувствовавшую себя на вдовьей волюшке, без узды грозного мужа, Екатерину Алексеевну. Если даже девять десятых того, что рассказывают о вдовьем периоде жизни Нерона Тацит и в особенности Светоний и Дион, отбросить в сорную корзину анекдотов и сплетен, то все-таки остается достаточно, чтобы получить картину совершенно психопатическую. Это время, когда в Нероне быстро и бурно развивается половое извращение, когда он выходит замуж за Пифагора, женится на Споре, рядится диким зверем, чтобы подражать скотоложеству и т. п. Я не верю, чтобы все эти скандалы имели ту широкую публичность, в которой уверяют нас Дион и Светоний, но трудно с такой же уверенностью отрицать, что подобные безобразия не производились в интимных компаниях цезаря, — быть может, лишь в меньших размерах, баснословно выроставших в лукавой молве, как то всегда бывает со слухами, проникающими в публику из строго охраняемой тайны дворцов. Доста-

точно почитать летописи русского крепостного права и дознания по делам о злоупотреблении помещичьей властью, чтобы видеть, что неистовства Нерона, развивавшиеся на почве алкоголической и половой неврастении, совсем не исключительны. Да зачем так далеко ходить? В русском обществе только что отшумел неврастенический период порнографии, изумительно отразившей в себе и алкоголизм, и половую извращенность, и ту неумеренную литературность (*Literarum intemperantia*) неудачного «начала века», которые так характерны для неронизма. Проматривая садические, мазохические, кровосмесительные, гомосексуальные и даже бесчеловечные русские повести, поэмы, драмы и пр. этого периода, легко заметить, что авторы болезненно захвачены мечтами извращенных неронических похотей. Вся их распутная болтовня — не более как бред неронического желания, бессильного перейти в нероническое действие и разрешающего блудословием инстинкты, повышенной в требованиях и обессиленной в средствах, чувственности, которые Нерон, русский крепостной помещик,

французский сеньер XVII—XVIII века имели возможность удовлетворять блудодействием. Латур Сэн Ибар извлек откуда-то, будто Нерон пустился во все тяжкие после того, как тяжелые нравственные муки повлекли было его назад, к верному его другу и доброй фее, Актэ, но — увы! он застал последнюю уже христианскою, обращенною ап. Павлом. Выдумка эта, не находящая себе даже тени подкрепления у античных авторов, совершенно произвольна и нелепа. Имя Актэ в это время может быть вспомнано только потому, что вольноотпущенник Гелий, полномочный римский наместник Нерона на время его греческого путешествия, кажется, был из ее клиентуры. Имена Гелия и Поликлета, его товарища, проклинаяются историками: «вместо одного Нерона Рим получил двух». Но хозяину, вручившему им свои интересы, эти государственные приказчики служили, по-видимому, честно. Только настоятельными письмами и наконец личным приездом Гелия убедился Нерон, очарованный Элладой, оторваться от своих театральных успехов и возвратиться в Рим, где вольноотпущенники нащупали нити како-

го-то нового аристократического заговора, угрозой своей превосходившего и Пизонов, и Винициев.

Никогда Нерон не чувствовал себя актером больше, чем в Греции, и потому нигде не натворил он больше актерских глупостей и грехов. Я уже приводил выше примеры его ревно-вивых столкновений с местными знаменитостями. Разумеется, если бы Нерон был артистом-профессионалом, а не дилетанствующим императором, то ехать на гастроли из варварского (с эллинской точки зрения) Рима в Элладу было бы такой же дерзкой претензией, как теперь бы из Харькова — в парижскую Grande Opera, либо из Казани — в миланский La Scala. И вот Нерон, забывая в себе императора, помнил, как артист, что он идет по тропе, вызывающей дерзости, и потому все хотел ошеломить греков смелостью своих посягновений. Отсюда *tours de force*'ы вроде выезда на десяти лошадях на Олимпийском стадион, чуть не стоившего Нерону жизни. Этот странный человек, на родине почти равнодушный к насмешкам доморощенных ателланистов, вроде Дата, дерзавшего в лицо цезарю делать

намеки на убийство Клавдия и Агриппины, боялся попасть на зубок греческим острякам. Он не решился побывать ни в Афинах, ни в Спарте, — будто бы — боясь грубости спартиатов и остроумия афинян. Принудительное самоубийство высокоталантливого Корбулона, главнокомандующего армией в парфянской и армянской войнах, только что оконченных миром и вассальским визитом Тиридата в Рим, Дион Кассий объясняет артистическим самолюбием Нерона. Он де вызвал Корбулона к себе любезным письмом, потом спохватился, что ему неловко будет выступить на сцене пред изумленными очами этого сурового воина, привычного видеть государей на театре войны, а не на театре оперы, — и потому послал ему навстречу смертный приговор. Объяснение, конечно, вздорное, но любопытное, как характеристика, насколько очевидна для общественного мнения была двойственность натуры Нерона, до какой степени люди привыкли чувствовать, что самодур в нем скрывает нравственного труса, а под дерзостью его желаний ноет неуверенность в своем праве на них.

То недовольство части населения освобо- дительными мерами Нерона, которое нашло впоследствии отголосок в книгах Диона Кас- сия и, следовательно, господствовало в его ли- тературных источниках, выразилось в упомя- нутом выше столкновении цезаря с дельфий- ским духовенством. Высший религиозный ав- торитет эллинского мира попробовал нало- жить карающую руку на высший государ- ственный авторитет всемирной римской дер- жавы. Но античная Каносса не выгорела. Как уже было говорено, Нерон беспощадно раз- громил дельфийский монастырь, ограбил его имущество (одних бронзовых статуй он, буд- то бы, отослал в Рим пятьсот!) и осквернил кратер вещего оракула, завалив его мертвы- ми телами, как уверяет Дион, просто засыпав, как свидетельствуют другие. Светоний мол- чит об этом святотатстве, хотя упоминает, что Нерон был в Дельфах, совещался с оракулом и получил предостережение «бояться возраста 63 лет». Нерон нашел такой срок жизни вполне для себя достаточным и был очень обрадо- ван, но оракул, как всегда, оказался двусмыс- ленным мистификатором: он намекал на 63

года ближайшего преемника Нерона, старика Гальбы.

История эта довольно загадочна. По свидетельству Страбона (век Августа), дельфийское святилище захудало, как скоро римляне уничтожили коллегию амфиктионов. Цицерон (*De divinatione*, lib. II) говорит, что дельфийский оракул безмолвствовал не только в его время, но уже и много лет раньше, и теперь святое когда-то место это находится в самом жалком запустении. В самый век Нерона Лукиан, в 5-й книге «Фарсалий», дает фантастическую картину, как Аппий, приверженец Помпея, задумав получить предсказание от дельфийского оракула, взламывает мечом затворы святилища, закрытого уже сто лет, силою тащит к треножнику седую, дряхлую Пифию, но — напрасно! Вещая дева в состоянии только сообщить ему, что она бессильна: Аполлон удалился от этих мест, когда-то священных и грозных, и судьбы мира теперь могут быть познаны лишь из Книг Сибиллы, хранящихся в Риме! Дельфы должны были уступить Капитолию, как Аполлон — всемирному державцу Юпитеру (*Mengotii*). Так что,

по-видимому, грабить здесь, вне сферы религиозного искусства, Нерону, в данный момент, пожалуй, было нечего. А — что касается осквернения оракула, то рассказ об этом Диона Кассия остается одиноким, и, наоборот, Дидон Хризостом и Павзаний говорят, что император отнесся к святыням Олимпии и Дельф с особенным почтением. По мнению Менготти, в века империи Дельфийский храм находился в таком упадке и ничтожестве, что высокопоставленные путешественники могли попадать туда разве по романтическому капризу повидать место, бывшее когда-то «пупом земным»:

— O sanete Apollo, qui umbilicum terrarum obtines!..

С другой стороны Плутарх, писавший 50 лет спустя после Нерона, и Павзаний, в эпоху Адриана, застают Дельфы снова оживленным центром паломничества, — правда, как отмечает Плутарх, по преимуществу местного, из соседних областей, которое, может быть, не прекращалось и в Цицероновом веке (Welcker). Политическое значение эллинского Ватикана уже никогда не воскресло, но язы-

ческая реакция против христианского течения, испробовавшая столько систем религиозного синкретизма, не могла обойти в своих поисках вооружения столь могущественной традиции, как Дельфы. «При императоре Адриане авторитет оракула несколько поднялся снова, но предметы, о которых совещались с ним, не имели политического значения и касались большею частью мелких обстоятельств частной жизни» (Luebcker). Это обеспечивало Дельфийскому монастырю медленное умирание, в довольстве, питаемом настолько, что еще Константин Великий успел его обильно пограбить для украшения Константинополя (Mengotti). «Поражаемый св. отцами, обираемый и угнетаемый римскими императорами, он наконец был совершенно закрыт Феодосием около 390 г. после Р. Х.» (Luebcker).

Во всяком случае странно, что, нуждаясь в одобрении нации и откровенно в ней заискивая, Нерон не нашел лучшего к тому начала, как — ограбить национальную святыню. Странно и совершенное равнодушие к тому Плутарха и Павзания. Странно, что святотат-

ства Нерона не помешали грекам провозгласить его, после Истмийского манифеста об автономии, Зевсом-Освободителем, причем инициатива обожествления исходила от духовенства, в лице верховного жреца (#) Эпаминонда (Holleaux). Очевидно, что дельфийский скандал, если он был и не является выдумкой, либо смешением легенд о Нероне со старыми легендами о Сулле, не потряс народного воображения. А это могло быть только в том случае, если он явился в результате оппозиции не широкой, но узко-партийной, групповой. Я думаю, что так оно и было. Перемена сенатского управления на автономию, под царевым протекторатом, не могла быть приятна ни аристократическим элементам страны, ни связанной с ними частью высшего духовенства, интересы которого нарушались врывающимся в Грецию Августовым культом, религией римской государственности (только что упомянутый Эпаминонд был уже Августов жрец). В Дельфах произошло то, что всегда бывает при столкновениях светской власти с консервативным авторитетом и имущественными интересами церкви. Нерон на-

слушался от дельфийского оракула таких же дерзостей, как Екатерина II от Арсения Мацевича, и точно так же распорядился — считать его, оракула, впредь не оракулом, но «Андреем Вралем».

Было бы длинно, скучно и совершенно бесполезно следить за подробностями артистических походов Нерона в Греции: где он скакал на ристалищах, где и что пел, как и с кем боролся. Латур Ст. Ибар говорит, будто греки однажды покушались на его жизнь (падение на олимпийском стадиуме, вызванное испугом лошадей), а вообще издевались над ним. Если они это делали, то, надо думать, как-нибудь очень хитро и тонко, так как вообще Нерон был чрезвычайно чуток и подозрителен к затаенным насмешкам и мстил за них гораздо злобнее, чем за откровенные нападки и эпиграммы. Примеры снисходительности его к последним уже много раз приводились. Греческих насмешек он очевидно совершенно не понимал и не воспринимал, потому что чувствовал себя в Ахайе превосходно, и вытащить его обратно в Рим стоило не малого труда вольноотпущенникам, встрево-

женным надвигающейся политической грозой. На письменные вопли Гелия он отвечал:

— Ты советуешь и молишь, чтобы я скорее возвратился; на твоём месте, я лучше убеждал бы и просил, чтобы я вернулся достойным имени Нерона (Светоний). Следы остроумия, шуток и карикатур, сопровождавших странствие Нерона, сохранены Светонием. Ибо, конечно, лишь к разряду таких сатирических гипербола надо отнести, серьёзно им сообщаемые, сведения, будто «покуда Нерон пел, нельзя было выйти из театра хотя бы по самой неотложной нужде; поэтому некоторые дамы рожали во время спектакля; многим до того надоело слушать и хвалить его, что они удирали тайком, перелезая через городские стены (потому что ворота он предусмотрительно запирали), либо притворялись мертвыми, чтобы их вынесли за город под видом похорон». Если это из летописи, то — разве написанной каким-нибудь античным Марком Твенном.

Со временем мы увидим, что «вернуться из Греции достойным себя» для Нерона надо было не только в театральном смысле, и быть

может, не в таком и следовало бы понимать и этот отрывок из переписки государя с наместником. За срок греческих гастролей правительство Нерона выиграло большую противосенатскую кампанию, погубившую много жертв, в том числе такие фигуры, как Корбулон, братья Скрибонии, Красс и т. п. Нет никакого сомнения, что оно, казнями и открытым презрением к сенатской конституции, подготовляло империю к какому-то решительному coup d'état, построенному на демагогических началах. Самодержавно дав свободу не своей, но сенатской провинции, Нерон, по крайней мере, соблюдал декорум мены: предоставил сенату, вместо культурной Ахайи, дикую, но важную, в качестве одной из житниц Рима, Сардинию. Зато открывая работы по прорытию Коринфского перешейка, он, в присутствии огромных толп народных, откровенно провозгласил:

— Да обратится это предприятие во благо нам и римскому народу! — умышленно промолчав о соправительствующем сенате.

По всей вероятности, антисенатский образ действий Нерона был причиной аристократи-

ческой ненависти, окруживший этот, казалось бы, не только невинный, но прямо-таки полезный проект, следы которой сохранили Светоний, Дион Кассий и стоический памфлет. Объявляя победы Нерона на состязаниях, его герольд, консуляр Клувий Руф, должен был провозглашать такую новую формулу:

— Цезарь, победитель в этом состязании по музыке (или поэзии), венчает своею победою народ римский и вселенную, которой он владыка.

Опять-таки ни слова о сенате и решительный манифест о владычестве цезаря над всем миром! Все наводит на мысли, что камарилья готовилась восторжествовать над ослабевшим конституционализмом не только по существу, но теперь уже и по форме, стереть с лица земли сенат и перевести диархию Августову в монархию Нерона — демагогическим переворотом, вроде того, которым угостил Францию в декабре 1851 года Луи Наполеон. Демагогическая пропаганда Неронова правительства имела, по крайней мере временно, успех блестящий. Возвратясь на почву Италии, государь-артист был принят народом —

мало сказать как триумфатор, — как живой бог. Его шествие от Неаполя, где он высадился, до Рима — безумная сказка неслыханных торжеств, живое возвращение Дионисова похода на Индию, бредовая галлюцинация культурной победы. Через Анциум и Альбано приблизилась к Вечному городу триумфальная процессия, какой еще Рим не видывал. Нерон въехал в столицу на колеснице Августа триумфа, запряженной белыми конями — символическими солнечными конями, приличествующими победителю на священных играх. Неаполь, Анциум, Альбано — согласно древнему обычаю — выломали бреши в стенах своих, чтобы пропустить эту удивительную процессию, как новых завоевателей. В Риме для того была разрушена аркада Главного Цирка. На колеснице Августа, на белых конях своих, цезарь- артист, мирный триумфатор, проследовал, с олимпийским венком на голове, с пифийским венком в руке, сквозь несчетные толпы неистового народа, заливавшие Велабр и Форум, на Палатинский холм к храму Аполлона. В этой конечной цели символически выразился мирно-культур-

ный смысл (l'empire c'est la paix) артистического триумфа: будь он военный, триумфальный путь вел бы на Капитолий в храм Юпитера. Впереди колесницы придворные несли остальные венки, завоеванные Нероном в Греции, числом восемнадцать. Каждый снабжен был надписью, где и как заслужил его цезарь, — какою именно арией из какой оперы. Колесницу сопровождали густой толпой августианцы, они аплодировали в непрерывной овации и вопили:

— Мы боевые товарищи императора! Мы солдаты его триумфа!

На пути этого полубога, облаченного в пурпурный плащ и хламиду, осыпанную золотыми звездами, народ возносил жертвы, а в ответ ему из кортежа сыпали шафран, выпускали прирученных птиц, бросали ленты, цветы, конфеты. Шествие превратилось в карнавал. Священные венки Нерон развесил в спальнях своих, в головах кроватей. Точно также приказал он поставить всюду статуи, изображавшие его в костюме Кифарэда, и выбить медаль с подобным же изображением. Впечатление было громадно, даже в средневековых

сказках Рима сохранилась память об этом удивительном триумфе, и ночное шествие Нерона в Рим до сих пор соответствует в суевериях жителей Кампании полету Дикого Охотника в германских лесах.

Таким образом, Нерон, отбывший в Грецию, все-таки еще только страстным дилетантом всякой театральщины и спорта, возвратился из нее уже совершенным и всесторонним маньяком актерства. Предоставив дела государства людям, развивавшим его страсти подлым своим угодничеством, этот уже не столько государь, сколько боготворимый, но не правящий, символ государя, погружается с головой в разнообразное море зрелищных упражнений и опытов. И извлечь его из этой бездонной пучины уже не в состоянии никакие политические громы, более того: даже — когда пробил для Нерона час расплаты и гибели — даже сама смерть. В цезаре-артисте артист победил цезаря и оттеснил на задний план жизни, вызывая его вперед лишь как грубую служебную силу, обязанную осуществлять грандиозные замыслы повелевающего артиста или мстить кому-либо за неува-

жение к его талантам и обожаемому искусству. Власть государя отныне рассматривается Нероном исключительно как оборотный капитал, выражаемый в наличности людей и денег, как вооруженный полицией банк, которым оплачиваются его увлечения театром, музыкой, цирком, художествами и строительством. Увлечения эти цезаря-артиста выше всего и прежде всего; а следовательно, и главной практической задачей правления становится задерживать иссякновение капитала, предназначенного к их осуществлению. Пред этой задачей отныне меркнут не только все моральные и политические соображения, все выгоды и интересы частной общественной и государственной жизни Нерона, — смолкает самый инстинкт самосохранения. Чтобы купить себе славу неслыханного художника, он, *incredibilium cupitor*, без колебаний, отдает остатки совести и человеческого достоинства, потом власть и государство — наконец, себя самого, свою собственную жизнь. И, когда отдавать больше стало нечего, и отставной властитель мира, подобно загнанному неудачнику, должен был перерезать себе горло, — даже

В этот грозный смертный момент последнего самоотчета не вспомнил Нерон в себе ни Нерона, ни цезаря, ни человека, а вздохнул только об артисте:

— Какой артист во мне погибает! (Qualis artifex pereo!)

Петербург, 1900 Fezzano, 1911, IX,

Можно также перевести: «Глупо уважать богов, когда я сам могу их делать» (намек на Клавдия).

[^^^]

2

Quicquid exprimitur grave est. Можно также перевести: «все к чему принуждают силой, создает тяжелые положения».

[^^^]

3

«Так вот из-за чего иной забывает обедать».

[^^^]

4

«Она не есть приготовительница необходимых для общего употребления орудий».

[^^^]